

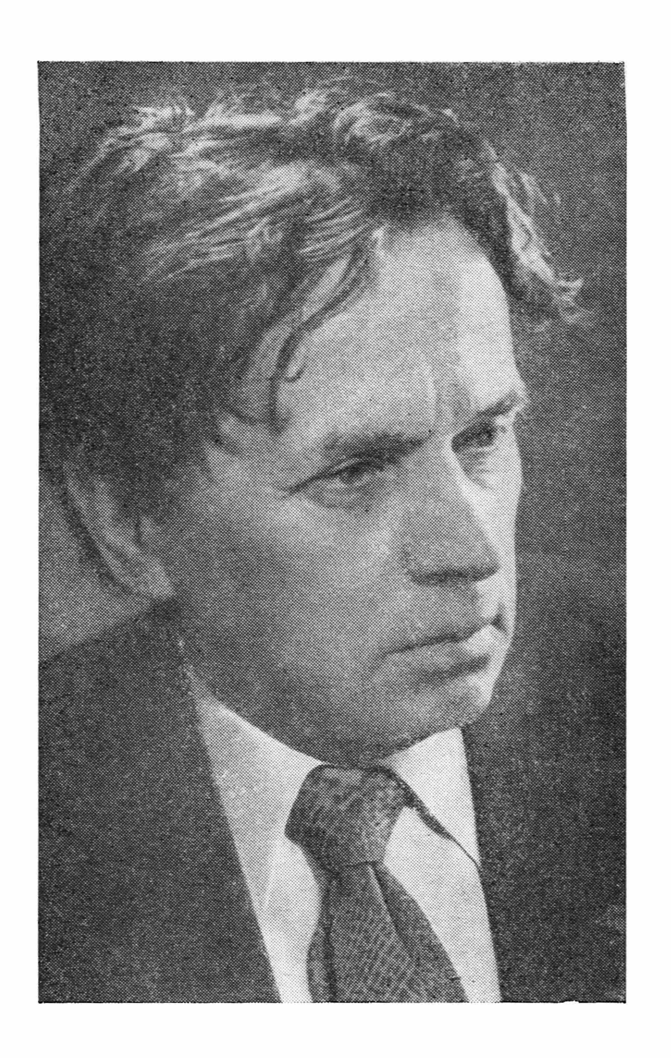
Федор Абрамов

БАБИЛЕЙ

ФЕДОР АБРАМОВ · БАБИЛЕЙ

Федор Абрамов

БАБИЛЕЙ



Федор Абрамов

БАБИЛЕЙ

Рассказы
Повести



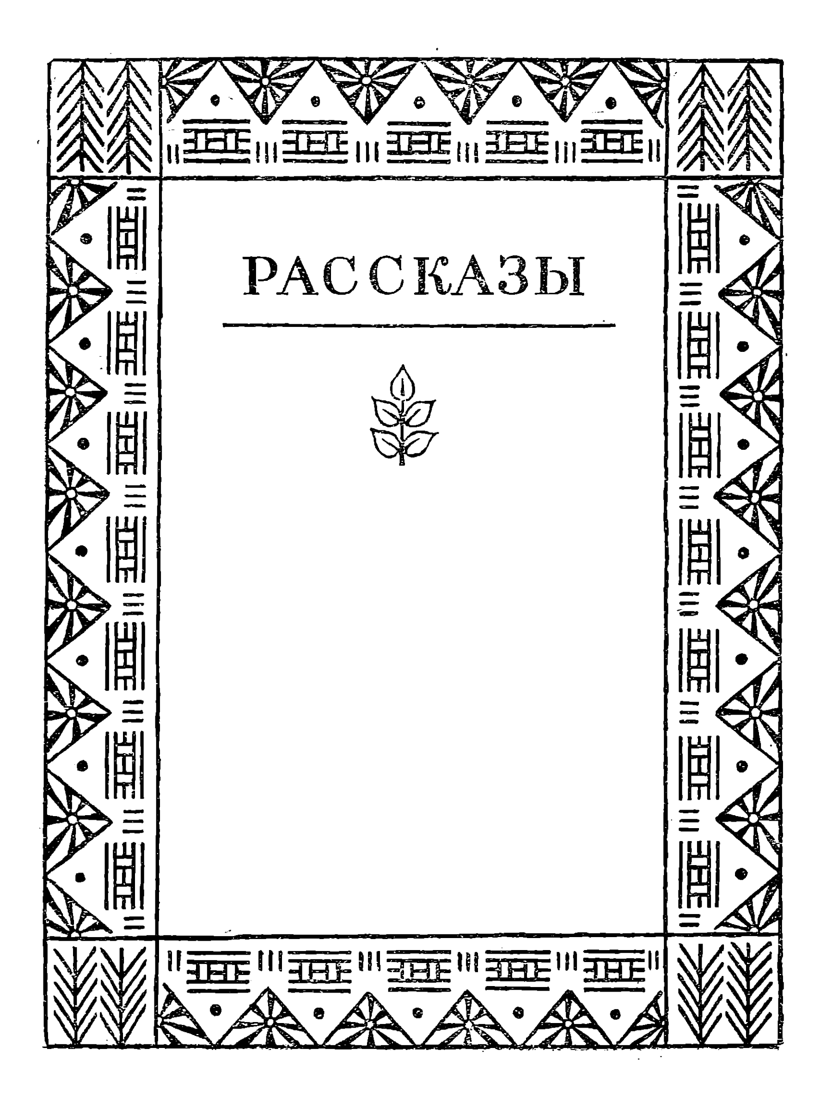
СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
Ленинградское отделение
1981

Р 2
А 16

В новую книгу известного советского писателя, лауреата Государственной премии Федора Абрамова вошли рассказы и повесть «Мамониха», написанные за последние три года. В книгу включены также широко известные читателю повести «Пелагея» и «Алька».

Художник Михаил Новиков

А $\frac{70302-271}{083(02)-81}$ 2—82 4702010200



РАССКАЗЫ

БАБИЛЕЙ

На этот праздник меня выволокла Евстолия. Подкатила эдакой лисой: «Конь, говорят, у тебя застоялся. Не хочешь до Юрмолы прокатиться? Мне бы к бабушке одной надо, за овечкой наказывала приехать».

Ну и как было отказать? Как сказать: нет? Соседка. За всем тащишься к ней: и за молоком, и за картошкой, и за луком. А грабли, вилы, косу — у кого взять?

На новеньком, еще не обкатанном как следует «Немане», запряженном в двенадцать железных лошадей («Ветерок» мотор), мы быстро, за считанные минуты отмахали семь километров, вытащили лодку на песчаный берег — и в деревню.

И вот тут, когда мы вышли уже к баням на зеленый лужок да услыхали в деревне гармошку, Евстолия мне объявила:

— На веселье настраивайся. Не за овечкой ехали — на бабилей.

— На бабилей? На какой бабилей?

— На какой, на какой... Какой бывает, когда человек на пензию выходит.

— На юбилей?

— Ну. Так, наверно, по-ученому-то. Мы у пня выросли, нечто́ и понимам.

Я круто повернул назад: у меня дома работы всякой невпроворот, горы (только что из города приехал), даже трава вокруг дома не выкошена, а она на-ко что выдумала — по каким-то бабилеям разъезжать.

Евстолия проворно схватила меня за руку, слегка тряхнула (была у нее силенка, хоть на вид и рыхлая баба), затем, явно задабривая меня, с улыбкой сказала:

— Да ты разве сразу-то не понял, зачем я еду? Катерина, двоюродная сестра по мамы, на пензию на той неделе вышла. Пять десятков жонке стукнуло. Наказала: приезжай и никаких, а то и за родню признавать не буду.

И уже совершенно обезоружила, когда, вся полыхая кумачовым румянцем от смущения, неуклюже, переступая с ноги на ногу, повернулась передо мной:

— Смотри-ко, как я вся вынарядилась. Кто в таких нарядах за овцами ездит?

Мы вошли в заулок к Юшковым как раз в то время, когда там плясали под гармошку. Плясали все скопом, всем застольем: бабы, девки, старухи, мужики, еще не пьяные, вывалившиеся на улицу, должно быть, первый раз. И плясали кто во что горазд. Кто, распарившись, одурев в избяной жаре, просто топтался на месте, только поворачивался, помахивая платком, чтобы получше обдуло вольным воздухом, кто, наоборот, молотил ногами насмерть, точно он задался целью во что бы то ни стало срыть зеленый лужок в заулке, насквозь пробить в земле дыру, а кто — парни, мужики, которые помоложе, — жеребцами резвились вокруг молодой синеглазой бабенки с гладко зачесанной головой — сразу было видно, что она тут первая красавица.

И именно эта-то бойкая бабенка первой и увидела нас с Евстолией.

Увидела, подбежала, с ходу обняла Евстолию, а затем и меня.

— К столу! К столу! — закричала и, подхватив нас под руки, повела в избу.

— Вот сюда, вот сюда! На самое почетное место!

Столы, расставленные вдоль стен буквой «п», ломились от всякой еды, от печева, от морошки — я в жизни

не видал такой отборной, такой зрелой ягоды да еще в таком количестве: тут она была полными тарелками, большими, как тазы, эмалированными мисками.

Как водится, нас заставили выпить по штрафной — дружно, всем застольем навалились, а молодая синеглазая бабенка — она села напротив нас — еще и присказку присказала:

— До дна, чтобы муха ног не замочила.

— А где сами-то хозяева? — спросил я на ухо у Евстолии.

— Чего, чего?

— Где, говорю, юбилярша да Гордя?

Евстолия голову откинула назад, залилась на всю избу.

— Да ведь он не узнал тебя, Катерина! — сказала она молодой бабенке. — Говорит, где хозяйка да Гордя.

— Молчи! — махнула рукой грузная, широколицая старуха в старинном повойнике с ярким парчовым донышком. — Я, суседка, и то не узнала, а ему чего дивья. Много ли он видал ей?

Я видал Катерину, видал не один раз и даже, помнится, лет пять-семь назад чай у них пил, но большая ли радость смотреть на деревенскую бабу, задавленную колхозной и домашней работой, ребятишками, мужем? А Гордя был гроза тот еще: муха не пролети в избе, когда он дома. Сам пьяница, работник — выше караульщика склада на моей памяти не поднимался, инвалид глупости, как сам иногда подсмеивался над собой (гранатой левую руку еще в школьные годы оторвало), а так сумел поставить себя и в семье, и в Юрмоле, что все старались держаться подальше от него.

— Да, вот как тебя, сеструха, пензия-то подняла! — расчувствовалась Евстолия. — Хоть снова замуж выходи.

— Дак ведь пензия-то у ей не наше горе, — сказала Маланья, та речистая старуха в повойнике с золотым

донышком, — не двадцать рубликов. А сто двадцать. Есть разница.

— Заслужила! — трахнул кулаком по столу Виталька-бригадир (крепко уже поднабрался: меня не признал).

— Заслужила, заслужила, Виталий Иванович, — начали со всех сторон соглашаться с Виталькой (дурной во хмелю!). — Знамо, что заслужила. Весь век с телятами.

— А где у тебя сам-то?

Не знаю, просто так, из любопытства спросила Евстолия или для того, чтобы отвести разговор от Витальки, но только при этом все заулыбались.

— А сам на повети! — весело ответила Катерина.

— На повети? Чего там делает? Деньги зарабатывает, пока жена гуляет?

— Молчи ты, — замахала руками Маланья. — С утра вином накачан, чтобы не ширился тут. Знаешь ведь его, слова никому не даст сказать.

— Ну дак вот ты, девка, из-за чего человеком-то стала — от Горди выходной взяла.

— Так, так, Толя. Из-за этого дьявола не видно было Катерины.

— Гордю не трогать! — вдруг опять рявкнул Виталька и пьяно заплакал.

— Не трогам, не трогам, Виталий Иванович, — опять перешла на елейный тон Маланья. — Заботы ей высушили. У тебя сколько их было, Катя?

— Ребят-то? Дюжина рожалась, а в живых семеро осталось.

— У-у, у-у, беда! — стоном простонал стол. — Ноне с одним-то не хотят валандаться, а она — дюжину!

— Да, я уж не видывала Катерину в простое. Все с брюхом.

— И правильно! Посуда не должна быть в простое.

На этот раз глотку Витальке заткнула Евстолия:

— Околей к дьяволу! Затем я семь верст попадала, чтобы твое рявканье слушать?

Катерина разудало крикнула — нарочно, конечно, чтобы не допустить ссоры за столом:

— Девки, мясо на стол!

— Смотри-ко, смотри-ко, сеструха, ты как командёр сегодня. У тебя и голос прорезался.

— В председатели надоть! — поддала жару Маланья. Она, когда выпьет, — гроза-старуха. — А то всю жизнь из-за моря телушку возим.

— Верно-о-о!

Тем временем две дочери Катерины — просто замухрыги невзрачные по сравнению с матерью, просто сухари постные против сдобной булки, хотя и с шестимесячным перманентом на голове, при золотых кольцах — культурные, в городе живут, — принесли с холода накрошенное в маленьких тарелках мясо, и Катерина, все время до этого улыбавшаяся — у нее и рот на удивленье был молодой, полон белых зубов, — вдруг взъярилась:

— Это чего вы принесли? Кошкам исть але людям?

Одна из дочерей с укором покачала головой:

— Красиво, больно красиво налакалась!

— А хоть и налакалась, не на ваши деньги. На свои!

— Мама, да ты с ума сошла! — Это уже другая дочь попыталась утихомирить разошедшуюся мать.

Катерина вскочила на ноги, стоптала ногой:

— Мой, мой сегодня день! Не вам командовать матерью. Живо у меня! В один секунд чтобы все мясо на столе было.

Донельзя изумленные, не привычные к таким выходкам, дочери кинулись исполнять приказание матери, а за столом — Виталька уже спал, зарывшись лицом в тарелку с рыбными объедками, — тоже что-то вроде оцепенения наступило.

Катерина вдруг расплакалась:

— Не дивитесь, не дивитесь, бабы. Я ведь отчаянная в душе-то!

— Ты-то, ты-то отчаянная?

— Ей-богу! Я ведь и Гордю-то сама на себя затащила.

— Что ты, что ты ничего-то мелешь! Это ведь ты своего потаскуна выгораживаешь, а у него в кажной деревне наследники да девки.

— Нет, бабы, не вру, — сказала Катерина. — На войну-то, помните, сколько от нас уходило? А сколько пришло? В очередь стояли. Как теперь в магазин на товары записываемся, так тогда на мужиков. Заявки давали. А уж какой товар, по душе, нет, не до выбора. Лишь бы штаны были. Вот ведь какое время-то было. Ну а я-то скурвилась еще в войну.

— Мама...

— Да чего — мама? — накинулась на дочь Катерины Маланья. — По-твоему, нельзя уж и о жизни сказать. Не человек мама-то? А ты-то сама на кровати чего с мужиком делаешь? Блох имашь? — И вдруг рассмеялась: — Не таись, не таись, Катерина. Я тоже ворота мужику девкой открыла. Вот те бог.

— Ну тогда и меня в свою компанию примайте. Моя крепость тоже осады не выдежала, — призналась Евстолия.

— Шестнадцать лет мне было, когда я по своему Гордеюшку-то сохнуть стала. Шестнадцать. Выписали на подсочку, смолу, живицу собирать, а он, Гордя-то, на участке за старшого. Смотрю, все грабятся за него — и бабы, и девки. А я чем хуже, думаю? Я тоже к тому времени различала, что штаны, что сарафаны. Вот раз встречаю в лесу. «Чего, говорю, ко всем липнешь, а меня стороной обходишь?» — «Да ты соплюха еще». А я и взаправду соплюха против его — двадцать семь мужику. Ну, отступать поздно, заело меня. «А ты спробуй, го-

ворю, какая я соплюха». А он на смех: «Летай, летай, гулюшка».

— Сознательный был?

Катерина не очень весело рассмеялась:

— Сознательный. Шагов-то пятьдесят отошел, нет, от меня, да и назад. А через месяца четыре — чего у меня пояс не застегивается в прежню дырочку...

— Мама...— подала опять предостерегающий голос одна из дочерей.

— Да чего ты мне все рот-то затыкаешь? Ты, ты запузырилась у меня в брюхе! Да, вот какая я дура была, жонки. Ну уж потом-то, когда поняла, попереживала я. Сережка — в седьмом классе вместе учились — с войны пишет: пришли карточку, другой парень — пришли. А я с брюхом, и меня брать не хотят. Ну тут уж народ, люди за меня вступились: «Что ты, говорят, рожа бесстыжая! Ребенка совратил да еще рыло воротишь». Взял меня Гордя. Второй женой...

На синих глазах разволновавшейся, разалевшейся Катерины навернулись слезы.

— Он ведь, дьявол, с продавщицей жил, с евонной матерью.— Она кивнула на гармониста, белобрысого крепыша в белой нейлоновой рубашке с черным галстуком. — Пять лет мы делили его с ей. У ей приманка надежная — вино, а у меня чего? Мне на какой привязи его держать? Ладно, — круто оборвала себя Катерина, — хватит слезы лить. Сегодня праздник у меня, а не причитанье. — И тут она выскочила из-за стола, лихо топнула ногой: — Играй!

Гармонист заупрямился: не буду, раз так про мою мать.

— Чего? Не будешь? Играть не будешь?

— Валерко, сволота! — Евстолия, добрейшая Евстолия так рассвирепела, что обеими руками вцепилась в братынь с пивом. — Ты кому это отговариваешь? Кто тебе матерь-то?

— Нехорошо, нехорошо, Валерий Гордеевич, — поддержала ее Маланья. — Не та матерь, которая родила, а та, которая вспоила да вскормила. А ты ведь, Валерушко, к Катерине-то начал бегать, как ножками заперебирал.

— Матерь вспомнил! Да твоя матерь только и знала, что за штанами охотилась. Сколько она нашего брата разорила, дак это и страсть.

— Так, так. Погань, а не человек. А ты-то, материн заступник, чего к ей дорогу забыл?

— Да, да! К кому ездишь-то? У кого отдых имешь кажинное лето?

— Да не один еще, а с робятищами!

Пристыженный, под орех разделанный бабами Валерка нехотя растянул гармонь.

— Не покойника, не покойника провожаем! Играй, дьявол! — опять все с той же непримиримостью закричала Евстолия.

Затем сняла с головы платок, вытерла распаренное лицо, белую полную шею — душно было в избе несмотря на то, что все окна были открыты.

— Вздумал за матерь заступаться. Знам лебедушку — вороньи перья. Да я бы на Катерининном месте ни одного Гординого выб..... на порог не пустила. Эта вот вся выставка-то за столом, — Евстолия, ни на каплю не сбавляя тона, очертила рукой широкое полукружье, — думаешь, механизаторы местные? Ни одного в Юрмоле нету. Скоро всю деревню прикроют. Из города все. Гордина работа за тридцать лет. От пяти але от семи матерей, а то и боле. Добрый батько. Принимай, Катерина, все лето. Пой, корми, ублажай. А они все лето телеса на берегу жарят. Посмотри-ко, когда днем солнышко, лежбище в песку-то выбито. А то опять грибы да ягоды заготовляют. К осени-то в город поедут, со всех сторон обложатся корзинами да ведрами.

Валерку все же растрясли бабы — заиграл. Сперва, правда, — и у татьки дрова, и у мамки дрова, а потом разошелся. Катерина разожгла.

Видывал я за свою жизнь плясунов и плясуний всяких. И профессиональных и самодельных. Да Катерина, если на то пошло, и вообще не была плясуньей — сразу было видно, в каких она отношениях с половицами: хлоп да скок, да притоп, да картошки мешок. Но столько в ней было молодого задора, такая резвость, такая неутомимость в ногах, во всем теле, так ладно, не по-бабьи выглядел ее стан, перетянутый узким черным лакированным ремешком, какие давно уже вышли из моды, такое счастье, такая синяя радость хлестала из глаз, что все притихли, все залюбовались ею.

— Смотри-ко, смотри-ко, — зашептала мне на ухо Евстолия, — ведь она с дочерями поменялась. Дочерям надо на пензию-то выходить, а не ей.

И это была правда. Старыми, несъедобными обабками выглядели дочери перед матерью, и только руки выдавали ее возраст. Большие, тяжелые крестьянские руки, черные, жиловатые, с обломанными ногтями, руки, которые за свою жизнь переделали видимо-невидимо всякой работы.

Какое-то время Катерина скакала одна, а потом выскочил к ней один пасынок, другой, третий... И стоном застонала изба. И что еще все сразу же заметили: Гордины сыновья так и едят глазами Катерину, так и льнут, так и липнут к ней: кровь взыграла в мужиках.

И в конце концов дочери не выдержали:

— Мама, мама, срамница! Не смеши ты людей-то, бога ради.

Катерина не по-бабьи, по-мужичьи топнула ногой:

— Цыц у меня! Мой сегодня день! Мой! Вы сколько в году-то пляшете, а я, может, первый раз за всю свою жизнь.

— Дуй, дуй, Катька! — выкрикнула Маланья.

И раззадоренная этими выкриками, Катерина сама уже наддала жару:

— Молчать у меня! А то живо мужиков отобью.

Хохот грянул по всей избе. Проснувшийся Виталька-бригадир дико заорал:

— Протестую! Не имеете права!

Но людям было не до него. Всех захватило бесшабашное веселье, даже я под столом притопывал ногой, а потом, когда высыпали на улицу — невмоготу стало в распаренной, как баня, избе, — началось и совсем черт-те что. Маланья, старая квашня Маланья пошла в пляс.

— Не спи, не спи, гармонист! Заморозишь!

Катерина по-прежнему ни минуты не давала себе передыху. Три гармониста сменилось за это время — у Горди все сыновья пилили понемногу, — самые здоровые мужики сходили с круга, а эта тончавая бабенка в голубом платьишке, перетянутом черным лакированным пояском, все била и била ногами, и дешевенькое серебряное колечко ярко вспыхивало у нее на черной тяжелой руке.

Пляску прервал рев коровы на задах, которую, надо полагать, пригнали из поскотины.

— Ну, Малька, Малька, — сказала Катерина, тяжело переводя дух, — не дала ты мне досыта наплясаться. Пляшите! Я живо управлюсь.

— Да что ты выдумываешь-то? — сказала Маланья. — Есть у тебя девок-то. Немало. Неуж в такой-то день за матерь не подоят?

Катерина осталась — к корове пошли дочери.

— Играй! Выворачивай меха наизнанку! — распорядилась она.

Гармонист послушно запиликал, но тут уж взмолились все бабы:

— Хватит, хватит, Катя! Землю нам все равно насквозь не пробить.

— Ну тогда по деревне. С песней! Как бывало.

Вечернее солнце за рекой садилось в тучу. И оттуда, с реки, доносились свои, железные песни — похоже, там с добрый десяток на разных скоростях рыскало лодок с подвесными моторами.

Обнявшись друг с другом, мы шагали двумя рядами по плотно заросшей дерном улице (в Юрмоле редко теперь проедет трактор или телега) и пели любимую Катерины — «Солдат вернется...».

Не радовала глаз Юрмола. Новой постройки ни одной (лет пять уже запрещено всякое строительство), исправные дома тоже наперечет, а общая картина — разорение, распад деревни: заколоченные окна, захламленные, поросшие собачьей дудкой пустыри, на которых когда-то кипела жизнь, и старые-престарые избы с провалившимися крышами, в которых сутками напролет пировала птица мира...

Старая Маланья первая не выдержала — расплакалась:

— Не вернется, не вернется больше солдат в Юрмолу. Кончается родная дере́венка...

И тут все старухи и бабы, еще какую-то минуту назад предававшиеся беззаботному веселью, вдруг заголосили, завыли, как на похоронах.

Я, воспользовавшись всеобщей сумятицей, незаметно нырнул в заулок к знакомому мне дому.

Утром меня растрясла Евстолия:

— Вставай, дезертир! Вчерась бабы спохватились: где у нас писатель-то? А писатель, на-ко, на сеновал уполз — не сыпал бедный.

Я поднялся на великую силу, ибо заснул под самое утро. Одолели комары — три часа, наверно, с ними воевал: поветь была ветошная, дыра на дыре.

Над головой, за старыми вениками, висевшими с прошлого лета, кто-то, показалось мне, вроде как всхлипы-

вал — жалобно, по-ребячьи, и я, натягивая куртку, озадаченно уставился на Евстолию.

— Дождик, дождик, слава богу, — сказала Евстолия.

— Дождик? — переспросил я и первым делом подумал, как мы будем добираться домой.

Умная Евстолия угадала ход моих мыслей:

— Ладно давай, не сахарные. Не размокнем. Надоть дожик-от. Может, хоть картошки сколько подрастут да какой гриб в лесу заведется.

Вскоре, слегка отмякнув под теплой грибной моросью, мы входили к Юшковым: Евстолия и слышать не хотела, чтобы уехать, не попрощавшись: «Что ты, нéлюди мы, что ли. Знаешь, ей какая обида будет. Да и голову поправить надо. У меня раскалывается голова, не довезти до дому».

У Юшковых пили чай. Пять мужиков, шесть подростков-акселератов (тоже, в общем-то, мужики, только с пушком на верхней губе да пустыми рыбьими глазами), две дочери, три невестки и сам — на хозяйском месте, сбоку стола. Мрачный, с сивой всклокоченной головой, с пустым, обвисшим, как тряпка, рукавом мятой-премятой рубахи, расстегнутой на весь ворот.

Подавала на стол Катерина — я узнал ее по серебряному колечку на тяжелой черной руке, а так — что осталось от вчерашней красавицы? Старуха. Какое-то выцветшее, обвисшее на боках платьишко с обтрепавшимся подолом, растоптанные, с обрезанными голяшками валенки на босу ногу, серый, в мелкую клетку платок, низко натянутый на глаза и повязанный вокруг шеи, концами назад.

Эта крутая перемена в Катерине поразила не только меня, но, видимо, и Евстолию, потому что она, такая учтивая, на этот раз позабыла и поздороваться при входе в избу. И только когда Гордя хмуро повернул к нам голову, не очень приветливо сказала:

— Хлеб да соль.

— Хлеба ись, — гаркнул пропитым голосом Гордя и вдруг с надеждой взглянул на меня.

Евстолия разразилась бранью:

— Кой черт глазища-то вылупил? Думаешь, у писателя-то бочки с золотом? Не писатель тебя должен угощать, а ты писателя. Не стращай, не стращай меня своим кощейным-то взглядом! — замахала руками вконец распалившаяся Евстолия. — Не испугалась. Не таких змиев на своем веку видала! Пойдем! — гневно крикнула она мне. — Кончился бабилей. — И, не попрощавшись, даже не взглянув на Катерину, выскочила из избы.

Заговорила Евстолия, когда мы перешли улицу да спустились к баням, от которых густо несло застарелым банным духом — дождь обостряет запахи:

— Ух, коль мне бедно на этого дьявола, дак я не знаю, чего бы с им сделала. Это ведь чего он на тебя глаза-ти распахнул? Бутылку, думал, поставишь. Вот какая он сволота — наскрозь его, гадину, вижу. Ну и ту, дуру, не хвалю. Господи, вчерась была — загляденье, краше-то ей на свете нету. А сегодня опять вехоть под ногами у Горди да у евонных выб...... Это ведь чего, думаешь, она платом-то со всех сторон обвязалась, глаза прячет? Гордя фонарей наставил.

— Ну уж!

— Чего ну уж-то? Не знаю разве. Проснулся утром — вчерась ящик вина был але два, а сегодня и наперстка нету. Вечор то сучье-то племя все до капли вылакало, такие они, все в Гордю, не успокоятся, покуда все не осушат, а спрос с кого? С Катерины. Ты, мать-перемать, така-эдака...

Дождь разошелся не на шутку. Старенький, неопределенного цвета хлопчатобумажный плащишко на Евстолии потемнел, мокрый подол платья стал оплетать толстые, нездоровые ноги, но разве ей было сейчас до этих пустяков?

— Я не знаю, не знаю, что мы за́ люди, — все больше и больше распалялась она. — Весь век на нас какие-то прилипалы да огарыши ездят. Почто? По какому праву? Почто человеками-то мы не можем быть? Катерина вчера с коровушек, с коленей на ноги встала — дак вся природность возликовала. Помнишь, какой денек-то вечор был? Солнышко, кажный листышок играет, кажная птичка жизнь славит. Вот бы рай-то и спустился с неба на землю, кабы мы людями были. А то ведь она раз, один раз за все пятьдесят лет человеком была. А почто? Горди, евонного отродья не стоит? Да они Катерининого-то ногтя не стоят. Вот природность-то и отвернулась от нас. Вишь, как поливает. И солнышко за тучи скрылось. Стыдно ему за нас стало, потому и скрылось. Кой черт, я стараюсь, стараюсь для них, а они сами палец о палец не ударят. Ну вас к дьяволу, надоели вы мне! Ох, кака бы жизнь, кака бы жизнь у нас была, сколько бы этой красы-то на земле было, кабы Катерина набралась смелости да всем этим сволочам вместе с Гордей в рожу плюнула! Хватит! Буде, поездили на мне, а тепере я буду командовать, раз вы ни черта не можете.

К этому времени мы уже подходили к лодке, по металлическим плоскостям которой гулко барабанил дождь, и Евстолия распалилась уже до предела:

— Чего все молчишь? — Это уже за меня она взялась. — Еще писателем называешься. Я не байки сказываю, не потешки пою. Юрмолу-то до чего довели — на ладан дышит. Бабы ко мне о первом маи заходили, еще тогда говорили: «Нам уж разве писателя просить. Он разве поможет. А то к смерти приговорили: свет не проводят, телят из Юрмолы угнали, а теперь и нас скоро выгонять будут». А писатель, на-ко, посидел, попил да к бабке на поветь, во сена душистые. На отдох. Разве умер бы, кабы с людями поговорил? Вчерась тебя спохватились: где писатель, где писатель? Ну и я со стыда сгорела, скрозь землю готова провалиться...

Мы не сразу спихнули лодку — нос ее глубоко всосало в разжиженный дождем песок. А потом Евстолия, вся мокрая (я тоже был мокрый с головы до ног), села на скамейку, широкой спиной ко мне, и уже до самого домашнего берега не проронила ни слова.

1976—1980

ПОСЛЕДНИЙ СТАРИК ДЕРЕВНИ

Всех знаю в своей деревне — старых, молодых, даже детей, если не по именам, то по обличью. А тут, смотрю, гребется какой-то старичешко от почты по пыльной песчаной обочине. Кто? Сапоги кирзовые, громадные, оттого что высохшие ножонки торчат в стоячих голенищах, как палки, батог в руке, сверкающий на солнце...

Подхожу ближе и глазам не верю: Павел Васильевич Савин.

Похудел, высох, глаза завалились, будто с того света смотрят... А борода? Где савинская борода? Еще какой-то год назад взобьет, распушит, расправит — целая копна на груди.

А какой он в молодости был, этот Павел Васильевич! Какая силушка, какая удаль гуляла по земле! Весной у нас, когда схлынет половодье да в Пинегу выпустят лес, самое ухарство — перебежать с багром в руках с одного берега на другой по плывучим бревнам.

Перебегал.

А что за диво, что за картина — я тогда был еще совсем-совсем ребятенком, — когда он ехал за невестой! В жизни не видал такой бешеной скачки допьяна напоенных рысаков в праздничной, жаром горящей сбруе. Мороз, солнце, а он в расписных санках, стоя, в одной

кумачовой рубахе, без шапки. Само нетерпенье, сама ярость.

— Павел Васильевич, — спрашиваю, — да ты ли это?

— Я, парень, я. Все боле, на другую фатеру приказано перебираться.

Я стал говорить какие-то слова утешения.

— Нет, нет, не утешай — отгулял свое. На почту это ходил. Деньги на похороны сымал. Было шестьсот рублей накоплено, все снял. Не хочу, чтобы дети на меня разорялись. И хочу проститься с земляками по-хорошему: чтобы все, кто придет, были угощены... Чтобы все запомнили, как последний старик деревни уходит на покой...

Я не удивился словам Павла Васильевича. Оставались еще в деревне три-четыре старика. Но последним-то стариком деревни называли только его — Павла Васильевича. Он был из той уходящей породы русских мужиков, которые умели и жить с размахом, и работать всласть, и чудить.

Павел Васильевич умер в тот же день, под вечер, когда садилось солнце.

Всю весну и все лето лежал на своей старинной деревянной кровати возле дверей, а тут вдруг запросился на пол.

Дети (сыновья и дочери к тому времени уже съехались) исполнили просьбу — разостлали на полу, там, где стоял обеденный стол, перину, перенесли отца.

— А теперь Матрена пущай ляжет рядом со мной.

Сыновья и дочери переглянулись: что еще выдумал старик?

— Матерь, говорю, рядом повалите.

Матрена сидела в старом ватнике, прислонившись спиной к теплой печке. Когда-то это была писаная красавица, и Павел Васильевич смертным боем бился из-за нее со своими многочисленными соперниками, да и потом,

когда уже был в годах, обожал ее. «У меня Матренка... Моя Матренка... Я с Матренкой...» — это был любимый его разговор, и пьяного и трезвого.

А сейчас Матрена, когда заговорил о ней муж, даже ухом не повела: она уж года три была не в своем уме.

— Папа, — заговорила старшая дочь осторожно (Павел Васильевич в строгости держал детей), — зачем тебе мама-то? Нехорошо ведь.

— Повалите, говорю, рядом со мной матерь.

Сыновья и дочери опять переглянулись, и что делать, как перечить умирающему отцу?

— Матренка, — сказал Павел Васильевич, когда старуху положили с ним рядом, — обними меня в последний раз.

Матрена, к которой в эту минуту, видимо каким-то чудом, вернулся рассудок, неловко, суковатыми руками обхватила мужа.

— Вот и ладно, — прослезился Павел Васильевич. — А теперь оставь меня одного, я помирать буду.

И вскоре на глазах у всех умер.

Хоронили Павла Васильевича всей деревней. Все шли за гробом — и стар и мал. Все провожали в последний путь своего последнего старика.

1980

ЗОЛОТЫЕ РУКИ

В контору влетела как ветер, без солнца солнцем осветило.

— Александр Иванович, меня на свадьбу в Мурманск приглашают. Подруга замуж выходит. Отпустишь?

— А как же телята? С телятами-то кто останется?

— Маму с пенсии отзову. Неделю-то, думаю, как-нибудь выдержит.

Тут председатель колхоза, еще каких-то полминуты назад считавший себя заживо погребенным (некем подменить Марию, хотя и не отпустить нельзя: пять лет без выходных ломит!), радостно заулюлюкал:

— Поезжай, поезжай, Мария! Да только от жениха подальше садись, а то чего доброго с невестой перепутает.

Председатель говорил от души. Он всегда любовался Марией и втайне завидовал тому, кому достанется это сокровище. Красавицей, может, и не назовешь и ростом не очень вышла, но веселья, но задора — на семерых. И работница... За свои сорок пять лет такой не видывал. Три бабенки до нее топтались на телятнике, и не какая-нибудь пьяная рвань — семейные. И все равно телята дохли. А эта пришла — еще совсем-совсем девчонка, но в первый же день: «Проваливайте! Одна справлюсь». И как почала-почала шуровать, такую революцию устроила — на телятник стало любо зайти.

Мария вернулась через три дня. Мрачная. С накрепко поджатыми губами.

— Да ты что, — попробовал пошутить председатель, — перепила на свадьбе?

— Не была я на свадьбе, — отрезала Мария и вдруг с яростью, со злостью выбросила на стол свои руки: — Куда я с такими крюками поеду? Чтобы люди посмеялись?

Председатель ничего не понимал.

— Да чего не понимать-то? Зашла на аэродроме в городе в ресторан — перекусить чего, думаю, два часа еще самолет на Мурманск ждать, ну и пристроилась к одному столику — полно народу: два франта да эдакая фраля накрашенная. Смотрю, а они и есть перестали. — И тут Мария опять сорвалась на крик: — Грабли мои не по-

нравились! Все растрескались, все красные, как сучья — да с чего же им понравятся?

— Мария, Мария...

— Все! Наробилась больше. Ищите другую дуру. А я в город поеду красоту на руки наводить, маникюры... Заведу, как у этой кудрявой фрали.

— И ты из-за этого... Ты из-за этих пижонов не поехала на свадьбу?

— Да как поедешь-то? Фроська медсестрой работает, жених офицер — сколько там будет крашеных да завитых? А разве я виновата, что с утра до ночи и в ледяную воду, и в пойло, и навоз отгребаю... Да с чего же у меня будут руки?

— Мария, Мария... у тебя золотые руки... Самые красивые на свете. Ей-богу!

— Красивые... Только с этой красотой в город нельзя показаться.

Успокоилась немного Мария лишь тогда, когда переступила порог телятника.

В семьдесят пять глоток, в семьдесят пять зычных труб затрубили телята от радости.

1976

НАДЕЖДА

Вышел на улицу, глянул в верхний конец — кто там пылит, клюкой на солнце размахивает?

Федосеевна. И разряжена в пух и прах: в старинном ярком сарафане, который, может, сохранился еще от приданого, в голубой шелковой кофте с белыми нашивками по подолу — тоже прежнего завода.

— Куда это с утра вынарядилась?

— За пачпортом. Из сельсовету вечор прибежали,

чтобы за пачпортом в район ехала. Я говорю: что вы с ума-то сходите? Какой мне пачпорт — помирать надоть. Але на том свете ноне порядки новые — без пачпорту и ходу нету? Всем, до последнего человека, говорят, пачпорта получать. Вот и собралась. Надо приказ сполнять.

— А не рано собралась-то? Автобус-то когда приходит?

— Ничего. У почты посижу. Тепло ноне. Не могу дома-то жить. Всюю ноченьку глаз не сомкнула. Все вспомнила, по всей жизни прошлась. И как у отца с матерью в бедности вырастала, и как в колхозе робила, и как войну пережили. Три похоронки на одном году пришло — каково, думаешь, мне было? На Петю, на Владимира, на Павла — и все в сорок пятом году. Вот как война-то нас шарахнула напоследок.

А что, надоть как-то жить. Да надоть наследника але наследницу смекать. Мужик весь приохался: «Вот помру, и весь род-корень чемакинский искурится».

В сказке вон старик взял полешко да вырезал Ольшанка — вот тебе и сын, а нам как быть? Один весь изранен да искалечен и дру́га немолода молодка.

Ну господь услыхал — дал Надежду. А что Надежда? Семё худое — говорю, живого места на мужике нету. И земля одно званье — когда есть цвет, а когда нету — вот как я рожала Надежду. Вот девка-то за все и расплачивайся. И за войну, и за матерь (у меня два зуба во рту было, когда рожала), и за голод — отец, можно сказать, нарушил себя, все, какой кусок, какая кроха в доме заведется, мне пихал: тебе девку кормить. А девка — слепая, затянуло гноем глаза. Сколько, бывало, языком вылижу — до тех пор и свет белый ей светит, а так — при глазах слепая.

Ученье тоже не пало: с картошки-то не больно разбежишься. До четырех классов с грехом пополам доучилась — дальше-то что делать? В колхозе не работ-

ница — ей зажало. Как хлеб на сухой глине. А жить-то надоть. Живым в землю не зарывают.

Ну умолила — в лес взяли. На лесопункт синетаркой. За больныма ухаживать. И вот кого лес губит, а моей девке глаза раскрыл. Что ты, она ведь справилась в лесу-то. Весной приехала домой — стук-постук. Я ночью сплю: кто там стучится? «Я, мама, открой». Ну, открыла. В потемках-то я и не заметила, какая она. А наутрось, на свету-то, увидела и признать не могу. Писаная красавица! Да ты ли, говорю, это, Надешка? «Я, говорит, мама, я». Чистенькая, гладенькая, как картиночка, глаза во все лицо. Бывало, как котенок малый, все с закрытыми глазами, а тут не знаю, что и подумать.

Я опять за спрос: да, может, подменили тебя в лесу-то? А как не подменили. Дома все в голоде, картошка, и та не досыта. А в лесу-то она исть стала. Да хлеб хороший, настоящий. Да приоделась. Вот она и расцвела, как цветок в поле.

Ладно, подошла пора моей Надежде пачпорт получать. Пришла домой. «Так и так, Иван Павлович, — это председателю колхоза, — дай бумажку, в район лажу идти». А Иван Павлович, может, по самым большим праздникам только и человек. «Я, говорит, одну бумагу тебе дам — на телятник. У нас телята не поены, не кормлены со вчерашнего».

Надежда моя: «Не имеете права. Я, говорит, уж три года на лесном фронте». — «А теперь, говорит, будешь на колхозном. Я, говорит, тоже к вам приехал не своей волей. А раз я не своей, и ты будешь робить». Надежда у меня пришла в слезах: «Что делать, мама?» А что мама присоветует? Где мама бывала? Кого за свою жизнь видела? С малых лет в лесу да со скотом.

Что — надо возвращаться на лесопункт несолоно хлебавши, куда больше, а через день Надежда у меня прилетела на крыльях: «Мама, говорит, начальник лесопункта мне бумажку дал. За пачпортом иду. Моли бога, что-

бы дали». И дали пачпорт. Да вот с этого-то пачпорта и начались все несчастья у девки.

Пришла на лесопункт, к начальнику: «Спасибо, Михей Лазаревич». — «А чего в спасибе-то?» — «А вот, — говорит Надежда,— праздник будет, бутылку поставлю».— «А мне, говорит, бутылка-то надо та, которая на двух ногах». Да шасть к двери, дверь на крюк. Спозарился на Надежду. Девка красавица писаная, кровь с молоком. «Не могу, говорит, ни жить, ни робить, а у меня планы...» — «Что ты, — говорит Надежда, — ведь у тебя у самого жена есть, дети... Да как, говорит, ты подумал-то о таком?» Знаешь, по-хорошему все хотела. Думает, опомнится, придет в себя мужик. А мужик ей на деван валить, силой, приступом брать. Надежда выскочила через окошко, в одной рубахе, не знаю, как и ноги не сломала.

И вот с той самой поры у меня для Надежды житья не стало. Лезом лезут и парни, и мужики. И свои, и вербованные. Один вербованный — до чего дошло — ножом стал стращать. «Моя, говорит, будешь але сколю».

Девка у меня с ума сходит. Хоть вешайся, хоть топись. Как-то прибежала домой: «Что мне делать, мама? Мужики проходу не дают. И от начальства никакой заступы». Такая уж, знаешь, у ей красота. Вот тянет на ей мужиков, да и только. Теперь уж сколько — тридцать пять, а хоть с завязанным лицом ходи — липнут да и все.

Я говорю: раз в чужих местах житья нету — возвращайся домой. У нас, говорю, в колхозе мужиков наперечет и поспокойнее свои будут. «Нет, говорит, мама, домой не вернусь. Не для того, говорит, я столько беды приняла с этим пачпортом, чтобы добровольно, своей охотой его лишаться. Надо, говорит, мне други ходы-выходы искать. На лесопункте реку вброд переброди́ть».

И вот перебрела. Шестнадцати годков замуж выскочила. Я учула — заплакалась. Кто же в эти годы свою

жизнь губит? А как зятя-то увидела, у меня и ноги подкосились. Под потолок будет. Мне надоть голову задирать кверху, чтобы зятя своего высмотреть. И некрасивый — черный. А она-то, как цветок лазоревый перед ним. «Что, мама, не понравился мой Вася? — Васильем жениха зовут. — Ничего, говорит. Я, говорит, видеть эту красоту не могу. Со своей намаялась. Я, говорит, оборону себе искала. Самый крепкий да самый сильный человек на лесопункте, хоть во спокое поживу. Теперь, говорит, ко мне близко никто не подойдет». А что — неверный, все равно житья не стало.

Я не раз уже слышал эту историю, но не стал прерывать старуху. Старый человек любит выговориться, а у Федосеевны какой сегодня день?

— С первого дня веры не дал. «Ты, говорит, нечестна». Надежда доказала свою честь. Рубахой. Чуло, видно, сердце-то, откуда сиверок дохнет. Опять: «Как за меня, за такого лешего, пошла?» — «За силу твою, — говорит Надежда, — пошла. Мне, говорит, сила да заступа твоя надобна, хорошей да чистой жизни хочу». Опять — не любишь! Замучил, с первого дня замучил девку. Але кого Надеха встретит, не смей говорить-здороваться. А как не здороваться, как не говорить с людями? У меня девка смалу в учтивости да в обхождении воспитана.

И вот Надежда у меня мучилась-мучилась, парничка прижила — ну, нету жизни. Всем бы хороший человек — и не пьет шибко, деньги хорошие зарабатывает, хозяйственный. Все справили: небель, стервант, одежды всякой назаводили, посуды звонкой. Ну неверной. В клуб не сходи, к людям не выйди, и на улице — вышла — везде евонные глаза.

Ну что, три года пожили, ушла Надежда. Все ему оставила: небель, деньги, тысяча рублей на книжке было, — только, бога ради, оставь меня во спокое, дай мне жить-дышать. Да вот с тех пор так и путается — ни дев-

ка, ни жонка. Я начну говорить. «Не учи, не твое дело. Нынче половина так живет»...

Старуха ждала моего одобрения, и мне бы надо хоть кивнуть головой, что ли, — на большее я был не способен, потому что я раз двадцать высказывался по поводу образа жизни ее дочери, столь необычного для нашей все еще во многом патриархальной местности, но сегодня во мне вдруг что-то забастовало, и обиженная Федосеевна в конце концов встала с бревна, на котором мы сидели, да так и пошагала, не попрощавшись.

1978—1980

КОГДА ДЕЛАЕШЬ ПО СОВЕСТИ

В пятьдесят втором году после окончания ветеринарного института Аркадия Стрельникова направили на Новгородчину старшим ветврачом зоны МТС.

Время было трудное, — послевоенное лихолетье! — многие колхозы дышали на ладан, а у него, ветврача, одна присказка, один разговор: сдавай мясо! Да мясо товарное — говядину.

Однажды Стрельников приехал в колхоз — председатель сидит за столом, по уши зарывшись в бумаги.

— Что за новая игра в бумажки? По мясу всех обскакал? — Стрельников, несмотря на свой возраст, умел страх нагнать — быстро «поставил голос».

— Эти бумажки — смертный приговор колхозу, — вздохнул председатель.

— Смертный приговор?

— Да. Заявления от колхозников. Коров да телок просят. — И тут председатель, как-то беспомощно, беззащитно взглянув на него, взмолился: — Понимаешь,

какое дело-то... Не дать коров колхозникам — разбегутся, без коровы на сотки не проживешь, а дать — ты же первый крик поднимешь: почему у тебя молочное стадо сократилось?

— Ты мне Лазаря-то не пой! — начал было Стрельников с привычной фразы (не впервой приходится вправлять мозги) и вдруг прикусил язык, ибо председатель, как бы защищаясь от него, поднял руку, и вместо руки у него оказался пустой рукав.

Стрельников сел и долго сидел, со стороны, сбоку приглядываясь к худому, нездоровому лицу председателя.

— Слушай, — сказал он наконец, — а у колхозников, которые просят коров да телок, есть в личном хозяйстве свиньи да овцы?

— У кого есть, а у кого нету.

— А нельзя так сделать: вместо крупного рогатого скота сдать в госзакуп мелкий?

— Нельзя. По плану: говядина. Разве только ты как старший ветврач бумагу выдашь: колхоз, дескать, сдал то, что надо.

Стрельников выдал бумагу, а через день его вызвали на бюро райкома. Заявление: старший ветврач Стрельников разрешил отдать коров колхозникам, а государству вместо высококачественной говядины всучил какую-то свинину и недозрелую баранину. Одним словом, обман, антигосударственная практика! (Кстати, заявление, как потом выяснилось, накатал один из колхозников, которому не досталось коровы.)

Секретарь райкома темной тучей навис над молодым ветврачом: отвечай! И от членов бюро несло крещенским холодом. И Стрельников в первую минуту перепугался насмерть, а потом вдруг вспомнил председателя с обрубком вместо руки и просто озверел:

— Это накормить-то крестьянских детишек молоком антигосударственная практика? Да зачем же нас с вами

сюда прислали? Разве не для того, чтобы крестьянские дети молоко ели? Или вам плевать на крестьянских детей, поскольку сами получаете молоко с базы? Нет, то, что я сделал, это не антигосударственная практика, а единственно государственная и народная практика!

Сказал, и не вышел, а вылетел вон.

Члены бюро уставились на первого секретаря: что сделает тот? Сейчас, сию минуту, позвонит куда следует или покамест распорядится, чтобы заготовили приказ о снятии Стрельникова?

А первый сидел-сидел, смотрел-смотрел в стол и вдруг сказал:

— Будем считать, что никакого заседания бюро у нас сегодня не было.

Прошло, наверно, с полмесяца. Многие сослуживцы перестали разговаривать со Стрельниковым — на всякий случай, чтобы не погореть заодно с ним. А сам Стрельников назло всем ходил по передней улице мимо райкома. Смотрите! Не боюсь!

И вот однажды, когда он так среди бела дня напоказ рысил мимо райкома, оттуда вдруг вышел секретарь со своим синклитом.

— Стрельников, чего не здороваешься?

— А чтобы не подумали, что подлизываюсь к вам, — с вызовом ответил Стрельников.

— Вот как! — усмехнулся секретарь. — Ну коли ты не хочешь подойти, я сам к тебе подойду, — и на виду у всех через грязную дорогу пошлепал к Стрельникову.

Подошел, протянул руку:

— Правильно выступил. Мы действительно подзабыли, для чего живем. Я, брат, из беспризорников и знаю, что такое голод. Работай. Но серость свою не показывай. Со старшими надо здороваться.

1969

ВАЛЕНКИ

У Косовых дом разодет, как невеста. На веревках вокруг дома развешаны яркие шелковые платья, задорно переливающиеся на солнце, всевозможные шали, полушалки, платки, ситцевые и шерстяные отрезы, одежда верхняя, обувь, меховые шапки.

По-старинному сказать — это сушка нарядов, от моли, от мышей, но в то же время это и смотр благосостояния семьи, приданого дочерей. И надо ли говорить, что Дарья Леонтьевна, хозяйка всего этого великолепия, сияет с головы до ног! Это ведь она все нажила, своими рученьками нажила — двенадцати лет от родителей осталась.

Я от души радуюсь вместе с Дарьей Леонтьевной и с удовольствием обхожу весь этот пестрый, пахучий парад и вдруг на видном месте, возле самого крыльца, замечаю два старых, растоптанных, без подошв черных валенка.

— А эти молодцы как сюда попали?

Дарья Леонтьевна молодо смеется.

— А от этих молодцов я жить пошла.

— Жить?

— Жить. Мне эти валенки в лесу дали. Первая премия в жизни. И вот жалко, никак не могу выбросить.

Дарью Леонтьевну прошибает слезой.

— Ох, как вспомнишь все свои стежки-дорожки, дак не знаешь, как и на сегодняшнюю дорогу вышла. Мне четырнадцать лет было, когда меня на лесозаготовки выписали. И вот раз прихожу в барак из лесу. «Новый год, говорят, Дарка, завтра у людей». Эх, думаю, и мне надо Новый год отметить. А как? Чем? У нас тогда, в войну, не то что хлеба, картошки-то досыта не было. А давай, думаю, у меня хоть валенки сухие в новом году будут. Положила в печь, легла на нары. Думаю, полежу немножко, выну. А проснулась утром — в бочку железную бригадир колотит. Я вскочила, к печи-то подбегаю, заслонку открываю, а у меня от валенок-то одни голяшки.

Сгорели. Жарко, вишь, топили печь. Стены-то в бараках худые — к утру все выдует, куржак в углах-то, зайцы белые.

Я вся в слезах к начальнику лесопункта. Босиком. По снегу, как сейчас помню, — конторка напротив барака стояла. «Так и так, говорю, Василий Егорович, у меня валенки сгорели, что мне делать?» — «А что хошь делай, а чтобы к утру завтра была на работе. А то под суд отдам».

Пошла домой — восемь верст до дому. Из шубы маминой два лоскута вырезала, ноги обернула да так и иду зимой по лесу. Пришла домой, а что возьмешь дома? Катя, сестренка младшая, в детдоме, изба не топлена, на улице теплее.

Вот я села на крыльцо, плачу. Идет старичок, Евграф Иванович, конюхом робил. «Чего, девка, ревешь?» — «Валенки сожгла. Начальник сутки дал, а где я их возьму». — «Ничего, говорит, не плачь. Пойдем ко мне на конюшню, что-нибудь придумаем».

Вот пришли на конюшню, тепло у дедушки, да я только села на пол к печке, прижалась, как к родной мамушке, и уснула. До самого вечера спала. А вечером меня дедушко Евграф будит: «Вставай, говорит. Ладно, нет, я чего скорестил». Я гляжу и глазам не верю: бурки теплые, эдаки шони из войлока от хомутов старых сшил.

Я надела бурки да до самого барака без передышки бежала. В лесу темно, разве звездочка какая в небе мигнет, а я бежу да песни от радости пою. Успела. Не отдадут под суд.

А через полгода, уж весна была, приезжает к нам сам. Секретарь райкома. «Говорите, кто у вас ударник». — «Дарка, говорят. Всех моложе девка, а хорошо работает». — «Чего хочешь? — говорит, это секретарь-то. — Чем тебя наградить-премировать за ударную работу на трудовом фронте?» — «А дайте, говорю, мне валенки». — «Будут тебе валенки. Самолучшие». И вот осенью-то мне

валенки черные привез. Опять сам. Верный человек был. Раз уж что сказал — сделает.

Я долго их носила. Бережливо. Первые-то пять лет только как выходные, а потом уж и каждый день. Вот какие у меня эти валенки.

1974

ОТОМСТИЛ

Прошка Сальников, водопроводчик из нашего жэка, в ту пору, по его словам, только-только вставал на колеса, и деньги нужны были позарез.

Во-первых, получил комнатуху (первую в жизни!) — надо худо-бедно оснастить? А во-вторых, жена на развале — тоже расходы. Коляска там, кроватка, бельишко — это самое малое.

Короче, без халтуры не обойтись.

Две недели убивался Прошка за городом — одной старухе сруб для дачки подрядился поставить. Ел всухомятку, спал три-четыре часа в сутки, да и то в шалашике, а уж октябрь был, и работку сделал на совесть (не растряс еще к тому времени деревенскую дурь). В общем, принимай, старая, да выкладывай пятьсот рублей, как договаривались.

Старуха отвалила пятьдесят.

Прошка кричал, ругался, выходил из себя — но чем докажешь, что такой уговор был? Где бумага?

— Ну ладно, стерва старая, — сказал на прощанье, — спасибо за ученье. Ты меня ободрала как липку, но и тебе не жить в новом доме. Сгоришь!

Ушлая, бывалая старуха нажаловалась в милицию. Но разве он к тому времени не прошел уже всеобуча стервозности у той же самой старухи?

— Впервые слышу. Знать ничего не знаю.

Шло время. Прошка мало-помалу обзавелся самыми необходимыми досками — так на его языке называется мебель, — жене, ребенку дал нужную оснастку, а обида не утихала. Не мог позабыть старухиной наглости.

Но как отомстить? Спалить, как грозился? А суд?

Помог случай. Однажды он сильно порезал руку и, как водится, залил порез марганцовкой, а потом стал заправлять зажигалку, да обмакнул залитый марганцовкой палец в бензин — жаром запылала рука.

Мозги у Прошки заработали: а нельзя ли с помощью этой самой химии вызвать огонь?

Взял бутылку, налил в нее бензина, сыпанул марганцовки, отнес на пустырь.

Опыт удался: ровно через три недели бутылка взорвалась, и на пустыре вспыхнул пожар.

Дальше все было просто: бутылку с бензином и марганцовкой Прошка подложил под сруб старухиной дачки, и та в положенный срок сгорела.

Претензий, само собой, к нему не было и не могло быть никаких. Никто не видел его в тот день возле старухиной дачки, да к тому же у него было алиби: не пожалел денег, весь день высидел в ресторане.

Но вот русский человек! Мало ему простой мести. Мало того, что сгорела дачка. Надо, чтобы старуха еще от ярости покорчилась на его глазах.

Короче, отправился Прошка к старухе и прямо с ходу: так и так, мол, поняла теперь, как надувать честного человека? Где твоя дача? Сгорела? А кто сжег? Я.

Старуха, как он и ожидал, не поверила, и тогда он неторопливо, со всеми подробностями рассказал, как спалил дачку.

И все было бы хорошо — закрыто дело, да, на его беду, в соседней комнате (тут он опять дал осечку) сидели две старухиных приятельницы, и вот их-то старуха и выставила свидетелями на суде.

Прошке дали условно два года исправительно-трудовых работ да еще обязали выплатить старухе пять тысяч рублей.

1975

САМАЯ СЧАСТЛИВАЯ

Нас от отца осталось — полна изба. И все девки. Из мужского-то один Тихон был. А в сусеках горстки муки нету. Ма́тенка день и ночь бьется, потом-кровью обливается, а все ничего, все хлебница пуста.

Ну, долго ли, коротко ли — рассовала нас по́ людям. Брат Тихон в город ушел, а меня, двенадцать лет было, в монастырь свела. Да подумай-ко, я там, в эдаком-то аду, девять лет выжила. Девять лет на волосатых дьяволов стирала.

Разбудят, бывало, в три часа утра да стой-ко у корыта до восьми вечера. Дак уж напоследок-то стираешь — ничего не видишь и не чуешь, в глазах все так и ходит. Руки щелоком разъест до мяса. Красные. Как лапы у голубя. Жалели мыла-то монахи, все на щелок нажимали. А зимой-то в проруби полоскать! Стужа — хозяин собаку из избы не выгонит, а ты идешь на реку да выполощешь двадцать пять кузовов. Да месяц пройдет, тебе за это рубль и отвалят.

Вот как меня в святых-то местах мытарили. Бывало, матенка придет, поплачет-поплачет да так ни с чем и уйдет: не к чему ведь дома-то прийти.

А что вот: как ни жила, как ни мучилась, а молодо дак молодо и есть — подошло воскресенье, и нет-нет да и выйдешь куда. Теперь вот смотри, какая ягодка — собаки пугаются, а тогда, видно, не такой была. Идешь где — работники глазами едят, по коридору ступишь — монах так и норовит за груди щипнуть, да, бывало, как двинешь в рожу-то волосатую — снопом летит.

Ядрена, ядрена была, не обидел бог здоровьем-то, мешки с мукой в шестьдесят лет ворочала, ну а супротив своего старика, тогда-то не старик был, кровь с молоком, не устояла. Поглядом взял. Всех — и монахов, и работников от себя отшвыривала, как щенят, кидала, а тут глазом повел и делай, что хошь, — ни рукой, ни ногой не шевельнуть.

Забрюхатела.

Ну что поделаешь, сама виновата. С мамой посидели-поплакали: такая уж судьба. А чтобы Олексею жалиться, слово сказать — это старику-то моему, — мне и в голову не приходило. Из хорошего житья человек, первый жених на деревне — да разве ему с Олениной девкой вожжаться? Бесприданница, да еще и ворота на запоре держать не может. Раньше ведь строго было насчет девьей чести, не то что ноне.

А Олексей узнал, что я забабилась, — к родителям: так и так, отец и мати, кроме Олениной девки никого брать не буду.

Те его и лаской и таской, и добром и батогом — горячий отец был, ну Олексей на своем: не быть под моей рукой никому, окромя Окульки.

Отец распалился:

— Ах так! — говорит. — Отец-матерь тебе не указ? Ну дак живи как хочешь. Ничего не дам.

И не дал. Мы три года в черной бане жили, три года дымом давились. Первую-то квашню я в чем, думаешь, развела? В шайке, из которой в бане мылись.

Олексей — спать ложиться: «Пой, женка!» Да я, веришь ли, сроду так не певала. Вся деревня выходила на улицу нас слушать. «Окулька-то, говорят, не диво, что поет. Той как не петь, лучше-то не живала, смалу в людях. А Олексей-то чему радуется?»

А мы с Олексеем быстро на ноги встали. Дом выстроили. Одни, всем в удивленье. Я заместо напарника была — и под дерево, и на дерево. Да, бревна вместе

с Олексеем подымала и на углу с топором вместе сидела. И опять, бывало, вся деревня глаза пучит: ведь ни в жизни не видали, ни в сказке не слыхали, чтобы баба с топором управлялась.

Дом построили, хозяйством обзавелись, к нам и свекор-гроза пожаловал.

Старик беспомóщной стал да слепой еще — кому такой надоть? Все три сына отказались. Иди, говорят, теперь к Олексею. Ты у его еще не жил. А как к Олексею-то идти, когда он его из дому выгнал, иголки не дал?

Я утром вышла — кто у нас на крыльце сидит? А то свекор. Колотиться-то не смеет, вот и сидит на крыльце. А холодно. Зима. Самые раскрещенские морозы.

Я старика на руки да в избу, да на печь. А потом напоила, накормила да в бане намыла — его вошь съела. Ну дак уж он как малый ребенок плакал:

— Прости, прости, Окулина. Я не воздал тебе за твою доброту, дак пущай хоть бог воздаст.

И вот не знаю, свекор ли намолил мне счастья (набожный был старик, не то что я, монастырка, так меня в деревне-то кличут), судьба ли у меня такая, а я самый счастливый человек по деревне. На войну четыре человека из моего дома уходило — муж, трое сыновей, и все четверо вернулись. А Олексеевы братья все там остались. Да что говорить? Три с половиной мужика по всей деревне вернулось, а у меня все четверо — это ли не счастье?

1939—1980

НОВОГОДНЯЯ ЕЛКА

Отчего так пакостно на душе, отчего я весь разбит, измочален? Перебрал вчера? Или от вчерашнего словоблудия все еще мутит?

Боже мой, боже мой! Собрались встречать Новый

год — веселись, безумствуй, бурли, как шампанское! Так встречают нормальные люди самый прекрасный праздник в году. А мы на всю ночь развели высокоинтеллектуальный скулеж про нашу расейскую бестолковщину, про наши безобразия. И добро бы хоть польза была от него какая, добро бы хоть чувства свои гражданские, что ли, лишний раз отточили, пополнили свои запасы мужества и отваги на предстоящий год.

А то ведь как было? Рассказывали разные случаи, один отвратительнее другого — про бюрократический произвол, про взяточничество и коррупцию — и ни малейшего протеста, ни единого выкрика возмущения. Свыклись, примирились. И именно в этом был весь ужас, ибо кто собрался, кто сидел за столом? Писатели, художники, ученые — словом, те, кого принято называть наставниками, пастырями духовными.

Долго я, весь разбитый и измочаленный, лежал в постели, снова и снова прокручивая в голове все подробности вчерашнего вечера, унылым взглядом обводил комнату. Массивный, как сундук, телевизор во весь угол, полированный сервант, или стервант, как сказали бы мои деревенские приятели-остряки, заставленный всяким хрустальным барахлом, куклы франтоватых дамочек в национальных костюмах, которые я привез из заграничных поездок...

А где же новогодняя елка? Жена с племянницей обычно ставили елочку ко мне в комнату в самый канун Нового года — свежую, морозную, почти без всяких украшений, в своем натуральном наряде, и к утру она заполняла лесным духом всю комнату.

Так вот почему у меня непразднично сегодня на душе, начал я уже по-новому объяснять причины своего дурного настроения, — елки в доме нету. Вчера жена и племянница два часа мотались по городу — не могли достать. А без елки какой же Новый год?

В передней зазвенел звонок — почта, должно быть.

Она. Я узнал Олю-почтальоншу по шепелявому, захлебывающемуся голосу. Оля поздравляла жену с Новым годом, и жена тоже поздравила ее, а затем, как я понял из дальнейшего разговора, хотела немножко, хотя бы десятью рублями отблагодарить ее за услуги — у нас большая почта и Оля иной день раз пять наведывается к нам.

— Нет, нет, — услышал я опять торопливый и шепелявый голос, — это наша работа, нам за нее платят. Вы меня обижаете...

Обижаете? Это ее-то обижают? Господи, получает каких-то восемьдесят рублей за такой каторжный труд (попробуй-ка на себе потаскать целыми днями пудовую сумку из дома в дом, с лестницы на лестницу) да еще и — «обижаете»...

Я пошел на подмогу жене.

Вижу, стоит в передней давно примелькавшаяся мне уже немолодая девушка в теплом платке. Серое дешевенькое, затасканное пальтишко с вытертым кроличьим воротником, старые суконные румынки, зубов спереди нет. А почему нет — гадать не приходится. Не очень-то разбежишься на ее капиталы.

И вот мы уже оба с женой уговариваем Олю принять от нас подарок. И снова: нет, нет.

Я надбавил пятерку — может, теперь будет посговорчивее?

— Вы меня обижаете! — сказала опять Оля. И сказала уже твердым, непререкаемым голосом, в котором, однако, угадывались с трудом сдерживаемые слезы.

И я глядел в ее большие, спокойные серые глаза и вдруг понял, что и в самом деле обижаю ее. Покушаюсь на самое дорогое богатство ее — честность и неподкупность труженицы.

Мне стало стыдно. Стыдно до слез. И в то же время какой свет хлынул в мою душу!

1977

ПОЛЯ ОТКРОЙ ГЛАЗА

— Узнаешь, нет? Але больно высоко вознесся, нас, грешных, не замечаешь? Давай дак разуй глаза-то. Так я и поверила тебе. Полю Малкину не узнал.

— Поля? Из седьмого класса?

— Ну то-то же.

Я так и эдак всматриваюсь в пьяную, развязную бабенку, незванно-нежданно ввалившуюся в избу, и нет, ничего не могу отыскать в ней от той черноглазой, смуглолицей девочки с гладкозачесанной головкой и пышной косой, которую мы звали Поля Открой Глаза. Звали за ее непомерную стыдливость и застенчивость, ибо она всегда ходила с полуопущенной головой и полузакрытыми глазами.

Когда Поля выпила стопку (ради даровой-то выпивки и зашла), она с ухмылкой сказала:

— Ты вот, как меня в седьмом классе звали, запомнил, а почто я такой-то отпетой стала, знаешь? Ничего не знаешь. Тебя кто учил-то? Профессора да всякие ученые? А меня жизнь-матушка. Ты после седьмого класса прямиком в восьмой. Так? А я куда? А я в лес. А почто в лес? А пото, что себя кормить надо да еще мелюзгу. Отец умер, нас шестеро осталось, и я самая старшая. Вот и дали мне путевку к пню — лес возить. Это четырнадцати-то лет.

Я села в сани: «Поехали, Карюха». А Карюха и не думает ехать. Я так, я эдак: милая, хорошая, дорогая. А милая да хорошая ни с места. И вот вечером мне и пайки нету: задание дневное не выполнила. А еще через день меня к начальнику лесопункта: «Как это понимать? Саботаж але вредительство?»

У меня были из дому сухари житние, сама не съела, а наутро все кобыле скормила. Думаю, поимеет совесть, пойдет. А она опять ни шатко ни валко. Я плачу, я горькими обливаюсь — ничего поделать не могу. Спасибо,

Василий Мартемьянович подвернулся. Старик, пилы наставлял. «Что, девка, плачешь?» — «Кобыла нейдет. Я уж ее и упрашивала, и умоляла, и сухарями кормила...» — «Ох, девка, девка, да не упрашивать эту кобылу надоть да сухарями задабривать, а матюкать. Она к этой политграмоте у мужиков приучена, а твоего языка она и не понимает». Взял у меня из рук вожжи да как рявкнет, да как выпалит сто матюков в секунду, она, кобыла-то, и пошла. Вот так я обасурманилась, так я стала гнуть матюки, как медведица дуги.

А как я с этой, с белоголовкой-то, спозналась, дружбу свела — рассказать? До тридцати лет в рот капли не брала, вот те бог! Даже в День Победы — по сто грамм спирту дали, не притронулась. Егору Степановичу отдала. А тут решила на случку идти, напилась. Что, что морщишься? Небаско говорю? А баско-то в книжках, баско-то вы, писатели, сказки сказываете. А у меня какие сказки. До тридцати лет жила, ни разу с парнем не поцеловалась. С худым, мозгляком каким не хочу, а хорошие-то где они? Хороших-то на войне поубивали.

Вот так я и дожила до тридцати лет девушкой на все сто процентов. А тут спохватилась: да что же это я делаю-то? Ведь так я и зачахну стопроцентной девушкой, ха-ха. А где любовь? В ро́манах, в кино вешаются да травятся из-за этой любви, а я жизнь прожила и не отведала. Вот тогда я первый раз с бутылкой-то и спозналась. А как? Надо идти на поклон к Ваньке Олешичу (один он у нас был сознательный, никого не отталкивал), а меня тошнит от одного вида его. И вот для храбрости я сама хватила стакан да еще ему за труды бутылку прихватила. Задаром-то он не работает, ха-ха...

Ну про любовь обсказала — дальше тайна, покрытая мраком. Але еще рассказывать? Могу. Это еще все подходы к моей жизни, а про саму-то жизнь, ежели хочешь знать, я еще и не начинала...

1970—1980

СЛОН ГОЛУБОГЛАЗЫЙ

1

И как только я ни называл, ни крестил ее про себя, каких только прозвищ ни придумывал! То́пало, бегемот, сундук ходячий, медведица двуногая...

Но все это было не то, все это в лучшем случае передавало ее внешний облик, ее громоздкость. Помню, я даже растерялся, когда впервые увидел ее, — такая вдруг громадина, такая вдруг стопудовая туша выперла из-за угла да еще в этом своем мужикоподобном, длиннющем, до колена, пиджаке из какого-то дешевого темно-синего сукна...

Я немного успокоился, когда на ум пришла вот эта самая кличка — слон голубоглазый. Тут уж было кое-что ухвачено и от ее хара́ктера, от ее внутренней сути. По крайней мере — от ее доброты. Ибо всякий раз, встречаясь со мною (а мы как соседи по двору встречались почти каждый день), она улыбалась мне своими голубыми, прямо-таки ангельскими глазами (это при ее-то габаритах!) и с какой-то обезоруживающей простотой и даже застенчивостью, всегда одним и тем же, ровным и тихим, чуть-чуть шепелявым голосом спрашивала:

— Как вы поживаете? Как ваше здоровье? Как вам работается?

Я, конечно, отшучивался, говорил какие-то банальности, пустяки. А что было делать? Не принимать же всерьез все эти расхожие, изо дня в день повторяющиеся благоглупости? Но, странное дело, с некоторых пор я стал замечать: после встречи с Марией Тихоновной мне весь день было как-то легко и хорошо, и даже лучше работалось.

Между тем время шло. Прошла осень (первый раз я встретил Марию Тихоновну в солнечный сентябрьский день, когда весь наш двор был засыпан золотом спав-

шего листа), прошла зима, весна зелеными тополями вскипела у нас на дворе, а мы как раскланивались при встречах, так и продолжали раскланиваться. Да большего, откровенно говоря, я и не хотел.

И вдруг однажды приходит из университета жена (она читала курс русской литературы на заочном отделении, где работала Мария Тихоновна) и говорит:

— Марию Тихоновну видела.

— Ну и что?

— Приглашала на юбилей.

— На юбилей? На какой юбилей?

— На свой. Шестидесятилетие будет отмечать.

— Что ж, сделай доброе дело — сходи.

— Видишь ли, — сказала жена, — она нас вместе приглашала.

— Ну знаешь... Только мне теперь по юбилеям и ходить...

— Ничего. На часок — на два можно. Надо же уважить человека.

Я пришел в ярость. Конец мая, конец учебного года — да разве ей объяснять, ей растолковывать, что за жизнь в это время у преподавателя университета? Каторга! Дипломные и курсовые работы, завершение лекционных курсов и спецкурсов, подведение всевозможных итогов за год — по учебной работе, по научной, по воспитательной... А всякие там собрания и заседания, всякая писанина отчетная... Да тут не то что по юбилеям ходить — дыхнуть некогда. А потом, что меня еще вывело из себя, — как она не подумала о главном деле моей жизни? Да, да, именно в те годы в великой тайне от всех — по ночам, в летние каникулы, в выходные дни, годами недосыпая и не отдыхая, — я сотворял свой первый роман, и завтра как раз было воскресенье — единственный день за эти две сумасшедшие недели, когда я хоть на час — на два мог засесть за свою любимую работу.

Жена дала мне выкричаться, дала отвести душу, а вечером, за ужином, снова завела разговор про юбилей: Мария Тихоновна старый, одинокий человек, у Марии Тихоновны никого нет: ни детей, ни мужа...

Я легко отбил и эту атаку: всех не пожалеешь.

Но жена не унималась:

— Всех-то ты жалеешь. Только и делаешь, что говоришь да пишешь о любви к людям. А вот на деле любовь к человеку проявить — к живому, к конкретному...

И тут жена вдруг расплакалась:

— А ты забыл, забыл, что сделала для меня Мария Тихоновна? Да если бы не она, может, меня и на свете сегодня не было...

Были, были черные дни в нашей жизни. Написала жена кандидатскую диссертацию — на кафедре расхвалили до небес: новое прочтение раннего Горького, заметный вклад в науку, работу необходимо опубликовать... А через день та же самая кафедра вынесла решение: защиту диссертации отменить. И из-за чего? А из-за того, что накануне было партийное собрание университета и на том собрании выступил какой-то молодчик из породы так называемых бдителей. Потрясая с трибуны авторефератом диссертации, он заявил, что вот, мол, до чего докатился филологический факультет, кому доверил разработку боевых проблем партийности в литературе! Человеку, который в годину всенародного подвига отсиживался у немцев.

И напрасно, напрасно жена стучалась во все двери, искала справедливости, взывала к своим товарищам по кафедре: нет вины за ней, не по своей воле она, девчонка, два года заживо умирала в городке, внезапно занятом врагом. Закаменели. Оглохли и ослепли.

И вот в это самое время, когда все рушилось вокруг, когда, казалось, сама земля уходила из-под ног, — в это самое время ей и попалась на пути Мария Тихоновна.

Не знаю, до сих пор не знаю, чем так помогла жене

Мария Тихоновна. Да и могла ли она вообще помочь, если говорить начистоту? Не то делопроизводитель, не то какая-то секретарша заочного отделения, а в общем, как говорится, из малых мира сего, — да что она могла сделать для жены? Какую такую особую роль сыграть в ее судьбе?

Я, однако, никогда не старался прояснить все подробности и детали этой истории. Во-первых, не хотелось лишний раз травмировать жену, а во-вторых... А вовторых, надо правду говорить: в те трудные дни я и сам не лучшим образом вел себя. Меня в те дни тоже захватил какой-то всеобщий страх и малодушие, и в душе я не раз клял себя за то, что так легкомысленно, так необдуманно связал свою жизнь с человеком такой судьбы и тем самым навсегда погубил свою чистую, свою безупречную биографию, которая по тогдашним временам открывала передо мною все двери.

Слезы, сознание до сих пор не выветрившейся полностью вины сделали свое дело, и в конце концов я махнул рукой: быть по-твоему! Пойдем, пойдем на юбилей.

2

Вечер был — чудо. Золотой закат во все ленинградское небо, пушкинская Нева с каменными сфинксами, которые нездешними, загадочными глазами вглядывались в медленно наплывавшую на город белую ночь, первые цветы, первая зелень, широкие набережные, еще не остывшие от дневной жары и дымящиеся легким парком после полива...

И мы шли с женой по этому сказочному городу, наслаждались всей окружающей красотой, и я был счастлив. Счастлив от своего великодушия, от своего благородства, оттого, что я не зачерствел, как другие, душой, откликнулся на простой человеческий зов. И я представ-

лял себе, как обрадуется сейчас старуха, увидев меня в дверях, какой переполох вызовет мое явление у ее невзрачных подруг — всех этих секретарш, делопроизводителей, лаборанток...

Так мы дошли до Дома ученых на Дворцовой набережной, и тут я опять, который уже раз за сегодняшний вечер, посмотрел на жену: не ошиблась ли она? Действительно ли в этом роскошном дворце назначен ужин? Ведь сюда даже известные ученые далеко не всегда могут пробиться.

Жена ответила уже известным мне доводом:

— Да говорю тебе, все дело в столовой. Тут хорошо кормят и недорого.

Однако когда мы вошли во дворец, столовая, по словам мордастого, раззолоченного швейцара, была уже закрыта, и единственный банкет, который проводится сегодня в Доме, был на втором этаже, в главном банкетном зале.

В величайшем смущении, сопровождаемые подозрительным взглядом швейцара, мы по широкой мраморной лестнице, устланной коврами, поднялись на второй этаж и вступили в непривычный, сказочный мир дворцового великолепия.

Ерунда, ерунда какая-то, — оробело твердил я про себя и, уж не помню как, открыл какую-то дверь. Открыл и буквально замер: такое праздничное сияние огней, такое праздничное многолюдье увидел в зале. И кто, кто восседал в центре этого многолюдья, за главным столом, утопавшим в цветах? Мария Тихоновна, моя соседка по двору, в своем неизменном синем пиджаке.

3

Я начал понемногу приходить в себя, уже сидя за столом.

Много, много было гостей! Профессора, доценты, ас-

систенты, аспиранты. С геологического, с географического, с биологического...

Многих из них я знал лично, уже сколько лет встречаясь на разных собраниях и совещаниях. Но тут было немало и таких, кого я видел впервые, кто жил и работал, как я узнал от своей соседки, дамы строгой и сердитой, на Дальнем Востоке, в Сибири, на Урале, на Кольском полуострове.

— И что же, они специально приехали на этот вечер?

— Ну а как же! Да на юбилей Марии Тихоновны люди с того света приехали бы, а уж с этого-то что.

К нашему приходу (а мы с женой все по тем же моим амбициозным соображениям опоздали на сорок минут) главные речи и тосты были уже произнесены, и теперь в права вступали чувства, которые то и дело то тут, то там, как шампанское, выплескивались через край.

— Мария Тихоновна, вы были для меня как родная мать! Честное слово!

— А я Марии Тихоновне обязан жизнью... В тридцать третьем году меня исключили из комсомола, а значит, и из университета, как сына кулака. И если бы не Мария Тихоновна... — Голос говорившего дрогнул. — В общем, так: первую свою дочь я назвал Марией, и мой сын свою первую дочь тоже назвал Марией. И я хочу, чтобы обе мои Марии хоть немного, хоть капельку походили на вас, Мария Тихоновна...

— А я на всю жизнь запомнила слова, которыми меня Мария Тихоновна вытащила из беды: «Смотри не на тех, кому лучше, смотри на тех, кому хуже...»

— Товарищи, товарищи... — Мария Тихоновна поднялась. — Нельзя же так. Это уже похоже на культ.

По столам прокатился смех, хохот, затем известный ученый-географ Василий Павлович, как бы подводя итоги, сказал:

— Наши дела, дела людей науки, измеряются ста-

тьями, книгами, открытиями, а чем, какой мерой измерить дела души, дела сердца?

Кто-то за дальним столом от полноты чувств закричал:

— Предлагаю учредить новую ученую степень — степень доктора доброты и человечности и первой присвоить эту степень нашему юбиляру!

Я посмотрел на жену, — в глазах у нее стояли слезы, да у меня и самого горло перехватывало, и вдруг я понял, что значила Мария Тихоновна в жизни этих людей.

Дети железного века, века, когда исчезли, позабылись такие слова, как сострадание, милосердие, жалость. Но она-то, Мария Тихоновна, знала, ведала силу этих слов. И сколько человеческих сердец отогрелось, оттаяло возле нее! Сколько отчаявшихся воспрянуло духом!

Между тем волны всеобщего энтузиазма, которые одна за другой обрушивались на Марию Тихоновну, стали понемногу стихать. Подвыпившие гости, как это всегда бывает на банкетах, начали члениться на группы и группки, пошли разговоры уже свои, не имевшие прямого отношения к юбилею, потом кто-то завел радиолу, и вот уже две-три пары закружились в вальсе.

4

Была, была своя Мария Тихоновна и в моей жизни.

В тридцать втором году я окончил начальную школу первым учеником, и, казалось бы, кто, как не я, должен первым войти в двери только что открывшейся в соседней деревне пятилетки? А меня не приняли. Не приняли, потому что я был сын середнячки, а в пятилетку в первую очередь, за малостью мест, принимали детей бедняков и красных партизан.

О, сколько слез, сколько мук, сколько отчаяния было тогда у меня, двенадцатилетнего ребенка! О, как я ненавидел и клял свою мать! Ведь это из-за нее, из-за ее жадности к работе (семи лет меня повезли на дальний сенокос) у нас стало середняцкое хозяйство, а при жизни отца кто мы были? Голь перекатная, самая захудалая семья в деревне.

Один-единственный человек понимал, утешал и поддерживал меня. Тетушка Иринья, набожная старая дева с изрытым оспой лицом, которая всю жизнь за гроши да за спасибо обшивала чуть ли не всю деревню.

Пять месяцев изо дня в день я ходил ночевать к ней. Днем было легче. Днем я немного забывался на колхозной работе, в домашних делах, а где спастись, куда убежать от отчаянья вечером, в кромешную осеннюю темень?

Я брел к тетушке Иринье, которая жила на краю деревни в немудреном, с маленькими старинными околенками домишке. Брел по задворью, по глухим закоулкам, чтобы никого не встретить, никого не видеть и не слышать. Нелегкое было время, корежила жизнь людей, как огонь бересту, и как было не сорвать свою злость, не отвести душу, хотя бы и на малом ребенке.

И вот только у тетушки Ириньи я мог отдышаться и выговориться, сполна выплакать свое неутешное детское горе...

Танцы продолжались, моя жена тоже была в кругу танцующих, и за столом, похоже, остались мы вдвоем — я да Мария Тихоновна.

Мария Тихоновна сидела напротив меня, задумавшись и подперев щеку рукой. Широкое скуластое лицо ее окутывал полумрак (свет для уюта пригасили), и я залюбовался ее прекрасными голубыми глазами...

Где, где я видел раньше эти глаза — такие бездонные, кроткие и печальные? На старинных почерневших портретах? Нет, нет. На иконе богоматери, которую

больше всего любили и почитали на Руси и которую я впервые увидел на божнице у тетушки Ириньи...

Марии Тихоновны давно уже нет в живых, и я даже не знаю, где покоится ее прах. Но в те дни, когда мне бывает особенно тягостно и безысходно, я вспоминаю ее юбилей.

1979

ИЗ КОЛЕНА АВВАКУМОВА

1

Шоферишко попался мне необкатанный, из молокососов, да еще с норовом: я ему — в объезд, он — прямо, я ему — прямо, он — в объезд. Ну и вляпались — сели на брюхо, по самую ось. Да где? На большой дороге возле Пинеги, как раз напротив Койды, там, где на веку никто никогда не застревал.

Если бы у нас был с собой топор, была цепь, лопата, все было бы просто. Бревно, хламину какую под колесо, большую грязь отрыл, откопал и жми на газ. А то ведь у этого сопляка не то что нужного инструмента, самого дрянного ножа не оказалось.

Долго, часа полтора, плясали мы вокруг машины, но что сделаешь голыми руками? И в конце концов насмерть измученные, грязные, потные, мы сели возле дороги под березы и стали ждать — авось кто-нибудь проедет: не глухой проселок, главный Пинежский тракт.

Но шло время. Я выкурил одну папиросу, другую, шофер сбегал к реке выкупаться (нынешняя молодежь даром время терять не станет), а подмоги все не было,

и по-прежнему ничего, кроме шелеста разыгравшихся на ветру берез, не было слышно.

— Постойте, а какой сегодня день-то у нас? — вдруг осенило шофера. — Не воскресенье?

— Воскресенье.

— Ну дак хоть до самой ночи тут загорай, никого не дождешься. В Койду ехать надо, — сказал он решительно.

Койда была на другом берегу, и попасть туда не составляло большого труда. Но я не спешил. За этой деревней у нас издавна водилась недобрая слава.

Есть на Севере, а точнее сказать, на Пинеге и на Мезени, такая женская болезнь — ико́та, которая, правда, сейчас немного поутихла, а еще совсем недавно редкую работную бабу не трепала. Найдет, накатит на бедную — и мутит, и ломает, и душит, и крик и рев на все голоса — по-собачьи, по-кошачьи, и даже самая непотребная матерщина иной раз срывается с губ.

Медицинская наука на эту болезнь обратила внимание лишь в самые последние годы, о ней даже в Большой Советской Энциклопедии нет ни слова, и потому в наших местах доселе считается: икоту садят, икоту насылают лихие, знающие люди — икотники и гнездом этих икотников является Койда, небольшое старинное селеньишко, отгороженное от большого мира рекой.

Я, конечно, во все эти россказни давно уже не верил, но вот поди ж ты: когда мы в утлой, допотопной осиновке-долбенке переправились на ту сторону да стали подходить к деревне, у меня не то чтобы озноб по телу пробежал, а все какие-то иголки внутри ощетинились.

У шофера в верхнем конце жили дальние родственники, и он предложил мне пойти к ним («Чаишку хоть по стакану выпьем, ежели не будет ничего посущественней»), но я решил пройтись по деревне: кто знает, доведется ли еще когда побывать тут.

Лет десять я не был в Койде, и, конечно, за это время

она не стала лучше. Да и как она могла стать лучше, когда была приговорена к сносу. Новой постройки ни одной, а старые полуразвалившиеся, осевшие дома, как старые лошади на лугу, — неподвижные, безмолвные, погруженные в какую-то беспробудную дрему.

И мне жалко, до слез жалко было этих деревянных доходяг, но в то же время мне было и хорошо с ними. От них пахло согретым на солнце деревом, зеленая травка подступала к самому крылечку, и небо, вольное деревенское небо над головой. Не то что в моей родной деревне, где все опутано проводами да изрыто и перепахано тракторами и бульдозерами.

2

Старуха была старая-престарая. Она сидела на бревне возле дороги, уткнувшись подбородком в клюку, босиком, в синем старинном сарафане с лямками и, казалось, ничего не слышала, ничего не замечала. Но когда я подошел к ней поближе, она вдруг повернула в мою сторону морщинистое лицо и с интересом посмотрела на меня не по годам черными, живыми глазами.

— Что, бабушка, на солнышко погреться вышла?

— Вышла. Дочерь поджидаю. Где-то с утра ушла за хлебом и все нету. За пять верст в Ровду ноне за хлебом-то ходим.

— Далековато. А что, свой-то магазин не работает?

— Не работает. Третей год как лавку у нас прикрыли, а скоро, сказывают, и деревню прикроют. Какие-то порядки пошли — живую землю хоронить... Да ты чей будешь-то — спрашиваешь? Не здешний, видно?

Я назвался приезжим, подсел к старухе и тут же едва не вскочил — так ошарашило меня имя старухи.

Соломея! Или Соломида по-нашему. Самая что ни на есть главная икотница Койды.

Я немного успокоился, когда к старухе, часто дыша открытой пастью (жаркий день был, с солнцепеком), подошла молоденькая, недавно остриженная овечка и доверчиво уткнулась ей в колени.

— Что все трешься да трешься возле меня? Не ленись, пощипли травки-то. Ну, иди, иди с богом.

Старуха оттолкнула овечку, перекрестила темной, вздрагивающей от старости рукой, а потом перекрестилась и сама. При этом перекрестилась, как я заметил, двуперстным крестом, и я спросил:

— Старой веры держишься, бабушка?

— Старой. Через все страданья, через все испытанья с двуперстным крестом прошла.

— А много было у тебя страданий и испытаний?

Старуха вдруг всхлипнула, слезы вскипели у нее на глазах, но так же быстро, как у малого ребенка, и высохли.

— Не обделил, не обделил меня господь страданьями. И с голоду сколько раз помирала, и ноги отнимались, и мужа насмерть убивали, и по тюрьмам, по острогам злые люди водили. А в деревне-то своей я как весь век выжила! Как в пустыне. Никто в гостях у меня не бывал, никто дочерей моих взамуж не взял — все пятеро так на корню и посохли.

Я знал, мне известны были причины старухиных бед, но в эту минуту у меня невольно вырвалось:

— Да за что же тебя так, бабушка?

— А из-за напраслины. Из-за того, что в икотницах весь век хожу. Кто чем ни заболеет, у кого скотина ни падет — все Соломида-верста виновата (это меня по мужу ругают), она икоту посадила, она порчу наслала. А я, видит бог, — и тут старуха опять истово перекрестилась, — ни делом, ни помыслом не грешна. Всю жизнь божьим словом живу, всю жизнь оберуч, как за веревку, за стару веру держусь. С той самой поры, с того самого время, как в Пустозерье ходила.

— В Пустозерье? В какое Пустозерье?

— Одно Пустозерье на свете, — посуровевшим голосом ответила старуха. — В студеных краях, у Печоры-реки, где лиходеи великого праведника и воителя за истинные веры протопопа Аббакума сожгли.

У меня не было оснований не верить старухе, и все-таки в голове не укладывалось. Ведь это Пустозерье, или Пустозерск, — где? За четыреста — пятьсот верст от Пинеги, куда и ходу-то раньше не было. Летом из-за бездорожья, из-за гнуса — живьем комар сожрет, а зимой опять снега, холода — куда попал?

— Ходила, — вздохнула старуха. — Девкой еще ходила. По обету. Раз пришла с пожни, далеко у нас покосы были, на Вырвее, может, сорок але боле верст будет, да все суземом — сырыми ельниками, а дома у мамы гости: Иван Мартынович с Заозерья с женой да родня из своей деревни. «Что, девка, спрашивают, устала?» Да с чего устала-то? Нисколешеньки, говорю, не устала. Я еще, говорю, на игрище побежу. И побежала. У самой красные да черные колеса в глазах катаются, а побежала. Девка. Славы хорошей хочу. Думаю, скорее взамуж возьмут. А назавтра утром — мама зовет, шаньги поспели — я и на ноги встать не могу. Не мои ноги. Не стоят, подгибаются — нету костей. Вот как меня господь-то бог за похвальное слово наказал. Ну, погоревали, поплакали мы с мамой — в самую страду работница обезножела, — да что поделаешь? Так, видно, богу угодно, такова, видно, его святая воля. Стали меня в сенную запарку сажать, стали мурашиным маслом растирать, баню через день топить — все мертвые ноги, все ничего не помогат. А помощь пришла все от того же господа бога. Он, милостивец, ноги у меня отнял, он и вернул.

Была у нас в деревне старушка благочестивые веры, век скоромного не едала. Так и звали — Марья-постница. Вот эта-то Марья-постница меня и наставила: «Брось, говорит, девка, бесов тешить. Никакие тебе запарки-при-

парки не помогут, а поможет тебе, говорит, вера истинная да обвет». О, бабушка, бабушка, плачу, да я хоть какой обвет дам, только бы ноги ожили! «Тяжелый, говорит, обвет на тебя наложу. Перво-наперво, говорит, на гулянках, на игрищах больше ни разу не бывать. Хватит ли у тебя на то духу?» Хватит, говорю. А сама голоса своего не чую, у самой свет в глазах погас. Понимаю: на гулянках, на игрищах не бывать, да и взамужем никогда не бывать. Ну, второй обвет — в стару веру перейти — ничего, вроде полегче, после первого-то не ноша. Так тогда по молодости-то своим умом рассуждаю. Ну а как третий-то обвет наложила — я и расплакалась. Сходить в Пустозерье к святому великомученику Аббакуму, кресту евонному поклониться. Да ты, говорю, изгилеешься надо мной, баушка. Я до ветру на ногах сходить не могу, на коленцах ползаю, а ты о каком-то Пустозерье баишь. «Будут, говорит, у тебя ноги. Господу богу угоден будет твой подвиг, даст и ноги. А теперь, говорит, шесть ден тебе стоять на коленях на молитве. От восхожего до захожего. И об одном думать, про одно молить господа бога — чтобы силы дал подвиг совершить. За всю жизнь, говорит, как на свете живу, не слыхала, чтобы с Пинеги какой человек ходил в Пустозерье, а ты, говорит, сходишь, тебе, говорит, откроет всевышний пути-дороги в святую землю, где сподобился страдалец наш в муках огненных райский венец приять. Только, говорит, молись с усердием, так, говорит, молись, чтобы ни единого помысла, ни единого вздоха у тебя ни о чем другом не было, чтобы во всем теле жар стоял, ровно как в пещи ты огненной. Шесть ден, говорит, стоять тебе на молитве, с понедельника до субботы. А в субботу, говорит, усни и спи, говорит, сколько можешь, хоть всю ночь и весь день. А как проснешься, говорит, в христово воскресенье, крестом себя истинным, двуперстным осени и вставай на ноги. Крепче, говорит, прежнего, крепче, говорит, дерева и камня у тебя будут ноги».

И все так, как сказала божья угодница, все так и вышло. Вернул господь ноги, доселе верно служат, доселе на зов господен иду.

И тут старуха повернула голову на восток и с признательностью, широко и степенно перекрестилась.

После небольшой передышки я снова начал заворачивать ее на тропы далекого прошлого.

— Ох, родимой, родимой! День рассказывать — не рассказать, как я в Пустозерье-то ходила. Перво дело — где это Пустозерье? В студеных краях, на краю земли, где зимой и дня не бывает, все ночь, а летом опять ночи нету, все день, круглые сутки солнышко. А как туда идти-добираться? Откуда след начинать? Ну да надоть обвет держать, раз даден. Собрали меня дома в дорогу, котомку с хлебцами за спину, два медных пятака денег дали — иди, ищи Пустозерье. В городе Пинеге Микольская ярманка, со всего царства народ съезжается — может, там скажут. И сказали в городе Пинеге: обозы с рыбой с Печоры-реки есть, с имá, с темá обозами, попадать надоть. Четыреста верст але боле тайболой — лесами да тундрой — как одному человеку попасть?

Вот я и увязалась за темá обозами. Сподобилась принять крещение морозами да снегами. Страсть, страсть эти хивуса-ти тамошние — метели-то да бураны снежные. Как задует, задует, ни земли, ни неба не видно, по пяти ден из кушни, лесной избы, выбраться не можем. Все угорим, все облюемся — о беда. Але темень-то эта тамошняя. У нас о ту пору, возле рождества, свету немного бывает, а там день-то — как зорька сыграет, а то все ночь, все темень кромешная. Мужики звезды в небе ищут, по звездам едут, а я крестом себе дорогу освещаю. Пальцы в рукавице в крест двуперстный зажала, да так с крестом истинным и прошла взад-вперед. Люди — вернулась — как на диво на какое на меня смотрят. Со всей Пинеги старухи-староверки да старики шли. Начну рассказывать, как ходила, какие муки претерпела, сама не

верю себе. Думаю, таких больше на земле и страданьев нет, какие я вынесла. А нет, страданья-то да муки у меня начались, когда меня в Койду выдали.

Я ведь думала, раз с гулянками пришлось расстаться, век до гробовой доски в девках коротать, а нет, господу угодно было через новые испытанья свою рабу провести. Перво-наперво у мужа мужской силы не оказалось — обабить меня не может. Год хожу порожняя, другой. Свекор и свекрова смотрят косо, мама родная грызет: доколе срамиться будешь? А я чем виновата? Мне не тошно — два года ни девка, ни баба? И мужика жалко, хороший у меня мужик был. По ночам оба плачем — подушка утонула в слезах. Ну, тут дале вразумил меня господь: все от бога. Он живот тебе дает, он и силу. Молись, говорю, мужику. День и ночь молись. И я буду молиться. Господь услышит нас. И господь услышал. Раз ночью будит меня мужик: «Проснись, Соломида, у меня мужская сила появилась». И я проснулась, и мужик сделал свое дело.

Я никак не ожидал такой откровенности от старого человека и, чтобы скрыть свое смущение, закашлял. Старуха, однако, сразу поняла это и все с тем же простодушием и назидательностью сказала:

— Господь бог создал людей, чтобы плодились и населяли землю и господа бога прославляли молитвой и добрыми делами. Нет греха спать со своим мужиком. Грешно прелюбы творить да в страстные дни сходиться, а в остатнее время божий мир любовью держится. Все божьим словом да верой делатся. Божьим словом людей на ноги ставят, со смертного одра подымают. Я своего мужа божьим словом из мертвых воскресила.

— Воскресила?

Старуха не сочла нужным как-либо прореагировать на мой изумленный возглас. Она продолжала:

— У меня мужик смалу в ненáвидости у людей был. Раз сказал на похвас, чтобы от ребят оборониться, —

бить стали: «Я на вас икот напущу», — да с той поры житья бедному не стало, а потом и мне, евонной жене, и девкам нашим. Вот ведь как к бесам-то взывать, а не к богу-то. Хотел острастку другим дать, а взвалил на себя каменный жернов. Все он, все мы во всем виноваты: кто заболел, у кого скотина пала. А в то лето какой-то мор на корову да на овцу был. Что ни день, то одну, то другую зарывают. И вот уехал мужик к сену, на пожню, я немогу, дома осталась, только что Матрену родила, тяжелы роды были. Настает Ильин день, праздник большой. Все с пожни выехали, старый и малый, а мой где? Пошто моего-то нету? Набожный человек был, все праздники соблюдал. Ох, чует сердце, неладно с ним. Запрягла кобылу, две лошади у нас было, исправно жили, поехала навстречу. Еду, еду, все не видко мужика. Дале на сосновый бор выехала — чего это там, в стороне, вороны орут-разоряются? Подошла, а там мой мужик бездыханный лежит, хворостом закидан. Намертво у мужиков забит.

Я пала на колени, молитву господу вознесла. Господи, говорю, ты вдохнул жизнь в глину мертвую, Адама-человека сотворил, а разве я не твое творенье, господи? Разве не твой превечный огонь во мне горит? Господи, говорю, дай мне силы-мочи мужа бесповинного из мертвых поднять. И господь дал силы. Начала я дуть в холодные уста мужу, он у меня и ожил, «ох» сказал. Силой, силой слова господня подняла. Я так, бывало, и животину строптивую укрощала. Конь был у Фокти-барышника дикой, никак объездить не мог. Пришел ко мне: «Соломида, ты слово знаешь, помоги. Какие хошь деньги заплачу». Лошадник был. Слово, говорю, знаю одно — господне. И тем словом помогу. А платы мне никакой не надо. Только табачину смолить перестанешь. И перестал, одним табачником меньше в Койде стало. А я лошадь в хомут ввела. Словом божьим. Бо слову божьему все подвластно: и человек, и зверь, и гад ползучий. Святые-то

угодники, в пустошах которые жили, какие чудеса в старину творили. Льва и медведя укрощали. И я одним словом божьим мужика убитого воскресила.

Еду, подъезжаю к деревне, в одной руке вожжа, в другой Иван при смерти, а на нас новая смерть — мужики с кольями. На самом въезде в деревню. «Убить, убить!» — ревут. О беда, о горе горькое! Прощайте, родители, прощай, дочи-сирота. Тут нам и живот отдать. Некуда деваться. Наутек ехать — догонят. И вперед — порешат. Вспомнила: есть у меня заступа — господь бог. Ежели кто и поможет нам сейчас, дак он, всеблагой, он, милостивец. Взмолилась жарко: господи, говорю, яви чудо. Сколько раз, говорю, в Пустозерье ходила, от смерти спасал, и тут, говорю, спаси. Не за себя, говорю, прошу, господи. Мужу бесповинному не дай помереть, дочерь нашу не осироти. И тут мне голос сверху: крестом да огнем, крестом да огнем... А где огонь, где крест? Стоим на въезде в деревню, народ пьяный с кольями, собаки воют. Ну, опять господь бог на помощь пришел. Выдернула я кол из огороды, к колу кнутовище ременки привязала — крест. А огонь... Сарафан (голова у Ивана обмотана была, еще там, в лесу, с себя сняла) на крест намотала да в туес со смолой — к телеге привязан был. И вот народ с кольем да с палками на нас, а я на них с крестом огненным. В одной рубахе льняной, белой, и заливаюсь молоком. У других от страху молоко в грудях зажимает, а у меня все не как у людей — только в эту минуту молоко и открылось. Как плотину, скажи, прорвало. Вся рубаха вымокла от ворота до подола. Вот стою я на телеге в одной рубахе белой, а в руках крест огненный. На колени, говорю, ироды! Поклянитесь, говорю, словом божьим, что никогда больше не тронете мужика, а то, вот те бог, сейчас всю деревню спалю. И пали ироды пред божьим крестом да огнем. «Не будем больше, Соломида. Прости». Господь, господь выручил меня. Он, ми-

лостивец, пришел ко мне на помощь. Разве у смертного человека хватило бы силы одной на супостатов пойти, крест из кола поднять да огонь из себя родить? Я ведь на них, иродов, в одной рубахе да с крестом горящим как кара божия пала, как архандел Михаил в судный день явился. Откуда у меня о ту пору и огонь взялся. Тогда ведь и спичек не было, все кремешком искру высекали...

— Ну, после этого успокоились земляки, не досаждали больше?

— Ох, милой, милой! Человек бы успокоился, кабы с ним один андел был. А то ведь у нас по праву руку андел-хранитель, а по леву бес-искуситель. Было, было испытаньев мне отпущено. Не оставил господь в праздности. В колхозе робила — все одна на поле, все понапраслина, как стена, меж мной и людями. Все Соломида всех портит. А начальство, то опять невзлюбило за то, что в христово воскресенье не роблю. Два раза в лагеря на отсидку гоняли. Я говорю: дайте мне хоть в три раза больше заданье — сделаю. Только не заставляйте христово воскресенье топтать. Ну, господь не оставил меня. Я и там, за проволокой, божьим словом спасалась. Как развод, бывало, на работу в воскресенье, мне прямо уж объявляют: «Староверка, в карьцер!» За то, что я и там не робила по воскресным дням. Поперvости в погреб этот впихнут — зуб на зуб не попадат. Руки коченеют. О, думаешь, хоть бы щепиночку какую дали, я бы и то обогрелась. А потом раздумаю: а слово-то божье мне зачем дадено? Помолюсь, раскалю себя молитвой, вспомню про праведника Аббакума, как его в яме-то, в подземелье гноили да холодами пытали, голой сидел, мне и теплее станет. Словом, словом божьим обогревалась.

В понедельник утром из погреба, из карьцера-то этого, выпустят — шатаюсь, а улыбаюсь. Начальник заорет: чего улыбаешься? А то, говорю, улыбаюсь, что

страданье дал, дозволил мне с господом богом наедине побыть. И тут еще поклонюсь ему в ноги. Спасибо, говорю. И вот мучил-мучил меня — это когда вторым-то заходом я была в лагерях — да и выгнал. «Доконала ты, говорит, меня, бабка. Не хочу, чтобы ты от моих рук смерть приняла. Убирайся, говорит, с глаз долой. Чтобы духу твоего здесь не было».

— Да, бабушка, — сказал я, — не жизнь у тебя, а целое житие.

— Не обделена, не обделена страданьями да испытаньями. И то хорошо, то милость господня. Через страданья да испытанья дорога в царствие божие лежит. Страданья да испытанья освещают нам путь в град всевышний. Ну, об одном прошу, об одном молю, господи, — старуха перекрестилась и вдруг беспомощно, совсем-совсем по-ребячьи расплакалась, — не дай умереть с коростой клеветы бесовской. Сними понапраслину, сними жернов каменный. Хоть перед самой смертью, хоть в гробу пущай все увидят, кто раба твоя Соломида.

Я не знал, как утешить старуху, и только вздохнул.

Между тем она поглядела на солнышко и начала подниматься с бревна.

— Посиди еще, бабушка.

— Нет, Матрены, видно, не дождаться — на молитву пора вставать.

— Успеешь еще, — снова попытался я удержать старуху.

— Не говори так, — строго сказала она. — Молитва — перво дело, изо всех работ работа. Сила да разум каждый день человеку нужны, а без молитвы откуль их взять?

Я понял, бесполезно ее удерживать, да к тому же в это время на дороге раздалась пьяная песня· мой шофер в обнимку с высоким мордастым парнем подходил к нам.

3

На другое лето я, как только приехал на родину, отправился в Койду проведать старуху.

В низкой, на старинный манер избе — без обоев, без белил, без занавесок, одно золотистое дерево — меня встретила дочь старухи, тоже уже старуха, та самая Матрена, которую в прошлый раз, сидя на бревне, поджидала ее мать. Самой Соломиды в живых уже не было — она умерла весной нынешнего года.

— Хорошо померла, — начала рассказывать Матрена, то и дело вытирая слезы со своего простоватого, бесхитростного лица. — Легкая смерть была. Паску встретила, разговелась, а там уж и анделы прилетели, кончились земные страданья.

— Ну а все же, как это было?

— Как умерла-то? А вот сидели тут за столом, разговлялись, она и говорит мне: «Сходи-ко, говорит, за старухами, проститься хочу». Что ты, говорю, мама, ничего-то выдумываешь? «Иди, говорит, зови да пошевеливайся. Живо у меня!» Еще острастку мне дала. Ну, пришли старушонки. Мама на ноги поднялась, тут вот сидела, на лавке, встала лицом к иконам, перекрестилась. «Вот, говорит, скоро предстану перед господом богом, не грешна перед людями. Через всю жизнь, говорит, со словом господним на устах прошла». А потом — старухи и в себя прийти не успели — легла прямо на пол вот так вот, глазами к божнице, руки крест-накрест, и померла. Ну дак уж старухи и бабы потом на коленях ползали перед мамой. «Прости, прости, говорят, Соломида. И нас прости, и всех прости, кто перед тобой согрешил. Мы ведь, говорят, всю жизнь тебя топтали да пинали, детям твоим житья не давали, а теперь, говорят, видим: святая меж нас жила».

Что ты, как не святая. Икотницы-то помирают — по целым дням кричат до корчатся, бесы мучают. А тут ведь

как голубок вздохнула. Смертью, смертью мама оправдалась перед всеми. Смертью своей сняла с себя и со всех нас понапраслину.

•

Под вечер Матрена проводила меня на кладбище, такое же старое и запустевшее, как сама деревня, и я долго стоял у песчаной могилы со свежим, еще не обветренным сосновым столбиком, на котором не было ни единой буквы, ни единого знака.

1978

СКАЗАНИЕ О ВЕЛИКОМ КОММУНАРЕ

1

Августовский заморозок, или утренник, как говорят на Севере, на всем лету срезал лето.

Еще накануне гуляли в одних рубашках и платьях, еще вечером пили чай у раскрытого окошка, а утром встали — мостки белые от инея.

Секретарь райкома, молодой, еще все принимавший близко к сердцу, переживал эту беду как личное горе.

— Жуть, жуть! Три года подряд неурожай. Мы уж на зерновые махнули рукой, да ведь и картошку-то не можем собрать. Картошку третий год завозим в район.

— И часто это у вас?

— Утренники-то? А года через два, через три. Что вы хотите, где живем-то? — Секретарь ткнул пальцем в сторону административной карты, висевшей на стене. — Под самым Полярным кругом. Ну, раньше все-таки меньше лютовал Север, лесов больше было, леса сдерживали. А теперь Ледовитый океан чуть чихнул, и не то что у

нас — Вологду в дрожь. В общем, — секретарь сокрушенно покачал светловолосой головой, — такими темпами будем косить леса, скоро вся Россия на сквозняке окажется, от моря до моря будут продувать ледяные ветры.

— Ну так не косите! — Я это бросил со злостью, с вызовом, потому что надоели эти местные плачи, надоел скулеж.

— Ах вот как, не косите!.. А план? А задание? Я сегодня пришел в райком — какой первый звонок из области? Об утреннике? О том, что у тебя на полях делается? Как бы не так! Сколько кубов дал за сутки. Да мы ради того, чтобы план выполнить, готовы последнее дерево в районе срубить. Можете вы это понять?

Минуты две мы сидели молча, избегая встречаться друг с другом глазами, затем секретарь, уже снова собранный, подтянутый, начал обзванивать совхозы.

— Самсонов, что у тебя? Докладывай. Нечего докладывать? Ну, хоть картошки-то сколько-нибудь уцелело? Все спалило, только на приусадебных участках кое у кого осталось... Ну-ну...

Секретарь вяло опустил трубку.

— Вот так. У Самсонова самое высокое место в районе, так что другим можно не звонить.

Но он снова взялся за телефон.

— Санникова мне. Санников у телефона?.. А чему ты радуешься, товарищ Санников? Тебя что — утренником не ударило? Чего-чего? Ни про какой утренник не слыхали? Да ты что... Нет, ты серьезно? Поздравляю, поздравляю...

С молодого лица секретаря как волной, как весенним ливнем смыло всю хмурь, и он первый раз за это утро рассмеялся:

— Герой этот Санников! Третий год подряд утренников нет. Во всех деревнях все морозом убило, а он только похохатывает. Я заколдован, говорит. Черта лысого он заколдован. Болото за деревней осушено — вот в чем

дело. Рассказывали мне как-то, крестьянин один у них был, еще до революции, сорок лет болото осушал.

— Сорок? Сорок лет болото осушал?

— Сорок. Прямо какой-то Микула Селянинович! Я в прошлом году, когда мне рассказали, тоже не поверил. Фантастика какая-то, думаю, сказка. А теперь вижу, тут что-то есть.

2

Наверху опять было лето, такое же голубое и сияющее, как вчера и позавчера, а на земле была осень, поздняя, безрадостная осень. Все почернело, все сникло, набухло водой: картофельная трава, ячмень, овсы. И дороги развезло — легковуху качало, как пьяную. Так всегда бывает после большого утренника.

Но вот мы поднялись в гору, перевалили за холм, и что за чудо, куда девалась осень? Ячмень стоит колос к колосу, как гвардия на параде, картофельные гряды сочно зеленеют под солнцем, а за картофельными грядами и вообще летняя сказка — рожь волнами.

— В Шавогорье завсегда так, — сказал заметно повеселевший шофер. — Весь район сегодня в трауре, а они песни поют.

Песен, положим, на деревне не было, но председатель сельсовета, тот самый Санников, к которому часа два назад звонил секретарь райкома, встретил меня чуть ли не переплясом — веселого нрава был человек, хоть и не первой молодости.

— Так, так. Насчет нашей знаменитости, значит, пожаловали? Был, был у нас Сила Иванович.

— Сила Иванович? Так и звали?

— Так. По метрикам-то, правда, Силантий, а старые люди — Сила. Да и сам он себя Силой называл. Высоко голову держал. Раз, говорит, я Силой родился, дак мне, говорит, и дела надоть по моим силам. И вот приду-

мал — с чертями сражаться. А? Ничего себе работенку подыскал? Люди пашут, сеют, воюют, а он одно знает — войну с болотом. В гражданскую, сказывают, тут, в Шавогорье, страсть что было. Один конец деревни у белых, другой — у красных. А он — знать ничего не хочу. В одну руку лопату, в другую батог — старый уж был, прямо ветром шатало, — да на свое болото. Дак понимаешь, что было? Бои стихали меж красными и белыми. Ждали, когда старик полем пройдет. Заметный был. Все, говорят, до самой смерти в кабате ходил. Рубаха такая длинная из белой домотканины, вроде как спецовка по-нынешнему.

При этих словах я невольно посмотрел в окно, за которым кипело зеленое поле.

— Нет, нет, — оскалил крепкие зубы Санников, — не там расхаживал Сила Иванович. Там у нас юг, а Силины владенья на севере.

Машины под рукой не оказалось — «райкомовка» сразу же укатила обратно, а совхозные — где они среди страдного дня? Мы отправились на телеге — сил не было ждать до вечера.

Дорога была плотная, хорошо накатанная, и мы быстро миновали поля, подъехали к озеру, в которое когда-то Сила Иванович спускал воду из болота, а от озера — уже пешком — двинулись к зарослям ольшаника.

Я волновался, как мальчишка.

Я жадно вглядывался в надвигающуюся на нас зеленую чащобу и все ждал: вот-вот расступится сейчас кустарник, и я увижу неоглядное болото, поле битвы человека, который всецело захватил мое воображение.

Санников — он шагал впереди — вдруг остановился:

— Ну вот, пришли.

— Как — пришли? — Я непонимающим взглядом обвел задичавшую, невыкошенную пожню, на которой мы стояли, посмотрел на зеленую стену ольшаника — до него оставалось метров пятьдесят, не меньше.

— Пришли, говорю. Отсюда Сила Иванович начинал свои дела.

— А болото?.. Где болото?

Санников широко улыбнулся:

— Да это и есть болото. И где ольшаник — болото, и за ольшаником — болото. Далеко, километра на два на север уходит. Я еще помню Силины окопы. Мы так канавы евонные в детстве звали, в войну тут все ребятами играли. Ну а теперь, ясно дело, все заросло. Без топора в эту чертоломину не скоро и попадешь.

Мне все же хотелось своими глазами увидеть дело рук легендарного человека (по крайней мере, для меня легендарного), и я, не говоря ни слова, полез в чащобу.

Долго я продирался через кустарники, долго бродил по лесу (тут и сосны, и ели росли), долго слышал сзади себя тяжелый сап (у Санникова оказалась одышка), но каких-либо отчетливых признаков канав не нашел. Только кое-где на красном и зеленом долгомошнике угадывалось что-то вроде продолговатых ложбинок.

— Да, может, все это россказни? — заговорил я, когда мы выбрались из ольшаника и присели на угорышек, под которым ржаво, густо заросший осокой, сочился ручеек.

— Что — россказни? Сила Иванович россказни? — Санников вытер ладонью красное, запаренное лицо. — А как же это? Всех утренником бьет, а нас бог милует? Нет, тут болото было страсть, — он махнул рукой в сторону ольшаника. — Как немножко сивер дунет, и по этому болоту, ровно как по трубе, хлынет стужа на деревню. Все сжигало, все убивало. Отец, бывало, все говорил: редкий год доходили хлеба. Сила, Сила Иванович беду отвел от Шавогорья. Он сорок лет канавы копал да воду из болота спускал.

— Один?

— Копал-то? Да, можно сказать, что один. Правда, попервости-то, сказывают, он давал клич мужикам. Об-

ращался на тогдашнем на общем собрании деревни. Как его это, общее собранье, тогда звали? Сход, что ли? Давайте, говорит, навалимся всем миром, всем скопом на это чертово болото, спустим воду, отгоним холода. Ежели нам, говорит, не суждено хорошей жизни увидеть, дак пущай, говорит, хоть наши дети увидят. Ну а русский мир, сам знаешь, какой. Бульдозером не своротишь. Только один брат евонный и откликнулся, да и тот через год, через два загнулся.

— Умер?

— Болото съело.

Санников на минуту задумался.

— Не знаю, не знаю, что за человек был. Зарплаты не платили, канавокопателей и всякой техники не было. Все лопатой, все лопатой. Сорок лет. Железо вон неделю в воде полежит, и то ржа съест. А тут живой человек, из костей, из мяса, да не неделю, а сорок лет... Вот его, бывало, великим коммунаром и называли.

— Кто назвал?

— Комиссар один. Он когда ведь умер-то? А в аккурат в то самое времечко, когда гражданская у нас кончилась. Я-то, конечно, ничего этого не помню, поскольку меня в то время еще в проекте не было, а отец рассказывал. Войск, говорит, красных нагнали — деревня не вздымает. Гроб, говорит, красный, знамена красные — по-новому хоронили. Митинг у церкви. И вот, говорит, комиссар. Мы, говорит, товарищи бойцы, с винтовкой в руках коммуну завоевывали, а он, говорит, с лопатой. Сорок лет. Дак как, говорит, такого человека назвать? Великий коммунар...

Санников устал, видно, от затянувшегося серьезного разговора и опять заухмылялся:

— Ну а насчет детальностей, как и что, надо старушонок потеребить. Есть еще, которые помнят те времена,

3

За два дня я наслушался про Силу Ивановича всякого...

Человек-богатырь, какого еще земля шавогорская не рожала («Бывало, руки раскинет — ровно сажень»); колдун, который всю жизнь с лешаками водился («А иначе как бы он такое болото осушил?»); чокнутый, не в своем уме («Разве нормальный человек стал бы сорок лет в болоте рыться?»)...

— Он ведь и в церкву не ходил, — поведала одна набожная старушонка, — в воскресенье робил. Батюшко, бывало, все стращал: прокляну тебя, еретика. А ему и дела мало: я, говорит, лопатой крещусь каждый день с утра до вечера. Вот моя молитва богу.

Всего-всего, до последнего вздоха отдал себя болоту Сила Иванович, — его на болоте мертвым и нашли.

Но, господи, до чего же жестоки, до чего неблагодарны бывают те, ради которых сжигают себя!

Человек поднялся на такое дело, можно сказать, всем богам и всем чертям вызов бросил — да вся деревня твой вековечный должник, все — стар и мал — твои слуги, твои помощники. А ему земляки на болото напрямик не разрешили ходить. Умолял, на каждом сходе упрашивал: разрешите через поля, и даже не через поля, а через полевые межи тропку протоптать — в два раза короче у меня будет дорога. Не разрешили. Так до самой смерти и шастал в обход.

— Плакал, — рассказывала одна старушонка и при этом сама плакала. — Я ведь, говорит, для вас стараюсь, не для себя... Я ведь, говорит, не возьму болота на тот свет... Я ведь, говорит, два часа на одну ходьбу трачу, а в это время мог бы, говорит, болото рыть.

— Але опять обносился, обтрепался, — это уже другая старуха сказывала, — дак, веришь ли, весь в заплаках да в заплатках — разноцветных, как, скажи, ряже-

ный по улице-то идет. Да босиком але в лаптях берестяных. Дак матери-то, бывало, нас, малых, пугают: вот пошали у меня, отдам Болотному — все Болотным звали. Дак мы — ума-то нету — и палкой, и камнем в его. А он эдак берестом только голову прикрывает. Кажинный раз, и вперед, и назад, как грешник, по деревне-то идет.

Не любили, не любили его при жизни, это уж после его стали добрым-то словом вспоминать, когда он север от деревни отогнал...

Перед тем как покинуть Шавогорье, я еще раз потоптался на том месте, где когда-то стоял холостяцкий домишко Силы Ивановича (ему и жениться некогда было, рассказывают старухи), а потом пошел поклониться его могиле.

Долго мы с Санниковым бродили по кладбищу, побывали у каждого столбика, у каждой пирамидки и не нашли, не нашли могилы Силы Ивановича. Не уцелела.

— Следопытов красных у нас нету, — начал было объяснять мне Санников, когда мы уже выходили с кладбища, — а то бы они живо отыскали... В газетах-то вон читаете: там того отыскали, там другого...

И замолк, отвел глаза в сторону.

1979

БРЕВЕНЧАТЫЕ МАВЗОЛЕИ

Новгородчина. Восточная сторона...

Сколько раз за эти дни проходил я через заброшенные, словно вымершие деревни, сколько видел пустых домов с давно остывшими печами! И, кажется, уже начал привыкать и к запустению, и задичанию, но эта деревня меня взволновала: на углах домов я увидел небольшие

красные звездочки, вырезанные из жести, в память о погибших на войне. Обычай, ныне довольно распространенный на сельской Руси.

От единственной старушонки, которая жила в этой деревне (на лето из города приехала), я узнал, что поставил звезды на домах местный учитель со школьниками, и мне захотелось познакомиться с ним. Но учитель жил в соседней деревне, до которой, по словам старухи, было километра четыре, а на дворе уже надвигался вечер, и я решил отложить встречу с учителем до завтра.

При непривычном свете давно забытой керосиновой лампешки мы с хозяйкой попили чаю, поговорили о том о сем, а потом перед сном я вышел глотнуть свежего воздуха.

Вечер был дивный. На голубом небе дружно высыпали звезды, да такие яркие, спелые. И была луна слева, так что вся улица была закрещена чернильными тенями.

Путаясь в паутине этих теней, я прошел через всю деревню, вышел к старой обвалившейся изгороди и опять потянулся глазами к небу.

Звезды стали еще ярче. И я смотрел-смотрел на их алмазное мерцание и вдруг вспомнил притчу из далекого детства — о том, что после смерти людей души их поселяются на звездах, каждая душа на особой звезде.

Но, боже, как холодно, как одиноко и тоскливо на этих звездах, подумал я. И почему бы душам погибших на войне из этой деревни не поселиться в собственных домах, за которые они отдали жизнь?

И едва я подумал так, как тотчас же мертвые дома, чернеющие под ярким, алмазным небом, представились мне сказочными бревенчатыми мавзолеями, в каждом из которых покоится душа погибшего на войне хозяина — солдата.

Бревенчатые мавзолеи... По всей России...

1978



ТРАВА-МУРАВА

Хóжу я по травке, хóжу по муравке.
Мне по этой травке ходить
не находиться,
Гулять не нагуляться.

(Из народной песни)

— Травка-муравка что, не знаешь? Да чего знать-то. Глянь под ноги-то. На травке-муравке стоишь. Все, все трава-мурава. Где жизнь, где зелено, там и трава-мурава. Коя кустышком, коя цветочком, а коя и один стебелек, да и тот наполовину ощипан — это уж как бог даст.

(Из разговора)

I

ПАМЯТНИК

Старая Пахомовна тяжело заболела. Съехались дети, стали утешать, успокаивать: поправишься, мама, а не поправишься, мы такой тебе памятник отгрохаем, какого в нашей деревне еще не видали.

— Нет, ребята, никаких памятников не ставьте, а положите мне на могилу плуг.

— Плуг?

— Плуг. В городах на памятниках про все заслуги покойника пишут, а у меня заслуга одна — плуг. После войны мне в колхозе именной плуг присвоили за то, что я двадцать пять лет бессменно за плугом выходила. А когда я по старости не замогла ходить за плугом, мне тот плуг домой привезли, за сарай поставили. Там он и сейчас стоит.

За сараем, однако, плуга не оказалось.

Дети думали-думали, как быть, и в конце концов привезли от колхозной кузницы какой-то старый, бросовый, порядком проржавевший плуг. Привезли и поставили перед окошком.

Так, глядя в окошко на этот плуг, и отошла старая Пахомовна.

А НА СЕВЕРЕ ТЕПЛЕЕ

Совхоз под Архангельском. Директор и главный агроном, едва я вывалился из катера на берег, заворожили меня своим видом. Оба крепкие, кряжистые, со всех сторон обдутые северными ветрами, — сразу поморская порода видна.

И вдруг мягкая украинская мова.

— Как, откуда сюда попали?

— Не по принудиловке, не по принудиловке, — уже совсем по-северному — и по слову, и по выговору — ответил агроном, он был лет на десять старше своего товарища.

— А как же?

— Климат здешний дюже понравился, — ответил директор, вытирая ладонью широкое, скуластое лицо. Осенью дело было. Штормило. И по Северной Двине, как по морю, гуляли крутые, гривастые волны.

Потом, уже в конторе, рассказал:

— Я в армии здесь служил, вернулся домой — солнце, земля чернозем, тепло, коже приятно. И ноги босые земля прогревает. А душе неуютно. Как-то мелочно, колюче живут земляки. Разве сравнишь с северянами? Те последнюю рубашку тебе отдадут. И вот поболтался-поболтался — и на Север. Не мог заново прижиться к родной земле.

Совхоз, которым руководят эти два украинца, не из легких — под боком Архангельск, большой город, куча всяких соблазнов для людей, и им частенько мылят головы.

— Но эта гигиена по линии начальства, а не северян, — весело смеется директор.

РАЦПРЕДЛОЖЕНИЕ

— Ноги у меня резвые, говоришь? Дак ведь у меня и прозвище резвое — председателевы ноги. Откуда

прозвище-то? С войны. У нас в деревне всех мужиков на войну забрали, а кому командовать?

И вот думали-думали и придумали рацпредложение: к умной голове резвые ноги приделать.

Умная голова — это Иван Васильевич Махрюков. Бухгалтер колхозный. Ну, министр финансов. Бывало, чтобы там счетами пользоваться или еще какой подмогой — ни за что. Все в уме. Глаз только левый эдак прижмурит, и готово: умножил сто двадцать пять на двадцать девять. Одна беда — смалу на костылях. И вот к этому самому Ивану Васильевичу и приставили мои ноги. Мне тогда тринадцать было.

Три года я бегал. Председатель, бывало, в правлении сидит или на крыльце, а я бегаю по полям, по деревне, по покосам — передаю его распоряжения.

Ничего у нас получалось: колхоз всю войну районное знамя держал.

БРАТЬЯ

— Не знаю, не знаю, за что мне такой почет был от братьев. Сама худа, маленька, всю жизнь рукавицей звали, а братья у меня — головой небо достают. Все трое обожали, все трое почитали. И Максим Исаакович, и Терентий, и Егор. Егор строгий был, все в деревне боялись. Бывало, придешь домой откуда, соседи уж сказывают: «Приходил Егор, глядел тут на твои окошки». А Максим Исаакович, человек служилый, всю жизнь у власти стоял, а что своим детям, то и моим девкам. С ситцем в тридцатых годах, сам знаешь, как худо было, ни за какие деньги не купишь, а Максим Исаакович сколько получит — все пополам: это своим ребятам, это Татьяниным девкам.

Двадцати шести годков я осталась от мужика, в гражданскую убили. Две девки, свекрова, родима (полжизни

болела), а я худо не живала. Братья, бывало, в праздник за стол не сядут, покамест я не приду. Пеняют, выговаривают: опять ты к Егору пошла! Я не знаю, как и быть. Хоть по расписанью ходи.

А насчет работы всякой, еще до колхозов. Я своего поля не пахивала. Не знала, как за сохой ходят. Все братья.

— Татьяна, — утром кричат, — выйди, посмотри! Годится ли?

А на сенокос ехать — завсегда вместях. Сперва мое сено поставят, а потом себе.

Нет, нет, таких братьев тепере нету. Бывало, все говорю: за что мне такое счастье? Чем я вас отблагодарю?

Смеются:

— Живи только. Больше с тебя ничего не требуется.

Вот я и живу, всех пережила. Какие дубы пали, а я, как ивка при дороге, от каждого ветра гнусь да качаюсь, а все живу.

СЛУГА НАРОДА

Петр Васильевич торговал в потребиловке еще до войны, а старушонки, завидев кого-либо с покупками, еще и поныне говорят: «Где была? Не у Петра Васильевича?»

В тридцатых годах селяне не часто ходили в лавку (какие деньги у колхозника?), а если уж выходили, то это было для них целым событием, чем-то вроде праздника. И Петр Васильевич хорошо понимал это.

— Заходи, заходи, Захар Павлович. Как здоровьице? Как дела?

Или:

— Ах, ах, кто пожаловал-то к нам сегодня! Анна Федоровна! Долгонько-долгонько не видали тебя, матушка.

Кому какой товар надо, Петр Васильевич угадывал

с полуслова, а то и просто так. А с какой ловкостью, с какой красотой колдовал он на обычных весах-тарелках! А когда дело доходило до мануфактуры, самого дефицитного товара по тем временам, он тут и вовсе преображался. Самый дешевенький ситчик умел развернуть так, что все ахали.

Петру Васильевичу несколько раз предлагали перебраться в район — талант же у человека! Но Петр Васильевич на это неизменно отвечал:

— Нет, нет, всю жизнь был слугой своей деревни, в этом звании и умру.

И он действительно умер на посту продавца маленькой деревенской лавчонки.

ПАЕВЫЕ

Зоська Худяков, старый мот и пьяница, любил начальству перо вставить, а тут, когда в деревне колхоз стали переделывать на совхоз, начал еще и права качать. Потребовал ни больше ни меньше как вернуть паевые, которые он внес при вступлении в колхоз. Дескать, положено. По уставу сельхозартели, пункт такой-то... И Зоська даже разжился на этот случай старой, затрепанной брошюркой с этим самым уставом и внушительно потряс ею перед носом управляющего, которого еще вчера называли председателем колхоза.

— А ведь это верно, — сказал кто-то из случившихся в конторе мужиков. — Есть такой устав.

— Давай, давай, Зосим! Тебе тут выпивки надолго хватит.

— Как не надолго! Гумно, да лошадь, да еще чего сдавал?

Управляющий решил не давать разгореться страстям,

а то, чего доброго, вслед за Зоськой найдутся и еще охотники до получения паевых.

— Товарищи... и ты, Зосим Петрович, совхоз у нас создается на базе колхоза, так что вопрос о паевых отпадает.

Зоська был готов к этому и, что называется, на лету срезал управляющего:

— А я по возрасту лет в совхоз не вступаю.

На какое-то время в конторе воцарилась гробовая тишина: все выжидали, сумеет ли вывернуться управляющий.

Сумел. Недаром десять лет бессменно правил колхозом.

— А какая у тебя лошадь была, когда сдавал ее в колхоз? Помнишь?

— А как же не помнить-то? — ухмыльнулся Зоська. — Свою лошадь да не помнить. Карюха. Рослая. Пятилеток.

— Иван, — сказал председатель своему шоферу, стоявшему у дверей, — принеси узду с коридора.

Иван принес.

Управляющий взял от шофера узду, решительно протянул все еще ухмылявшемуся Зоське.

— Возвращаем тебе паевые. Иди на конюшню, бери свою Карюху. Да только ту самую, которую сдавал в тридцатом году.

САМАЯ БОГАТАЯ НЕВЕСТА

— Я самая богатая невеста была, вот ей-богушки! В дом к мужику привезли — вся деревня сбежалась. Все в рвани, в обносках — о господи, глаза бы не глядели. Сорок шестой год, сам знаешь, каково после войны. А я-то как царевна разодета. Платье шолково, рубаха белая

с кружевами, рукава лентами перевязаны, янтари, цепи серебряные на груди, на ногах полусапожки на высоком каблуку, со скрипом.

Ну, ну, ахают все, для этой девки и войны не было! А родни-то со мной понаехало! Один стол приставили, другой — все мало. У свекровы-покойницы глаза на лоб вылезли — чем и угощать? А родня — один достает полбуханки, другой — поллитру, третья — картофельник... Сознательные! Со своими хлебами, со своим вином приехали.

А как кончился пир-то, я и гола осталась. Да. В одной юбочке, в какой и на работу ходила, и праздники справляла. Не понимаешь? Не отгадать загадки? Да меня вскладчину в своей деревне одели. Кто чего мог, принес. Время-то, сам знаешь, какое было. О первом годе после войны. Вот после пира-то меня и раздели, как новогоднюю елочку после праздников.

Люди опять ахают да охают, а Окуля Ваньки Павлова, век не забуду, на матюк: «Ладно, Пашка, — это мужику-то моему, — хоть тебе не надо путаться в нарядах».

ВКУС ПОБЕДЫ

— Я долго, до восьми лет хлеб победой называла.

Как сейчас помню. Бегаем, играем с девочешками возле нашего дома, и вдруг: «Санко, Санко приехал!» А Санко — старший брат Маньки, моей подружки из соседнего дома. Вот мы и чесанули к Маньке.

Солдат. Медали во всю грудь. С каждой за руку здоровается, у каждой спрашивает, как звать, каждую по головке гладит. А потом и говорит: «Я, говорит, Победу вам, девки, привез».

А мы, малоросия, что понимаем? Вылупили на него

глаза как баран на ворота. Нам бы Победу-то в брюхо запихать, вот тогда бы до нас дошло.

Ну, догадался Санко, что у нас на уме. Достает из мешка буханку хлеба. «Вот, говорит, девки, так Победа-то выглядит». Да давай эту буханку на всех резать.

Долго я после того капризила. За стол садимся, мама даст кусок, скатанный из моха да картошки, а я в слезы: «Победы хочу...»

НА СТРАДУ С ТОГО СВЕТА

Который уж раз снится все один и тот же сон: с того света возвращается брат Михаил. Возвращается в страду, чтобы помочь своим и колхозу с заготовкой сена.

Это невероятно, невероятно даже во сне, и я даже во сне удивляюсь:

— Да как же тебя отпустили? Ведь оттуда, как земля стоит, еще никто не возвращался.

— Худо просят. А ежели хорошенько попросить, отпустят.

И я верю брату. У него был особый дар на ласковое слово. Да и сено для него, мученика послевоенного лихолетья, было — все. Ведь он и умер-то оттого, что, вернувшись по весне из больницы, отправился тру́шничать, то есть собирать по оттаявшим дорогам сенную труху, и простудился.

ОБЕТ

У Олега Чижовского дед, державший до революции свой извоз, крепко зашибал. И вот доведенная до отчаяния бабушка решилась прибегнуть к богу. Грузная, еле

передвигавшаяся на больных, распухших ногах (у нее была водянка), она сто двадцать верст прошла пешком — с Новгородчины до Печорского монастыря. Летом, в июле, в самое пекло. А в монастыре жарко помолилась иконе-исцелительнице.

И что же? Дед бросил пить.

Мало того, с этих пор все его многочисленные сыновья, внуки и правнуки, вплоть до самого Олега, не берут в рот ни капли спиртного.

Что же произошло? Как объяснить этот феномен в роду Чижовских?

С дедом — просто. Деда потряс до глубины души поход совершенно больной, безножной жены, и он зарекся, дал обет.

А потомки? Что их отвращает от спиртного?

— Да, наверно, то же самое, что и деда, — вслух размышляет Олег. — Я помню, как отец мне, ребенку, рассказывал эту историю — про хождение больной бабушки в монастырь. Со всеми подробностями рассказывал. Так, верите ли, я плакал, горькими заливался — так жалко было бабушку. И я поклялся про себя еще в детстве никогда в бутылку не заглядывать.

ВЕЗЕНЬЕ

— Работать надо, работа все родит, это ясно. Да надо, чтобы немножко и везло. Это мама у нас любила приговаривать.

В гражданскую войну мы от голода из Петрограда бежали. Семеро ртов, и все мал мала меньше. Мотало, мотало, в Саратовскую губернию примотало. Как жить? Надо самим от земли хлеб добывать. А земли нет, сохи-плуга нет, и мама сроду в руках лопату не держала.

Повезло.

Местный богатей за работу дал нам ярку. Сколько лет эта ярка у богатея не ягнилась, а у нас сразу же объягнилась, да двойней. Тот же богатей дал на зиму нам старую корову. «Пользуйтесь молоком, только кормите. А ежели отелится телкой, ваша телка». Мы всю зиму жили только одной надеждой, одной мыслью. И что же? Корова принесла телку.

Да что говорить? В эту войну, в блокаду, весь дом у нас бомбой разворотило, а я на фабрику с утра пошла и дочку и сына с собой потащила — разве это не везенье?

ОТРЫЖКА ВОЙНЫ

У Ивана Ф. со Слуды больная печень. Даже водки мужик в рот не берет. А лет ему — пустяки: 1935 года рождения.

— Война, война, видно, берет свое, — вздыхает Иван Ф. — Я в войну две ступы березовых расколотил. Солому да мох толок. Ступа высокая, а я маленький, дак что сделаю? Поставлю ступу ко крыльцу, да с крыльца и наяриваю. Раз дедко Иван, сосед, подходит: «Чего ты, Ванька, каждый день на крыльце часами пляшешь? Ведь нехорошо, говорит, это, война у людей, а ты веселишься». А потом заглянул в ступу и заплакал: «Ох, Ваня, Ваня, отрыгнется тебе эта пляска».

Вот она и отрыгается.

РОДНОЕ ГНЕЗДО

Степан Григорьевич последним перебрался из С. в большое село — не стало больше сил жить на хуторе: ведь зимой только и ходу из С., что на лыжах.

Сыновья, не последние люди в районе, поставили отцу дом в самом центре села. Удобно. Все под рукой, все рядом: магазин, почта, сельсовет, медпункт. И первые две недели старик нахвалиться не мог новым житьем. А потом стали замечать: у Степана Григорьевича одна дорога каждый день — в верхний конец села.

Выйдет на крутой угор, встанет возле старой лиственницы и часами со слезой на глазах смотрит за реку, на зеленый запустевший бережок, где еще недавно стоял его родной дом, дымилась старая, еще отцом битая печь.

НА РАЗНЫХ ЯЗЫКАХ

Новый председатель колхоза, приехавший из города, на первом же году обзавелся усадьбой. Дом построил с размахом — гараж, баня, хлев для животины.

Районные власти расценили это как недопустимое проявление собственнических замашек со стороны руководителя (дескать, какой пример колхозникам подаешь?).

Но колхозники отстояли нового председателя. Им как раз бытовая основательность да хозяйственность и пришлись по душе.

— А как же, — рассудили они, — раз основательно строится, в землю корнями лезет, значит, не летун, значит, с этим можно связать свою судьбу.

КОМУ-ТО И РОБИТЬ НАДО

Запоздалая весна, запоздалый сев. С радостью, с крестьянским волнением вглядываюсь в свежевспаханное, лоснящееся от влаги поле, в березовый перелесок, в который скатывается пашня.

Вдруг оттуда, со стороны перелеска, доносится тоненький веселый голосок, который так не вяжется с содержанием песни:

Сижу на карточке гадаю,
Сама себя я веселю.
Но я довольно понимаю,
Что разлюбил меня милой.
Что разлюбил меня неверный,
Навек оставил сиротой...

Проходит каких-то две-три минуты, и из низины, из-за гребня подымается рыжая лошадка с бороной, а на лошадке — белобрысенькая девчушка. Босиком. С березовой вицей в руке.

— Здравствуй, — машу ей рукой.

— Здравствуй.

— Кто же тебя научил петь такие песни?

— Никто. Сама научилась. Мама говорит: пой, Анка, веселее будет.

— А ты учишься?

— Отучилась. Восемь классов выходила.

— И больше не будешь?

— Не. Все братья ученые, мама говорит: кому-то и робить надо.

И тут девчушка огрела лошадку вицей и поехала дальше, затянув какую-то новую, незнакомую мне песню.

ПЯТА ДОМА

У Любы Паншиной, одинокой матери, шестеро детей, и все старшие не помощники: один — хулиган, из тюрем не выходт, другой — алиментщик, годами в бегах, а третий бы и дома, при матери, так опять пьяница — туник... И что же удивляться-то, что в свои сорок пять лет она выглядит как ходячая икона скорбной божьей матери.

Тут Любу я не узнал — девчонкой бежит по улице.

— Ну вот, — говорю, — Любаша, и в твою избу солнышко заглянуло.

— Заглянуло. Колька, малый, сердце матери отогрел.

— Да ну?

— Что ты, было у меня сегодня перепугу-то. Управляющий с утра в контору совхозную вызывает — ну, думаю, опять который-то из моих гопников набедокурил. А чего же больше? Что ни случилось, что ни стряслось в деревне, так и знай: без твоих деточек не обошлось. А тут — мне стихотворенье рассказывают.

— Стихотворенье?

— Ну не так чтобы в стихах. Понимай. Какие от нашего управляющего стихи! Да мне-то стихотворенье. «Приглядывайся, говорит, к своему малому. Человек в нашей деревне растет. И я, говорит, на заметку твоего парня возьму».

А человек-то этот знаешь что отколол? — Люба рассмеялась. — Пошел в контору, сел в очередь к управляющему, как взрослый, а когда очередь до него дошла, и того чище: «Пошлите меня на сенокос. Я все умею делать: и сено загребать, и косить, и за лошадями ухаживать». Да, вот так отрапортовал. Даром что десять лет.

«Но это, говорит управляющий, еще цветочки. А ты знаешь, говорит, что такое пята дома?» Это меня пытает. Нет, говорю, не знаю.

Вот и я, говорит, до седых волос дожил, не знал, а Колька твой разъяснил: мне, говорит, маме помогать надо. Старшие братья у нас не хозяева. Я пята дома».

Ну дак уж я уревелась. Вся уревелась. Без памяти из конторы выбежала. Что ты, я ведь думала: в наказанье мне деточки мои даны. Так и жизни не увижу, заживо съедят. А теперь у меня оправданье всем мукам: пята в доме появилась. Да мне теперь что! Я теперь заново жить начну. Ей-богу!

НЕ БУДУ МАМУ РАССТРАИВАТЬ

У Манефы Ивановны пять дочерей, и все не замужем. Позор по деревенским понятиям!

Младшая, еще восемнадцати не было, написала сестрам: «Маму нашу всю засудили бабы. Говорят, каких эдаких нарожала — охотников нету? Каково это маме слушать? Выходите за кого-нибудь. Столько народу в городах, а для вас все никого не найдется. Не копайтесь больно-то. Нет, я маму расстраивать не буду. Отучусь и за первого, кто возьмет, выйду».

И вышла.

А через пять месяцев, беременная, вернулась к матери: не было сил терпеть мужа-пьяницу.

ВЕНИК

— Ха, взял да наломал березовых прутьев, вот тебе и веник. Береза! Как была береза, так и осталась береза. А веник-то настоящий у стариков бывалошных, которые в этом деле толк понимали, знаешь, что такое? Целая наука.

Во-первых, сроки. Заготовлять только после Ивана дня. Когда самый смак. И береза эта твоя только начало. А потом ветка дубовая да ветка смородиновая. Для чего? А вот для чего. Смородина для запаха, а дубок для шлепка. Чтобы сразу все тридцать три удовольствия: и запах, и ласка, и щекотанье, и царапанье, и шлепки. Понял теперь, что такое настоящий веник?

Но это еще мало — связал все в одну кучу и готово. Веник надо распушить лопатой, да сложить друг с дружкой бородами, да положить в прохладное место, в сарай, к примеру, да сверху еще загнетить гнетом. Вот тогда только веник получится. Пропитается своим соком, за-

морным станет. А не так, как у вас: на жердочку свешал. И в баню теперь входят, что перво-наперво с этим веником делают? Мочат, в воду пихают. А у нас дед, бывало, только сухим хвостался. Он сам в пару отмякнет.

Понял теперь, что такое настоящий веник?

ЛОДОЧКА

Я влюбился в нее, что называется, с первого взгляда, как только вышел на затравеневший угор да глянул вниз на озеро.

Стоит, покачивается слегка на воде у мостков, словно золотая, разомлевшая на солнце рыбина — такого необычного, солнечного цвета она была. А когда я сел в нее да сделал два круга по озеру, я и вовсе потерял голову. В жизни своей не видал такой лодочки. Легкая, послушная, устойчивая. А какая работа! Из резонансной ели, заклепки алюминиевые — ну просто произведение искусства!

— Да откуда у тебя это чудо? — спросил я у приятеля.

— Память друга, здешнего жителя. На все руки был мастер. А в прошлом году заболел, сорок лет мужику было, повезли в больницу. В больнице обследовали и отказались оперировать. Михаил догадался: рак. Вернулся домой, написал мне письмо: так и так, друг любезный, у меня рак. Пошли на похороны сто рублей, а я тебе за них лодочку свою новую отдам, только что сделал. Я, конечно, послал. И не за лодочку бы послал — хороший мужик был, золотой человек. А весной приезжаю в деревню, на угор вышел — стоит вот эта любушка у причала. Желтая. Перед самой смертью покрасил. Любил, чтобы все у него было по-особому, не как у людей...

КУДА ДЕВАЛАСЬ НЕЧИСТАЯ СИЛА

Идем с Евдокией, подружкой моего детства, задворьем, возле болота, мимо тех мест, где когда-то стояли гумна, овины, черные бани.

Евдокия вдруг признается:

— Я, бывало, страсть боялась одна ходить этой дорогой. Все бегом, все с сердцем у горла. Что ты, тут видимо-невидимо всякой нечистой силы жило: в каждом гумне гуменник, в каждом овине овинник... А байницы-то, волосатки эти страшные с кошачьими глазищами! Так и кажется, на тебя из каждого окошечка раскаленным глазом зырят.

Евдокия помолчала и — не в ее характере было недоговаривать — призналась:

— Да мне и теперь по́темни одной не пройти этими местами. Сробею.

Я спросил с легкой усмешкой, пытаясь ею прикрыть свое смущение, — ведь и во мне, наверно, ожили бы прежние страхи, если бы я, скажем, оказался тут один осенней кромешной ночью:

— А как ты думаешь, куда девалась вся эта нечистая сила? Умерла вместе со старыми гумнами, овинами, банями?

Евдокия не задумываясь ответила:

— Почто умерла-то? В людей переселилась. Смотри, сколько всякой нечисти развелось.

ЖИВИ, ЖИВИ ДА И НЯ ТОПНИ

Псковская деревня. По улице, пошатываясь, бредет пьяный парень. Остановился перед лужей, задумался, затем вдруг сорвал с себя пиджак, бросил в лужу и давай топтать.

Увидела его за этим занятием старуха из окошка, закричала:

— Мишка, рожа! Для того мати тебе пиджак справляла, чтобы ты его в луже топтал?

— А чего, Ляксандровна, живи, живи да и ня топни!

КОТИНА ДОБРОТА

Николай К., по прозвищу Котя-рюмочка, в войну хватил лиха. Отец на фронте, мать умерла, и в детдом не берут: дядя родной есть. Правда, дядя инвалид, но при хорошем деле (портной) — что ему стоит сироту пригреть?

Дядя, однако, сироту не пригрел, и сын фронтовика частенько кормился с помойки. Насобирает картофельных очисток, сварит в консервной банке на костерике у реки, в которой иной раз удастся изловить какого-нибудь пескарика, да тем и жил.

После войны Котя отслужился в армии, выстроил дом, завел семью, а потом и дядю к себе взял — тот к тому времени совсем одряхлел, на девятый десяток перевалило.

Дяде Котя ни в чем не отказывал. Что сам с семьей ел, то и дяде в чашку. И даже рюмочкой не обносил, ежели когда сам причащался.

— Ешь, пей, дядя! Я родню не забываю, — приговаривал всякий раз Котя.

— Не забываешь, не забываешь, Миколаюшко.

— Не обидел в части еды и питья?

— Не обидел, не обидел.

— Оприютил, значит, беспомóщного старика?

— Оприютил, оприютил.

— А вот как же ты-то меня в войну не оприютил? В газетах пишут, чужих детей брали на воспитание, по-

тому как война. Народная. Помнишь, как в песне-то пели? «Идет война народная, священная война...» А я-то тебе разве чужой?

— Ох, ох, правда твоя, Миколаюшко.

— Да ты не охай! Тогда надо было охать-то, когда я в яме помойной рылся...

Завершал Котя застольный разговор обычно слезой:

— Ну, дядюшка, дядюшка, спасибо! Отец-покойник в ноги бы тебе поклонился, ежели бы с войны вернулся. Ведь он-то думал, сын евонный, сирота горемычная, под крылом у дяди, а меня ворона своим крылом больше грела, чем дядя. Понимаешь ты это своей старой-то башкой? Ведь лоси и те от волков малых лосят всема защищают, а ты-то ведь не лось. Ты дядя родной... Эх!..

И тут уж начинал в голос голосить и старик.

Ровно два месяца так изо дня в день воспитывал Котя дядю, а на третий месяц дядя повесился.

В ПОГОНЕ ЗА СУВЕНИРАМИ

Туристы-коллекционеры стали бедствием Севера.

Сперва выманивали у простоватых северян иконы, туески, лукошки, прялки и иные предметы старого быта, а потом начали опустошать кладбища, разламывать дома.

Да, да! На пинежских погостах не увидишь теперь медных иконок и крестиков — с мясом вырваны из столбиков и крестов. А на Мезени, сказывают, туристы даже коньки у домов спиливают.

Но и это не все. На той же самой Мезени был случай, когда коллекционеры-изуверы хвост у живой лошади отрубили.

ВО КРЕСТЬЯНСТВЕ ВЫРОСЛА

По тихой вечерней улице, поскрипывая и покачиваясь, плывет огромный кузов, с верхом набитый свежим сеном, у кузова ноги в старых, растоптанных опорках, а где человек?

Человек объявился лишь тогда, когда кузов вполз в заулок к Заварзиным. Настасья Степановна, ветошная, голубоглазая старушонка. Вся задохлась, запарилась — еле на ногах стоит.

— Чего так убиваешься? В твои ли годы с сеном возиться? Дети-то куда смотрят?

— Звали. И Артем звал, и Олеша звал. Не отталкивают, не отталкивают от себя матерь, грех жаловаться. И деньгами не обижена — посылают.

— Так в чем дело?

— Робить хочу.

— Робить-то и у сыновей можно.

— Нет, не та работа. Бескоровники. А я во крестьянстве выросла, мне первым делом коровушку нать. С коровушкой-то мне и жить весело. Вечером ложишься с думой о ней и утром встаешь — опять она на уме. А ночью-то проснешься, тоже первым делом: где у меня Лысонька-то? А у их, у детей, о чем думать? Все думано-передумано без меня. Нет, нет, я люблю работать. Мне не в тягость корова. С коровой-то я только и человек.

БАБИЙ РАЗГОВОР

— Ох, робили, робили! «Надоть! Война... Победу куем, бабы». Это все Хрипунова Александра Фалилеевна. «Хошь умрите, а сделайте...» «Бабы, я-то могу вас отпустить с поля, а война не отпустит...»

— Мастерица была речи говорить. Где она сейчас?

— Хрипунова-то? В город укатила. Вскорости после замиренья.

— Все укатили, одни мы остались. Одну войну отмахали, вторую стали ломить — послевоенную.

— Давай дак не плети. Какая война после войны?

— А голод-то? А налоги-то? А займы-ти? Забыла? А работа?

— Да, да, было, было пороблено. Сколько лет задарма спину гнули. Теперь какие пензии огребают, а мы? Двадцать рубликов...

— А я, жонки, то говорю: бога забыли.

— Не плети! Не забыли. Пущай заместо молитв наша работа будет. Как думаешь, примет бог-то заместо молитв нашу работу?

САМАЯ ВЫСОКАЯ НАГРАДА

В Доме культуры известного на всю область совхоза — вечер встречи тружеников села с писателями.

Секретарь парткома, приветствуя гостей, по обыкновению рассказывает о трудовых подвигах, о лучших людях совхоза и с особой гордостью говорит о четырех сестрах-свинарках.

— Эта наша славная династия свинарок уже много лет занимает передовые рубежи в соцсоревновании. Три сестры отмечены высокими правительственными наградами. У Анны Клементьевны орден Трудового Красного Знамени (аплодисменты в зале), у Марии Клементьевны орден Октябрьской Революции (аплодисменты в зале), а у Валентины Клементьевны, самой младшей из сестер, орден Ленина. И будем надеяться, это не предел (аплодисменты в зале).

Секретарь на какое-то мгновение умолк, затем смущенно пожал плечами.

— Ну, а что касается самой старшей сестры — Матрены Клементьевны, то она никаких орденов и медалей не имеет, потому как в те времена у нас был еще колхоз...

Неловкая пауза.

— Но, товарищи, — звонко, с энтузиазмом воскликнул секретарь, — Матрена Клементьевна, я считаю, награждена у нас самой высокой наградой — любовью народной и народным уважением.

Зал взрывается ликующими аплодисментами.

ХЛЕБНАЯ КОРКА

Матрена Васильевна вконец измаялась с сыном. Жизни не рада стала. Пьет, по неделям нигде не работает (корми, мать, на свою колхозную пенсию сорокалетнего мужика!), да еще постоянно пьяные скандалы дома, так что обе дочери уже два года не ездят к матери. Наотрез сказали: либо мы, либо он. Выбирай!

И то же самое ей говорили соседки. Что ты, Матреха! До каких пор будешь мучиться? Гони ты его, дьявола, раз в ем ничего человеческого нету.

И Матрена Васильевна соглашалась и с дочерьми, и с соседками. И иной раз, доведенная до полного отчаяния, она уж готова была бежать в сельсовет (председатель давно сказал: заберем, дай только сигнал!), потом вдруг вспомнит войну — и пропала решимость: в войну ее да девок, можно сказать, Пашка от голодной смерти спас.

У Пашки долго, до пяти лет, не поворачивался язык на слово (и теперь немтуном ругают), и вот за это-то, видно, его и жалела Анна, сельповская пекариха: два года подкармливала ребенка. Все какой-нибудь хлебный мякиш или корку сунет: они-то забыли, как и хлеб настоящий пахнет.

И вот что бы сделал всякий ребенок на месте Пашки с этим мякишем, с этой коркой? В рот, в брюхо скорей — там собаки от голода воют.

А Пашка ни крошки не съест один. До самого вечера терпит, до тех пор, пока мать с работы не вернется. Да мало того: этот мякиш, эту корку разделит на четыре части.

— Что ты, Пашка, сам-то ешь да девок угости. А я-то не маленька.

Не будет есть. До тех пор не будет, пока мать не съест свое. Плачет да ручонкой тычет (слова-то выговорить не может): ешь, ешь.

И вот через эту-то Пашкину доброту, может, они все и спаслись в войну. Так как же ей гнать его из дома?

ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА

Как почитала, как любила своего мужа Татьяна Васильевна — этого и сказать нельзя.

Шестнадцать лет ей было, когда она забылась ради него, покрыла позором и себя, и отца с матерью. Приступил: отдай свою девью красу, а не то сегодня же застрелюсь.

И она отдала. Можно сказать, сама отцу родному яму вырыла, потому что отец как узнал, что его любимая дочь девкой забрюхатела, так и зачах с горя за один месяц.

А в войну? Никогда не была набожной Татьяна Васильевна, а тут кажинный вечер, как ни устала, ни вымоталась за день (а ведь в войну робили, пока руки двигались, пока ноги держали), кажинный вечер выстаивала час на молитве. А вдруг бог есть? А вдруг молитвой можно спасти мужа?

И вот отмолила ли она у бога мужа или в рубашке оба родились — вернулся Алексей. Цел и невредим. Без единой царапины.

А через год у Алексея появился на стороне ребенок.

Татьяна Васильевна не кричала, не проклинала мужа. Она сказала ему:

— Из дому не гоню — детям отец нужен. А я тебе больше не жена.

Было тогда Татьяне Васильевне двадцать семь лет. И сдержала слово. За все двадцать два года, что жил после этого Алексей, она ни разу не сжалилась над ним. И на похоронах вела себя как чужая: ни единой слезы не обронила.

ТЕТЯ КАТЯ

Восемьдесят три года. Грузная, тяжелая. Идет по улице — копна сена ползет. И только глаза молодые, полные жизни.

И тетя Катя любила приговаривать:

— Тело просит земли, а душа — любви.

КАБЫ ЗНАЛА ДА ВЕДАЛА...

На Пинегу приехали студентки-филологи. Очень хотелось записать заговоры. Спрашивают в каждой деревне, нет ли у них знахарки.

— Нету, нету, милые. Давно все вымерли.

Наконец в одной деревне улыбнулось счастье — есть знахарка. Живая. Через дорогу живет.

Студентки прибежали к знахарке, взмолились:

— Бабушка, родненькая! Расскажи, пожалуйста! Нам для науки.

Старуха замахала руками: не знаю, ничего не знаю.

— Но, бабушка, вы же... Вас же... Ну хоть один маленький заговорчик... Про любовь...

Старуха опять начала отмахиваться и вдруг расплакалась:

— Что вы, что вы, девки! Да кабы я знала да ведала заговоры, да разве я жила бы всю жизнь без мужика?

БАБУШКИНА ВЕРА

Катя С. с двумя подругами-студентками приехала на Вологодчину собирать фольклор и готова была в первом же райцентре проклясть и Вологодчину, и ее жителей.

Дождь проливной, холод, транспорта нет — они четыре часа выстояли на дороге, прежде чем их подобрала машина-попутка.

А в деревню приехали — что за народ? Ни в одну избу не пускают обогреться — хоть подыхай, а уж насчет фольклора и говорить нечего — никто слушать не хочет, как на чокнутых смотрят.

Наконец после долгих хождений от избы к избе их пустила к себе одна старушка.

Чудо-старушка. Как из русской сказки. На печи обогрела, обсушила, чаем напоила, а потом и разговоры завела: откуда, куда, зачем?

Однако сама-то старушка ни песен, ни сказок, ничего другого в этом роде не знала. Зато растолковала назавтра, к кому надо идти, в какие деревни.

Катя и подруги ее так и сделали, как посоветовала старушка, и к вечеру вернулись к ней с богатейшими записями. И страшно удивленные, что в каждом дому их принимали как нельзя лучше.

Старушонка этому нисколько не удивилась. Она сказала только:

— Дак ведь я вас к людям своей веры посылала — как могло иначе-то?

— А какая у вас вера, бабушка?

— А вера у меня такая: доколе жива, добро людям делать.

ДЛЯ ВНУЧКИ БЕРЕГУ

Раз той же Кате С. и ее подругам, собиравшим фольклор на Вологодчине, посоветовали в одной деревне зайти к старушке — заговоры знает.

Зашли.

Самая грязная изба на Вологодчине. Стол не прибран, на столе крошки, молоко разлито, на полу тоже не отдохнешь глазом: крынки, миски немытые, с остатками молока, и в довершение ко всему кот, тоже какой-то неряшливый, с мокрым хвостом, которым, верно, только что вытирал крынки и миски.

Старушонка оказалась сговорчивой — быстро выложила все, что знала: как скотину заговаривать, как зверя, птицу-пакостницу, злую пулю и т. д.

— Ну, а заговоры-присухи знаете, бабушка? Ну, которые о любви.

— Знаю, — ответила старуха. — Только не скажу.

— Да почему, бабушка?

— А потому, родимо, что для внучки берегу. Внучка в городе учится, скоро замуж выходить, а присуха, которая в ходу была, силы не имеет.

СПУСТЯ ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА

В Охапкине (деревня на Ярославщине) в тридцатом году раскулачили одну большую семью. Все — и отец, и мать, и дети плакали горькими слезами, только что с ума не сходили, расставаясь с родными местами.

А через двадцать пять лет две сестры из этой семьи, уже пожилые, приехали проведать родину. И вот бывает же так: первым человеком, кого они встретили, был Тимоха, однодеревенец, который их раскулачивал. Постарел, усох, слеза в глазу, но как было им не узнать этого человека!

И Тимоха узнал их. По породе.

Узнал, и его просто страх прошиб, потому что больно уж высоко взлетела эта семейка: один сын — Герой Советского Союза (на войне погиб), другой — профессор, третий — капитан дальнего плавания... А когда-то он их под наганом выгонял из родного дома.

Сестры, к великому изумлению Тимохи, подошли к нему с улыбкой да еще и руку протянули.

— Спасибо, что раскулачил нас. Мы хоть свет белый увидели. Разве мы жили здесь? Все в поле, все в поле (отец картошку государству поставлял), старшая сестра у нас только в праздники могла надеть новый сарафан, а так все в поле. Вот какое у нас житье было кулацкое-то.

В ОТВЕТ НА ДОВЕРИЕ

У Галашевых на Слуде три гнезда уток в озере под окнами.

Великая радость!

Утром встаешь, первым делом — где они?

В прошлом году Васька Малый убил одну утку — люди едва не забили мужика.

— Не трожь беззащитную тварь! Птица тебе доверилась, а ты как на ейно доверье отвечаешь?

НА ВЕКА

— Я додвою взамуж выходила. За другого вышла, уж девка на выданье была. Все крепилась, все честно́й вдовой жила. Да налоги-те больно больши стали, до пятьсот

да боле платить надоть. Вот девка-та у меня — рассудительна была: «Мама, уж не то тебе идти, как жить-то будем?» Я поплакала, поплакала, не шутка заново-то под одно одеяло с чужим мужиком ложиться, да и пошла. Вдовец один позвал.

Ничего жили. Двадцать семь лет. Промышленник был, осенью не садились без тетеры за стол, детей четверо нажили и меня не бивал — что будешь судачить. А врать не хочу: все первого жалела.

Я в работницах жила, в казачихах, по-нашему, когда с Григорием-то стакнулась. Хороший швец был, чего ни шил: и ботинки, и сапоги, и лопотину-одежу всяку. Только ног нету. Смалу усохли. Стали венчаться-то, батюшко говорит: ну, теперь целуйтесь. А как целоваться-то? Жених у моих ног на коленцах стоит. Дак я тоже на коленцы стала.

Беда, беда, жалела я Григория-то. Думаю, уревусь на могиле-то. Раз до того прибилась-приплакалась, что без памяти уснула. Голову-то застудила — долго болела. Да и теперь на кладбище поковыляю с робятами к отцу (пять годов как старик помер): нет, робята, вы как хошь, а я перво Григорию поклон отдам.

Три креста на могиле-то сменила. Теперь крепкой, каменной поставила. На века.

ДЛЯ КОГО ЗИНКА, А ДЛЯ КОГО ЗИНАИДА ИГНАТЬЕВНА

Писатель К. написал очерк о деревне на Ярославщине, где за год до этого купил дом. Описал всех жителей деревни, благо их немного, вывернул подноготную каждого, да еще и под своими именами.

У людей это вызвало негодование.

Степан, сосед К., выведенный в очерке как беспросыпный пьяница и калымщик, пришел в ярость:

— Я пьянчуга? Я калымщик? Я не просыхаю? А на ком вся деревня держится? Кто пашет огороды? Кто кузнец? Кто слесарь? Кто плотник? А кто самому К. дом перетряхивал?

А старуха, у которой К. брал молоко, та отказала ему в молоке, да еще и припечатала:

— Ты мою дочь (дояркой работает): Зинка да Зинка. На всю Расеюшку. Это кто тебе позволил? Для кого она Зинка, а для тебя Зинаида Игнатьевна. Понял?

АННА СТЕПАНОВНА И АНЮША

— Где побывала, Анна Степановна? Не у подруженьки своей?

— У нее, у Анюши, — отвечает бойко Анна Степановна.

При этом что удивительно: Анне Степановне всего четырнадцать лет, а ее подруженьке давно уже перевалило за шестьдесят.

Но это решительно никого в деревне не смущает — ни старых, ни малых. Так уж сумела поставить себя эта девчонка с детства: у ровни она всегда была заводилой, а взрослых опять купила своим умом да смекалкой. Обо всем у нее свое суждение, о каждом человеке свое мнение.

Вот и отличили ее земляки, вот и величают с малых лет по имени и отчеству.

ЧТОБЫ УВЕКОВЕЧИТЬ СЫНА

У Терентьевны был один-единственный сын, да и того убили на войне.

Вскоре после войны она в честь сына сложила поминальную:

Хожу я, гуляю по своему двору,
Хожу, вспоминаю сына своего.
Уж ты, сын, ты мой сыночек,
За что ты, сын, погиб?
Погиб ты, мой сыночек, за
Родину, за Советский Союз,
Оставил ты меня, бесчастну,
До гроба слезы лить.

Тридцать три года каждое утро и зимой и летом, в любую погоду с этой молитвой-песней обходила старуха свое подворье. А потом подошла смерть, и она призвала соседку:

— Хочу дом тебе отписать, исполнишь ли мой завет?

— Давай дак не говори чего не надо: у тебя дочи есть.

— Дочи в городе живет. А мне надо, чтобы и после смерти моей каждое утро поминали сына.

СПАСИБОМ УБИЛ

— Все девки у меня как девки — одна другой здоровше да краше, не в меня рожей-то, в отца, все замужем, ребята чуть не из зыбки выдернули, только Олюшке, старшей, бог счастья не дал. Всю жизнь по больницам мается. Отец, отец девку спасибом убил.

— Спасибом?

— А как? После войны поехали на пожню сено ставить. Олюшке двенадцать годков — по нонешним временам какая работница? А ведь она у нас за взрослую робила — никакой скидки на года не было. А ежели еще отец похвалит: «Ну и Ольга у меня, ну и девка!» — дак Ольга убиться готова: даже в то времечко, когда отдыхаем, с граблями бегает.

И вот покос кончился, и она кончилась. С двенадцати лет по больницам пошла.

Отец, отец девку спасибом убил.

МАШУНИНА ЖИЗНЬ

— Я всю жысь в работе. Смалу на мачеху робила, ейных деточек подымала, потом колхозы зачались — кого в лес послать, кого пахать да сеять? Машуню. А в войну — тут уж говорить нечего — все воза на меня: у ей, у Машуни, робят нету. Так я и осталась в девках. Некогда и взамуж было вытти. Да и за кого? Два с половиной мужика в деревню с войны вернулось — разве мне кривой глаз пучить?

Да, милой, я ведь в войну-то окривела, селиминой глаз нарушила. Целыма днями да целыма ночами молотила, знашь, в войну: хлеб, хлеб давай, по целым суткам из овина темного не вылезала, вот в темноте-то и наехала глазом на селимину. А потом задымило, задымило, да и другой в темноту ушел.

Стала нянькой. И слепая робила в колхозе, пятнадцать лет сидела с робятами от колхозу. Сичас вот тем и живу, доглядывают внучки. Я внучками зову, с которыма водилась. Все какая-нибудь забежит. Когда дорожку зимой разгребет, когда за хлебом сбегает, когда за водой.

Не знаю, не знаю, што со мной будет, какая жысь. Какие-то все паралицы, да болезни, да раки, да... Может, и мне што еще заготовлено у бога.

СТЕНЫ ПОМОГЛИ

Варвару Сидоровну, полную, но еще моложавую старуху, поздней осенью разбил паралич. Зиму она кое-как промаялась у дочери и зятя (те жили в другом конце деревни), а в марте, как только стало пригревать солнышко, стала проситься домой.

— Темень у зятя, одни дрова старые кругом (так Варвара Сидоровна называла соседние дома), а у меня-то

дом на угоре — полсвета видно. Везите, везите домой, говорю, ежели вам матерь дорога. «Да что ты, мама, с ума сошла? Как одна-то будешь жить? Ты хоть тепла дождись». А не одна, говорю, буду жить, а с господом богом, у меня божница икон от мамы родимой да от бабушки, да и ты, дочи, прибежишь, коли материной смерти не хочешь.

Вот и повезли меня домой.

В избу занесли, посадили на лавку (я уж о ту пору сидела): сиди, мама, за вещами поедем. Ладно, поезжайте. Я в избу свою попала, мне ничего больше не надо. Сижу. Пол у девки намыт, светло, весело — да я как заново родилась, как о паске радуюсь. Да почто ты считаешь себя больной-то? — говорю себе. — Кто сказал, что у тебя рука-нога отнялась? Да, может, приснилось это тебе? Рванулась к печке, печка за метр от меня, да и чудо: на ноги встала.

Стою. А ну-ко я шаг сделаю. Шаг сделала и опять не упала.

А ну-ко я по избе своей пройдусь. Хозяйкой пройдусь. Да и прошлась.

Санька приехала, двери открыла, а я у дверей стою. «Мама, мама, да како тако чудо случилось? Кто тебе помог?» А помог, говорю, господь бог да родные стены.

Вот с той поры и пошла на поправку, а теперь, слава богу, и вокруг дома маленько брожу.

ИЗ-ЗА ЧЕГО ПОМЕРЛА ГЛЕБОВНА

— Из-за печени, дохтура сказали, которые потрушали. Печень, говорят, рак сгрыз. С чего? Из-за девок. Девки в могилу свели. Валька, старшая, еще школьницей загуляла, уж нету в деревне угла, который она своей задницей не обтерла, — каково это было пережить матери?

Другая дочи — мать учила-учила, быват, пятнадцать лет учила, — приехала с женихом, свадьбу сыграли, сорок пять человек за столом сидело, вот как матерь-то ее почитала, а она через месяц письмо: совместная жизнь с Геной не совпалась, разошлись по-хорошему, с миром. А у матери от этого мира сердце едва не разорвалось.

Ну, а петлю-то на шею накинула младшая — Олюшка. Девкой обрюхатела. Да ладно бы от человека, а то от алиментщика! Ну дак до того распалилась Глебовна — знашь, какие в ихнем роду все гордецы — не пустила дочерь на порог. Та приехала с лесопункта на трех машинах (родники уговорили жениха, взял Ольгу): встречай молодых! А Глебовна ворота на запор да еще и присказку: «У меня не родильный дом, а я не повитуха». Вот как ей обида-то на сердце пала! Что ты, ведь это по-прежнему-то, по-старинному-то порато небаско, когда до свадьбы брюхо нагуляшь, да еще от мужика.

Ольга теперь убивается, тут, в радуницу, уревелась на могиле у матери: «О мамонька, мамонька, быват, я тебя сгубила да, быват, я тебя в могилу свела...» Фенька-фершалица — привелась на кладбище: «Не плети, чего не надоть! По медицыны померла». А с чего же по медицыны? Мы-то рядом жили, знам.

ПОСЕВНАЯ

(Из одного письма)

Ты пишешь, Марея Осиповна, у вас сев зачинать хотят, а я вчерась еще отсеялась. Всего насеяла да насадила: и житца, и репки, и капустки, и ленку заодно бросила. Два подоконника банками да ведерками, от ребят остались, заставила. Дочерь ругается: опять, говорит, все лето к окошку не подойти, опять ты, бабка, с ума сходишь. А я говорю, у тебя душа не болит, не скомнет, ты новой

порощи человек, тебе хоть есть, хоть нет земля, все едино, а я, говорю, мне хоть столько-то радости. Ходить не могу, от фатеры до крыльца вся моя хода́ ноне, дак я хоть дома-то посмотрю, как все растет да цветет, да ленок сголубеет. Посмотрю да поплачу, да жизнь свою вспомню...

СПОР ПО-СТАРИКОВСКИ

Собрались старики с верхнего конца деревни у Матвея Ионича, по-нашему Матюшки Иришича (по матери звали, отец рано умер): Анисим Максимович, Семен Трубка, сам Матюшка. Все глухие, разговор на крике.

А о чем разговор у стариков? О бывалошной жизни, о тех счастливых временах, когда все они были в силе, крестьянствовали, промышляли в лесу.

Сперва кивали, поддакивали друг другу — хорошо шел разговор, а потом заспорили: где стоит охотничья избушка по Росохам?

Анисим Максимович, как старый тетерев: на угоре, возле старой ободранной березы.

Семен Трубка: нет, не на угоре, а у брода за реку.

А Матюшка — порох старик — стоптал даже ногами:

— Что вы ерунду-то мелете! Какая гора, какой брод? На пожне! Как раз под самым спуском, когда из лесу выйдешь.

Спорили, кричали долго и кончили тем, что разругались в пух и прах, так что полуслепой Семен Трубка, которого обычно приводили и уводили домашние, на этот раз даже один домой ушел.

Три дня старики сидели по своим берлогам, а на четвертый снова сошлись — терпежу не стало томиться в одиночестве.

И тут выяснилось, что, заговорив об охотничьей из-

бушке по Росохам, которая когда-то принадлежала монастырю, каждый из них незаметно для себя начал думать о своей, фамильной избушке, дорогой и любимой с детства.

СЛОВО ПОМОГЛО

У Павлы Северьяновны утренний аврал: полдевятого, через полчаса за прилавок в белом халате вставать (в ларьке торгует), а у нее вся кухня дыбом, и сама еще не одета.

— С отцом сегодня долго проканителилась, — оправдывается она. — Вчера, вишь, зарплату давали, часы на улице потерял — искала да самого по частям складывала, по всей деревне опохмелку разыскивала — тоже время надо.

— А дочери?

— А дочери еще спят. Не смею будить-то. Не свои, живо люди оговорят. — Северьяновна вышла за вдовца, у которого, кроме старшего сына, живущего отдельно, своим домом, было еще две дочери, две крупнотелые девицы-школьницы.

Я рассвирепел. Я в такую работу взял ее (осточертела эта нынешняя возня с деточками!), что забыл даже про стамеску, за которой приходил. Вспомнил, когда уже из заулка выбегал.

Дней через десять встречаю Северьяновну на улице — цветет.

— Ты заговорил у меня девок-то, что ли? Ведь они как шолковы стали. Я нахвалиться не могу.

— Вот и ладно.

— Да уж чего лучше. Ты выбежал тогда от нас, дверями хлопнул, они заглядывают с другой половины:

«Чего это, мама, писатель-то психует?» Так и сказали, — что будешь врать? Меня, говорю, ругал. За то ругал, что с вами распустилась. И вот — чудо. На обед прихожу, у меня все дома прибрано, намыто, чайник горячий на столе меня дожидается. А назавтра-то утром встала — они обе у меня на ногах: «Мама, что нам делать?» Подменил, подменил ты у меня девок.

РОДНИЧОК

Кто сегодня поет старинные русские песни? Старые деревенские старухи да участники всевозможных самодеятельных коллективов, тоже уже в годах.

А тут на сцену — был смотр художественной самодеятельности Северо-Запада — вышел нестеровский отрок, ясноглазый, светлоголовый, в белой расшитой рубашке с вязаным пояском, и давай петь одну за другой полузабытые старинные песни.

Голос у Васи Назымова — так звали полюбившегося всем паренька — был несильный, но чистоты удивительной — казалось, полевой жаворонок вдруг запел под высокими сводами зала.

В перерыв Васю Назымова обступили со всех сторон. Кто? Откуда? Как пришел к народной песне? У кого учился?

И так же просто и скромно, как пел, Вася Назымов отвечал: киномеханик с Мезени. Живу в родной деревне. Петь научился у бабушки, возле которой рос с братом.

Васю Назымова пригласили петь сразу три известных народных хора. Но он отказался.

— Не, — сказал Вася, — к себе на Мезень поеду. Я Мезень люблю.

И уехал.

Через год я специально навел справки: где Вася Назымов?

На своей Мезени. Все так же работает киномехаником и поет в сельском хоре.

III

СКОЛЬКО НА ПИНЕГЕ СКАЗОК

Еще до войны, студентом, записывал я сказки на своем Пинежье. Раз попалась старуха — день записываю, два записываю, три — все сказывает.

— Много ли еще, бабушка? — спрашиваю.

— А кто зна́. Не считала. Тут который год внучек заболел, фершалица приказала на улицу не пущать, дак я три недели сказками его удерживала. С утра до темени сказывала. Ну, всю-то себя не опорознила. Много ведь людей-то на Пинеге жило. Сколько их, сказок-то, за века насказывали!

АВАГОР И ШАВАГОР

— Мелкий пошел народишко. Морошка. Война подкосила людей-то. Голод-то этот затяжной. После войны ребят в армию надо брать — слезы: не вытягивают ростом. Специально на откормку ставили.

А какие раньше-то богатыри на Пинеге жили! Слыхал про Авагора-то да Шавагора? Два брата были. Один на Авой горе жил — километра два повыше Верколы. Там и доселе борозды от полей видать. А другой — у Шавой — ниже деревни два километра.

И вот Авагор все к брату на лодке ездил в бане мыть-

ся. Раз шестом толкнется — лодка на сто метров вперед летит. А то опять хватится который — топора под рукой нету:

— Брат, кинь-ко мне топорик!

И кидали. С горы на гору кидали. За четыре версты.

Вот какие на нашей земле люди-то в старину жили!

ОТКУДА МЕДВЕДИ

— У нас в роду все охотники были — и тата, и брат Иван, и дедушко. А моды не было медвежатину исть. Шкуру только сымали. Нельзя, грех великий, из людской породы медведь-от. Шкуру-то когда сымут, как человек лежит. Дедушко все, бывало, сказывал: ране худо, говорит, было жить людям. Били, тиранили, ремни из спины вырезали. Вот люди и перевертывались в медведей. Те, которые отвертывались обратно, те снова человеками стали. А один мужик с женкой перевернулись через ножи да ножи-то и потеряли. Медведи-то, говорят, от их зародились. Вот и ногти, и пальцы, как у человека, только голова собачья.

ПЛЯС С ЛАДОШКИ

— Хор Пятницкого... Ансамбль... Игорь Моисеев... А скакуны против бывалошного, вот что я тебе скажу, блохи на двух ногах. Могут они с ладошки девку в пляс пустить?

— Как это с ладошки?

— А вот так. Соревнованье. Кто кого. Кто позаковыристей да поинтересней гвоздь забьет. Микша Ряхин забил.

Подзывает это Маньку Егора Павловича, та уж всяко в девки выходила, раз на гулянье пришла. «А ну-ко, Маня, встань ко мне на ладонь (понятно, ладонь была подходяща) да сойди в пляс с ладошки».

Сошла. А ежели не веришь, поезжай к нам в деревню — она еще жива, Манька-то.

СТРОЙНОЕ МЕСТО

Красоту ландшафта на Руси создавали веками. Для деревни, для монастыря и церкви специально выбирали места, а если не находилось подходящего стройного места (название-то какое!), делали сами. Так был насыпан в свое время холм для церкви в селе Бронницы на Новгородчине. И затраты окупились. Красиво, как невеста непорочная, стоит на зеленом возвышении церковь. Один вид ее вызывает прилив сил. А что должен был испытывать верующий человек, поднимаясь на холм!

— А как на небо восходили, — рассказывает ветхая старушонка, с ввалившимся ртом, с клюкой в руках. — Голубушка наша нерукотворная. Николай-чудотворец гору насыпал. Один але с анделами со своима. Так отцы наши сказывали. Так и зовется: Николай-чудотворец. Раньше и вода на горе была. Взойдешь да лицо обмоешь — как заново на свет родишься, как глаза прорежутся. Так вся божья красота и откроется тебе.

ПОПОВСКАЯ МЕСТЬ

Дед Натальи Юдовны как-то по пьянке крепко-накрепко поругался с попом, а затем еще и рукам волю дал: выбил у того рамы.

Поп не потащил соседа в суд, не наложил на него епитимью. Но обиду затаил. И вот когда у деда родился сын — окрестил его Иудой.

Напрасно дед умолял, ползал в ногах у попа, напрасно предлагал ему всякие дары: поп был неумолим.

От отчаянья, от ужаса, что его ребенка будут звать самым презренным именем на земле, дед запил и вскоре умер, а сын его — Иуда — как только подрос, ушел из родных мест на шахты.

ЗА ЧТО БАБЫ ЦЕНИЛИ ЛЕХУ ЧЕРНОГО

Весной, когда на реке начинался сплав и в деревню приходили сплавщики, бабы-солдатки наперебой зазывали к себе на постой десятника Леху Черного.

Коров у большинства не было, овец тоже — где взять навоз, без которого не родит северная земля? А ежели Леха Черный в доме — о навозе можно не горевать. Обнавозит.

Страшный, прямо-таки лошадиный аппетит был у Лехи — в один присест чугун картошки съедал.

МОСТ

Пять-шесть старых еловых бревешек, наполовину разъезженных, размолотых машинами, под бревешками канава со стоячей водой, а какое громкое название у моста! Столичный.

— Это в память о Северьяне Мотовилове, бывшем председателе колхоза, — ухмыляется шофер. — Веселый был человек. Ящик «столичной» строителям выпоил.

ЖЕНИХ ДА НЕВЕСТА, КОТОРЫЕ НИКОГДА НЕ ПОДВОДЯТ

В заулке у Мерзлых по случаю смерти хозяина, старого вдовца, полно старушонок. Сидят на бревнах, на табуретках, охают, вздыхают, плетут разговор..

— Все ходил Миколаюшко, жаловался — никто взамуж не хочет. Дождался невестушки. Сама Марья Гробовна подкатила.

— Да уж, эта невестушка не обманет. Надежна.

— А ко мне вот Иван Гроб не едет. Заждалась своего жениха.

— Потерпи маленько-то. Очередь. Постарше тебя есть, их сперва оприютить надо.

— Заробился, заробился Иванушко. Много ноне работы ему. Каждый день у него свадьбы. Вчерась в Рожове старушку схоронили, позавчера сразу три старухи на Слуде убралось — вот сколько у него свадеб-то ноне.

— Ничего, ждите своего часу. Этот жених еще никого не подводил.

IV

АФАНАСИЙ, СОВРИ-КО

Летний вечер. Деревенская завалинка. Старухи.

Мимо, бойко приплясывая, торит пыльную улицу Афанасий, известный деревенский враль.

— Афанасий, соври-ко, — кричат ему вдогонку старухи.

— Некогда. В магазин бежу — рыбу свежую дают.

— Чего-чего он сказал? — спохватились старухи, когда Афанасий скрылся за соседним домом. — Кабыть рыбу свежую, говорит, привезли. Ну-ко, побежали.

В магазин прибежали — отдышаться не могут.

— Мы за свежей рыбой, Таисья.

— За свежей рыбой? — удивилась продавщица. — Да откуда я вам свежую-то рыбу возьму?

— Афоня сказал... О лешак проклятый! Дак он ведь это соврал.

ЖАЛОБЫ

— Братан был, брат двоюродный. Годок. Сказки всё сказывал. Помер давно, в ту еще голодовку, в тридцатые годы. Деготь в лесу гнали. Вот день-то отробили, сели ужинать, а он возьми да и ляг на нары. «Ванька, не дури, ешь, пока горя́че». А дурить-то любил, мастер на всяки забавы был. Молчит. Я опять: «Ванька, вставай». Еда-то — похлебка, мох да капуста, только и запихаешь в себя, пока горя́ча. Иван опять молчит. Подошел — мертвый.

Ладно, схоронили.

И вот он в первую же ночь во сне мне и явился: «Братанушко, ящик-то у меня какой тяжелый». А как не тяжелый. Домовища-то настоящего не сделали. Не выстрогали досок-то. Оголодали — не можем.

Долго он мне во сне жалился.

ВОШЕЛ В АЗАРТ

Егорко Максимов, ныне дряхлый старик-пенсионер, а в прошлом первый активист своей деревни, так вошел в азарт во время коллективизации, что раскулачил своего тестя.

Наладился было Егорко раскулачить и отца своего

(нет родных в классовой борьбе!), но тут уж возроптала вся деревня:

— Что ты, турок? У отца семь девок да самовар дырявый — не смеши людей-то!

САМОЕ, САМОЕ, САМОЕ...

Самое большое, самое яркое, самое сильное... Кто, когда и где не коротал время за этой игрой!

А вот рыбаки-любители, возвращавшиеся с Финского залива и по привычке заглянувшие в будку к знакомому сторожу (тут их застала снежная заваруха, в феврале дело было), традиционной игре придали свой оборот: самое диковинное событие в твоей жизни.

Люди все были разные, с разным жизненным опытом, и рассказы тоже были разные: веселые, мрачные, грустные, печальные.

— Ну, а ты что расскажешь? — под конец, когда выговорились все гости, обратились к хозяину будки, веселому старику. — У тебя что самое диковинное?

— У меня самое диковинное? — старик пьяно усмехнулся. — А как на лыжах сеяли.

— Чего, чего? На лыжах сеяли?

— Да. В пятидесятом году. Первого мая. На полях еще снег пластинами, а мне приказ — я тогда в колхозе начальствовал, — сей. Да не могу, говорю. Снег на полях. На поля не попасть. «Сей, такой-разэдакой! Всю сводку портишь. Чтоб к вечеру был рапорт». Ну что делать? Времена были, сами знаете. Сам встал на лыжи и мужиков на лыжи поставил. Разбросали семена. Ну, а когда снег растаял да подошла пора сева, само собой, стали пересевать...

ОБЕДАМИ ВЗЯЛ

Валя С. — огонь-девка. После культпросветшколы послали в Курью, где и клуб-то годами не открывался: не зря этих курян топляками зовут.

А Валя и топляков раскочегарила: на смотре художественной самодеятельности района куряне заняли первое место.

И вдруг вот эта самая Валя выходит замуж за Сашку В. Сашка — парень непьющий и зарабатывает хорошо — тракторист, но все же против Вали мешок мешком. И потому пересудов по поводу этой свадьбы было немало.

Я тоже, как-то встретив мать Вали, завел шутливый разговор: дескать, колдун Сашка, что ли, такую девку захомутал?

— Обедами взял, — сердито фыркнула Марина Михайловна. — Три года у ей кухарничал.

— Как кухарничал? Разве он тоже в Курье жил?

— С чего! На воскресенье да на субботу ездил. Три года ездил — и в дождь и в снег. «Поеду в Курью, хоть Валю накормлю». Знаешь, Валька днюет и ночует в клубе — не едала по-хорошему-то.

— Обедами, обедами взял, — убежденно сказала Марина Михайловна и махнула рукой. — А ладно, поживут, нет сколько — не моя забота. Нонь не старое время, можно и в разные стороны.

СЕМИЛЕТНЯЯ ВОЙНА

Новый аэродром в Д. разбит за райцентром, в лесу, который с незапамятных времен был облюбован косачами. По веснам такие тока были, что просто стон стоял вокруг.

Аэродром не испугал птиц. Весной, когда пришел срок

их брачным играм, они вылетели на летное поле. Их стреляли служащие аэродрома, стреляли охотники-любители, и все равно в течение трех дней нельзя было поднять самолеты в воздух. И так продолжалось семь весен подряд, пока в прошлом году не убили последнего петуха.

СОРОКОВОЙ МЕДВЕДЬ

— Мой родитель — хороший промышленник, сорок медведей убил. Сорокового-то медведя трудно убивать. Тата пошел на сорокового-то медведя, с нами со всема распрощался. Товарища взял. «Ты, Микита, не грусь, смотри. В чело (в дыру-то эту сверху, в котору медведь дышит) будешь слегой пихать, а я стрелять».

Ну, убил тата медведя. Микита жердиной поднял, Арапко, пес у нас был, схватился драться, а тата и стрелил.

Ладно, радуется: пронесло. «Здря люди пугают. Сорокового-то я еще всех легче убил».

А не пронесло. Стал шкуру сымать, за ножом — из рук выпал — нагнулся, да тут и живот порешил: на нож упал. Вот он, сороковой-от медведь.

КАКОЙ БЫЛ НЮХ У ЧУПКА

Шумно, горласто за столом. Народ все собрался с охотничьим уклоном — собачники, ну и о чем перво-наперво разговор? О собаках. О том, чьи пес да сука лучше.

Сперва еще стояли на земле, в меру загибали, а потом в раж вошли — всякие берега потеряли. Мой Лыско три дня и три ночи без роздыха куницу гнал, моя Век-

ша — за рекой тетера летела — облаяла, мой Пират у живого медведя мусьво выгрыз...

— Да бросьте вы сопли-то распускать! — осадил хвастунов лежавший на печи старик Петряев. — Подумаешь, какая невидаль — собака зверя гонит да птицу чует. У нас Чупко, бывало, комара облаял.

— Комара?

— Комара. Пошли раз в лес с отцом — неурожайный год. Ходим, ходим, день ходим, два ходим — ни пера, ни ногтя. А вот что значит хороший пес — взлаял. Подошли к ели, большущая ель. Мы туда, мы сюда, туда посмотрим, сюда посмотрим, топором по стволу колотим. Нет никого. А Чупко лает, Чупко гремит. Тата еще раз поглядел снизу вверх. Поглядел — комар. На суку на нижнем сидит. Вот какой нюх у пса был! А вы: мой зверя гонит, мой на птицу лает...

ПОЧЕМУ РЯБ МАЛЕНЬКИЙ

— Это сейчас-то ряб маленький, исть нечего, а ране-то знаешь какой был? С корову. Да такой ересьливый, с таким норовом, что другим птицам житья не стало. И вот терпели-терпели птицы его тиранство да однажды и пожаловались богу: прими меры, сил никаких больше нету.

Ну, бог видит такое дело, решил исправить свою работу. Решил от ряба всем птицам мяса отбавить. Отбавлял, отбавлял, глянул, а от ряба-то почти ничего не осталось. Ладно, говорит, хватит. Вот так ряб и стал меньше всех. Не веришь? А тогда откудова же рябово мясо, белое, у глухаря, у другой боровой птицы? У глухаря, к примеру, самое вкусное мясо под крестцом, под коровушкой по-нашему, белое. Так и зовем: рябово мясо.

НЕ ТА ФАМИЛИЯ

Идем с приятелем в Хорсу — это таежная речка — за рыбой. На дороге — следы.

— Это Васька Койда шел, вишь, его сапоги-то, в аршин, — говорит приятель.

— За чем шел?

— За тем же, за чем мы.

— За хариусом? Ну, так мы зря и топаем — все обудит.

— Не обудит. Не та фамилия.

— ??

— Харьюс-то, прежде чем клюнуть, спрашивает, — смеется приятель, — как фамилия. «Койда». — «Ну, дак не клюну. Я только на фамилию Еремин откликаюсь». Понял?

УМНЫЕ ЛЕЩИ

— Что у нас сегодня?

— Лещи жареные.

— Лещи! Ну дак мне голову. Поумнеть хочу.

— А разве лещи умные?

— Что ты! Умнее нас с тобой. Знаешь, как они сети проходят, когда на нерест идут? Хитрющая рыба! Вперед вышлют самых опытных, так сказать, разведчиков. Те к сети подошли, на бок легли, потом встали на ребро, веревку нижнюю у сети спиной подняли: пожалуйста, проходи, путь свободен. Ну, рыбаки и остались с приветом. Весь косяк беспрепятственно пройдет.

КАК П. СТАЛ ПОЭТОМ

Стишки П. начал писать рано. В духе анархической вольницы, когда-то свившей свое гнездо на Лиговке. На вечеринках (клубов тогда не было) подзадоривали:

— Валяй, Мишка!

Но поэтом П. стал только в войну, когда его тяжело ранило и он на два года потерял зрение.

— Глаза ослепли, а мозг стал глазастей. Впервые стал думать, что к чему. И еще: всю жизнь свою увидел заново. Глаза не видят, а у меня такое зрение открылось, что каждая травинка на дворе меж булыжников ожила... Вот тогда-то я и написал стихотворение, про которое Тихонов сказал, что в нем птица поэзии отложила свое золотое яичко...

ШТУРМАН-ВЕСЕЛЬЧАК

Теплоход «Латвия». Первые дни круиза вокруг Европы. На верхней палубе возле молодого штурмана-здоровяка толпа туристов. Всех волнует одно: что их ждет впереди? Первый раз в море.

— Ну, это как повезет, — отвечает, улыбаясь, штурман. — Триста сорок судов ежегодно тонет.

— Триста сорок? Да откуда это известно?

— Известно. В Англии есть служба такая: все аварии, все катастрофы на море регистрируются.

— Ну, это, наверно, развалюхи какие-нибудь тонут, а у нас вон какой корабль! Новенький! По последнему слову техники.

— Ничего подобного! — возражает штурман и при этом весело скалит белые выпуклые зубы. — К примеру, волны-убийцы. Любое судно разламывают.

— Какие, какие волны? Убийцы?

— Ну. Все чинно, благородно, идет себе кораблик, ни о чем не думая, — вдруг шторм, две крутые волны — одна, скажем, под нос, другая под корму, — судно повисает в воздухе и бенц — пополам. Мамы не успеешь выговорить, а не то что SOS подать.

Белый ужас на лицах путешественников. Наконец кто-то находится:

— Ничего, мы не в океане, а в Средиземном море. А Средиземное море, известно, — лужа.

— Ничего себе лужа, — опять весело скалит зубы штурман. — А знаете, сколько в Средиземном море кораблей тонет? То-то. И причем как тонет? Бесследно. Гребет, гребет это кораблик, отстукивает себе радиограммы, бенц — и пропал. Вот какая это лужа.

Кто знает, сколько бы еще продолжалась эта утешительная беседа, но тут штурмана-весельчака позвали к капитану.

ОБИДА АВСТРИЯКОВ

Идиллические времена были в первую мировую войну.

В Закарпатье, рассказывал отец И. Э., они день-два повоюют с австрияками, даже в атаке штыковой сшибутся, а потом, как ни в чем не бывало, сходятся у речки, шириной с комнатенку: на одном берегу — они, русские, а на другом — австрияки. И тут уж ничего, решительно ничего не было от войны, а были просто люди, была просто жизнь: стирали белье, выколачивали вшей, обменивались хлебом, махоркой — благо у русских хлеба было вдоволь, а у австрияков опять с табачком было попроще.

Вообще австрийцы в значительной мере жили за счет русских: немцы-генералы, командовавшие русскими дивизиями, частенько делали так, чтобы русский скот, который пригоняли на фронт, попадал им в руки.

От австрийцев наши солдаты узнали и о Февральской революции. Однажды австрияки прямо с обидой в голосе закричали со своего берега:

— Рус, зачем скинули нашего каптенармуса?

А ЭТО МЫ ЕЩЕ ПОГЛЯДИМ

— Чего, чего? Народ крупнее супротив прежнего пошел? Силираты — новая порода объявилась? Насчет силиратов не скажу, потому как у нас про таких вроде не слыхать. Все о двух ногах да о двух руках, как ране. А насчет того, какой народ в старину был, — помолчим. Пашку-моряка помнишь? Не слыхал, как он за реку с невестой попадал? Ну как же! Подъехал к реке на паре — плот на другой стороне. Чего? Ждать, покуда пригонят? Так переплывем. В Цусиме не потонул, дак неужели в Пинеге утону!

И не утонул. Лошади всплыли, сам с невестой всплыл, тарантас на дно уволокло, а он в одной руке невесту держит, в другой вожжи, да орет на всю реку: «Врешь! В Цусиме глубже было!» И выплыли. Правда, женка после того два года у старух ладилась, а сам-то он как с гуся вода. На берег вышел — только отряхнулся.

А про Ваню Маленького слыхал? Слыхал, как он по сено ездил? Увидит, бывало, кобыла вспотела: «Ну-ко, Зорька, передохни маленько. Выпряжет, сзади воза привяжет, а сам в оглобли. И вот раз так-то впрягся, и вдруг — хлоп дерево на его. Дерево, не жердинка. Ветром сдуло але еще чего там. Дак что, ты думаешь, Ваня Маленький сделал? Перекрестился. «Слава богу, что на меня упало, а не на Зорьку, а то бы пропадать мне без лошади». Во какой лешак был. Маленький, ха-ха!

Хватит этих придмеров але еще раскручивать? Могу.

И про то, как ране робили, могу, и про то, как гуляли и умирали.

Артюга Хыш в Едоме жил. Это уж я не со слов, сам видел. Раз закатываюсь в эту самую Едому (я тогда в рекрутах гулял) — что такое? Лошади вскачь навстречу — в праздничной сбруе, с колокольцами, гармонь наяривает. А дело-то — пост великий. Похороны! Артюгу Хыша, старика тамошнего, на кладбище везут. Приказал: как помру, не плакать у меня, не горевать, а веселиться, вино пить. Вот сыновья и сполняли волю отца. Строгий был, даром что всю жизнь скоморошил.

Так-то, такие вот в старину люди у нас жили, а что получится из этих — как ты их назвал? силираты? — это мы еще поглядим.

V

ОФИМЬИН ХЛЕБЕЦ

— Справедливости на земле нету. Бог одной буханкой всех людей накормил — сколько молитв, сколько поклонов. Я еще маленькой была, отец Христофор с амвона пел: и возблагодариша господа нашего, единым хлебом накормиша нас... А про меня чего не поют? Я не раз, не два свою деревню выручала. Всю войну кормила. Мохом.

Раз стала высаживать из коробки капустную рассаду на мох. Смотрю: ох, какой хорошенькой мошок! Чистенькой, беленькой. А дай-ко я его высушу да смелю. Высушила, смолола. Ну мука! Крупчатка! В квашню засыпала, развела, назавтре замесила (мучки живой, ячменной горсть была), по сковородкам разлила — эх, красота!

Ладно, в обед, на пожне, достаю, ем — села на самое видное место. Жонки глаза выпучили — глазами мои

хлебы едят. «Офима, что это?» А это, говорю, мука пшеничпа моей выработки. Дала попробовать — эх, хорошо! «Где взяла? Где достала?» На болоте. Назавтре все моховиков напекли — ну, не те. Скус не тот. Опять: сказывай, где мох брала. Я отвела место на болоте — всю войну не знали горя. Уродило, не уродило, — мы сыты.

Думаешь, мне благодарность была? Спасибо сказали? Тепере-ка клянут. У всех желудки больны. От Офимьиного хлебца, говорят. От моха.

ВОРОНЕЙКО

— Я помню, как коней сдавали в колхоз. Воронейко у нас был, Кузькин конь звали — по тате. Бабушка — повели на общую конюшню — целую шаньгу вынесла, чтобы он съел на прощанье. Могутной, хороший конь был. Вожжи не тронь — успевай только в сани пасть.

И вот ночь переночевал со всема на общей конюшне, а утром садимся за стол — он под окошком, Воронейко-то. Мы отвели раз, отвели два, а потом и председатель прилетел — злой был, Васька Беспалый: «Я, говорит, знаю вас, подкулачников! Вы нарочно коня прикармливаете, чтобы колхозный строй подрывать. Я, говорит, покажу вам кузькину мать!»

Тата весь день с ребятами дом огораживал, хода́ Воронейку перекрывал, а тот все равно к дому своему бежит. Стучит, бьет копытами по огороде. Потом слышим: пропал наш Воронейко, ногу сломал.

Тата уж когда помирать стал — в том же году осенью помер, покаялся:

— Я, говорит, ребята, коня порушил. Боялся, чтобы Васька Беспалый не упек нас куда.

НА МЕЗЕНЬ-РЕКЕ

— Сегодня не будем тёлек смотреть: бабушки умершей память завтра. В прошлом году умерла, до ста семи лет двух месяцев не дожила. А сто-то пять было, она еще со мной в лес ходила. По грибы. Идет сзади меня, плачет да стегает себя вицей по ногам. Я говорю: что ты, бабка, с ума сошла, по ногам себя бьешь! А она: «Что худо и идут. Я ведь за тобой угнаться не могу».

Подумай-ко, какие у нас ране лиственницы водились. Нет, мы против их ольха чахлая да осинник.

МАКСИМОВ ПУТИК

Иду Широким холмом. Замшелые ельники, ягодные болота, травники, сухие веретейки-грядки, выстланные веселым курчавым беломошником. Все места, все урочища, которые любит дичь. А самой дичи нет — за весь день ни единого пера не видел.

И вспомнилось мне, что именно через этот Широкий холм пролегал когда-то охотничий путик Максима Матвеевича.

Максим Матвеевич с малых лет кормился охотой, и его путик, его охотничьи угодья не имели себе равных. Осенью пойдет силки проверять — глухарей да рябов столько напопадает, что из лесу вынести не может. На лошади иной раз приходилось ездить.

Ваня, племянник Максима Матвеевича, сколько уж лет упрашивал старика:

— Дядя, покажи мне свой путик, пока ходить можешь.

— Покажу, покажу, Иванушко, — отвечал старик и все откладывал и откладывал. Жалко было вводить в свои угодья другого человека, хоть этот человек и дово-

дился самой близкой ему душой (Максим Матвеевич был холостяк), потому что путик этот — вся его жизнь, все его радости за восемь десятков лет.

Наконец подошло время, когда откладывать дальше было некуда, и старик сказал:

— Пойдем-ко, племяш, в лес, я тебе свои угодья передам.

Пошли. Переехали в лодке за Пинегу, начали подниматься вверх по ручью, а старик и идти не может.

И тогда он сел на старый пень и заплакал:

— Ох, Иванушко, Иванушко, мне ведь не сходить. Не несут ноги. Наказал меня господь за жадность.

Так и задичали, захирели знаменитые угодья Максима Матвеевича.

В ОЖИДАНИИ ТЕПЛА

Старик не вставал с постели всю зиму и все спрашивал у сына:

— Земля-то скоро будет теплая?

— Скоро, скоро, отец.

Наконец однажды утром сын сказал:

— Вот и отогрелась земля, отец. На горбылях сегодня первую отпотину дала.

В тот же день к вечеру старик умер.

ГЛУПЕЕ ХЛЕБА

— Голова-то болит. Мужик расколотил. Кругом могилы хожу. Раньше утром встану, солнышка еще в окошке нету, а сейчас бы встать — нет, не могу, голова не вылежалась. Кабыть отерпла.

Он крутой у меня, мужик-от. Нужда, все как в яме сидим. А он руками-то слабоват, вот и навоюет меня.

Грамотный, а руками необразованный. Уйдет, запьет, а дома и хлеба нету. Я голодом роблю, дети по неделе на картошке сидят. Вот и учатся худо, вот и не хвалят моих детей учителя. А с чего будут хорошо-то учиться? Картошка — не теперь сказано — глупее хлеба.

ФОТОГРАФИЯ

Ничего подобного доселе не видал. Небольшой зеленый садик возле сельского Дома культуры, и в том садике не один, не два, а целых пять гранитных обелисков, воздвигнутых в честь земляков, удостоенных на войне звания Героя Советского Союза.

Иду, притихший, от одного обелиска к другому, всматриваюсь в фотографии. Все лица как лица: простые, русские, от земли. Молодые, безусые, на возрасте... И вдруг — подросток, вдруг мальчик. Хмурый, широкоглазый, крепколобый, коротко стриженная голова, ситцевая, в прямую полоску, домашнего пошива рубашка с прямым, наглухо застегнутым воротом.

Начинаю невольно припоминать имена детей — Героев Советского Союза. Леня Голиков, Саша Чекалин... А как же я не знал их собрата — сибиряка Митю Шкурата?

— Нет, — говорит директор Дома культуры. — Шкурат в девятнадцать лет подвиг совершил. Фотокарточки другой не оказалось. За всю свою жизнь парень один раз сфотографировался. В шестнадцать лет, когда паспорт получал.

Я долго вглядывался в фотографию Шкурата. Вглядывался в нашу историю.

Бедно, скудно жили, так скудно, что простая фотокарточка была порой немыслимой роскошью...

В ДЕНЬ ПОБЕДЫ

— У нас Ваня Пахомов самый веселый в палате был, хотя обеих ног не было. Всех утешал, всех на жизнь наставлял. А утром, как только объявили победу по радио, выбросился из окна.

Почему выбросился-то? Жена была злая? Не думаю. Пока война была, держался, а из войны в мир переступить не мог. Не на чем. Ног-то у него не было.

ИЗ ЩУКАРЕВОЙ ПОРОДЫ

— Из щукаревой породы? Секретарь райкома из щукаревой породы?

— Да не то что из породы. Чистый Щукарь!

И вот ради этой-то диковинки я и дал крюк в шестьдесят километров. Потому как всяких районщиков на своем веку видал: толковых и растяпистых, горластых и вежливеньких (до тошноты!), законников и «мне все нипочем» — широка Русь-матушка, но чтобы районом заправлял дед Щукарь или хотя бы человек сродни ему — нет, такого и представить себе не мог.

Меня разыграли, я это сразу понял, как только увидел Черепанова.

Маленький, подростковый ростик, старательно зачесанные, только что не зализанные волосы, очки — да что тут от Щукаря? А сама манера говорить? Часа три или четыре не отходил от него, видел и слышал, как разговаривает с работниками райкома, с председателями колхозов, с шабашниками, слышал, как говорит по телефону, — где смех? Где шутка? Все деловито, на полном серьезе, даже скучно.

Взыграл щукаревский талант в Черепанове вечером, когда мы выехали в ближайший колхоз да на зеленом бережку озера разобрались с ухой.

Анекдоты, байки и присказки, всякие истории и были, припевки с перчиком...

Все, кто был у озера (а собралось немало, из деревни притащились), все катались по земле. Только он, Черепанов, сидел неподвижно и невозмутимо, как божок, поблескивая выпуклыми очками.

В тот вечер, когда мы уже возвращались в райцентр, я полюбопытствовал:

— А это щукарство не мешает вам как секретарю?

— Не замечал. Народ любит шутку. Иной раз в такой закрут попадешь, только благодаря шутке и вынырнешь. Ну, а начальство... Это уж все зависит от того, какое начальство. Один раз я за свое щукарство от самого секретаря обкома благодарность получил. Семинар был районщиков. Повезли в автобусе за город показывать одно хозяйство. А холодно, и ни выпивки, ничего такого. А тут еще буран на нашу беду разыгрался (в феврале дело было) — как в капкан попали. Люди приуныли, замерзли. Вот кто-то и говорит: «Ну-ка, Черепанов, погрей маленько народ».

Погрел. Ни одного обморожения не было. Часа три рот не закрывал.

К ВОПРОСУ О ЯЛОВОСТИ

Председателю колхоза «Авангард» вкатили в районе очередной выговор. На этот раз за то, что на скотных дворах у него девятнадцать яловых коров.

А вот за то, что у него в колхозе половина девок да баб яловые (мужиков нет), за это никакого взыскания не дали.

И он, рассказывая мне о делах в колхозе, горько пошутил:

— А между прочим, у нас вся загвоздка в яловости баб да девок. И покуда мы ихнюю яловость не ликвидируем, не ликвидируем и коровьей.

МЕДНОЕ КОЛЕЧКО

Ничего не осталось от Вани, любимого младшего брата Анны Афанасьевны.

Карточек в войну не делали (а Ваню взяли на войну в сорок третьем, семнадцати лет), единственное письмецо-треугольничек, которое пришло от Вани с фронта, выкурил по недосмотру непутевый сосед Петруха, одежонку, какую носил Ваня, тоже выносили еще в войну.

Правда, когда-то для утешения больной матери Анна Афанасьевна заказала заезжему художнику Ванин портрет (тот нарисовал его по ее рассказам, и красиво нарисовал), но у самой-то у нее не лежала душа к этой картине.

И вот вдруг Анна Афанасьевна узнает: у соседки, такого же старого гриба, как она сама, сохранилось от Вани медное колечко, которое он подарил ей перед самым уходом в армию. Тогда, в войну, модно было делать колечки из медных денег.

Анна Афанасьевна взмолилась:

— Отдай мне, Марья, колечко. Бога ради отдай. Все, чего у меня в дому есть, не пожалею, а у меня хоть одна живая памятка о Ване будет. — Она сразу, с первого взгляда всем сердцем прикипела к колечку.

— Нет, не отдам, — сказала Марья. — Ни за какие деньги не отдам. Тебе нужна памятка о Ване, да и мне нужна. Что ты, я ведь тоже любила Ваню. Он ведь, когда дарил это колечко, что сказал мне? «Жди». Вот я и жду.

ВСЕГО ОДИН ДЕНЬ

Афанасий Егорович, больше известный в деревне как Афонька Жила, добрую половину жизни судился со своими детьми, с каждого взыскивал алименты. Ну, а как он мытарил и притеснял жену, про это и говорить нечего: та, бедная, не пивала чая с сахаром досыта.

Перед самой смертью, однако, на старика нашло просветление, и все свои сбережения (а они у него были немалые, хороший, работящий был плотник) он отписал детям. И тут он познал такую радость, такое счастье, какого ни разу не испытал за всю свою долгую, муторную жизнь.

— Ох, ох, ребята, — обливаясь слезами, говорил он из последних сил, — как жизнь-то у бога хорошо устроена. А мне этой хорошей жизни только и выпало, что один день.

ДОЖИВАЯ ВЕК

Маленькая, в десяток домов лесная деревушка на Новгородчине. Из тех, что принято называть неперспективными.

Жителей — одна старуха. В избе куры, кошки. Живут все скопом.

— Худо одной-то, бабушка?

— Дак уж, знамо, несладко. Ну, летом-то — не пообижусь — вольная воля. А зимой-то не знаю как тебе и сказать.

— С дровами трудно?

— Дрова-то бы ладно — я хлевы топлю: и свои, и соседские. С водой — беда. Колодец у нас в том конце деревни, на лыжах надо идти, а куда я на лыжах, когда по избе едва хожу. Снег топлю. Чистая бы водица, а не могу

вот привыкнуть к небесной воде. Земной надо. Как попью, так и рвать почнет.

— Надо на центральную усадьбу переезжать.

— Да кому я там нужна, родимой! Детей нету. Не получились. То ли земля худа, то ли семена. Меня ведь замуж-то выдали, я на свадьбе впервой мужика своего увидела. Почну рассказывать, никто не верит. А я уж нисколешеньки не вру. Ране все старики решали. Не жених меня выбирал, а его родители. Из хорошего житья, работящая — чего еще надо? Вот так меня и выдали. Ну, ничего жили-то. Непьющий был и не бил меня. На войне на этой пропал. . .

Помолчала и спокойно закончила:

— Худо, худо одной. Да теперь уж недолго. Зимой-то, как холода начнутся, помру.

ПОСЛЕДНЯЯ СТРАДА

Кузьма Иванович в самые трудные годы держал корову. Один, не то что некоторые: кто копыто, кто два.

Но когда старику перевалило на восьмой десяток, пришлось и ему подводить черту под домашней живностью: его ли старыми ногами, вырванными работой, месить сыролесье да собирать сено по глухим ручьям?

На счастье Кузьмы Ивановича, когда он со старухой вел на вязке свою Жданю в госзакуп, дорогу ему пересек председатель. Посмотрел сверху вниз — на лошади верхом ехал, все понял сразу и дал команду поворачивать назад.

— Ты же с тоски помрешь без своей скотины! Чем жить-то будешь? О чем заботиться? А что касаемо сена, то вот тебе за труды твои колхозные — бережина * ниже

* Покос, пожня возле реки.

перевоза, как раз напротив твоего дома. Правда, пожня малость подзаросла кустом, но это уж твоя забота — при желании за одну весну расчистить можно.

Кузьма Иванович так и сделал — еще по снегу вырубил ольшаник и ивняк, а снег чуть согнало, каждый пень, каждый пенышек выдрал — откуда только и силы взялись.

С тех пор пятнадцать раз выходил с косой Кузьма Иванович к реке. И не работа была, а праздник. Сыновья, дочери, зятья понаедут из города — целая бригада, только успевай распоряжения отдавать.

В последнюю страду, шестнадцатую по счету, сам Кузьма Иванович выйти на пожню уже не мог — ноги отказали напрочь еще весной, да и худоба какая-то напала, весь высох как щепка, но ум у него был по-прежнему ясный, и он по-прежнему руководил сенокосными работами. Утром наказывал: сделать то-то и то-то и так-то. А вечером выспрашивал, что́ сделано и как сделано. И отдавал новые распоряжения.

Однажды утром Кузьма Иванович попросил:

— Вывезите меня сегодня на пожню. Я сегодня помирать буду.

— Папа...

— Везите.

Не привыкшие возражать отцу дети запрягли лошадь, уложили отца на телегу — сидеть он уже не мог.

На покосе Кузьма Иванович сказал:

— Снимите меня с телеги да положите на угорышек — чтобы я и реку, и вас, и весь свет белый видел.

Положили.

— А теперь идите. Возьмите грабли да работайте и пойте.

— Папа, но как же тебя одного оставить?

— Делайте, как я сказал.

Дети послушались. Взяли грабли, рассыпались по

лугу и начали загребать сено. И петь любимую песню отца:

Хо́жу я по травке, хо́жу по муравке.
Мне по этой травке ходить не находиться,
Гулять не нагуляться...

Через час, когда работающие сделали перекур и подошли к старику, он был мертв.

МАЙКА-ПЛОТНИК

Удивлению моему не было предела: девка — плотник! И добро бы там какой-нибудь хлевок сварганила, сарай сколотила, ну, баньку, наконец, а то ведь дом срубила. И какой дом! Ладненький, веселенький, со светелкой-чердаком, а у той светелки-чердака еще балкончик с точеными перильцами — терем!

— Не ты, не ты один ахаешь, — разговорилась старуха-мать. — Все не верят. Топор — не прялка, у мужиков-то не у всех в руках держится. Да нужда чему не научит. С пятерыми девками я после войны осталась — за всем, за каждой безделицей в люди бежи. Гвоздь какой вколотить, доску прибить — напросишься. И вот Майка все это с малых лет видела — последняя у меня, с малых лет начала за топор хвататься. А в школе-то на уроках труда она уж табуретку сделала. Да, табуретку. Тепере жива. А там дальше да больше и до дома дошла. Ну топор счастья бабе не приносит.

— А что?

— А то. До тридцати одна за стол садится. За худого да безрукого сама не хочет, а рукастый — «не хочу топора в кровать».

Майка — она как раз в это время вернулась из лесу с полнехоньким коробом красных сыроег и масляных

груздей — на топор не походила, это уж мать хватила через край.

Легкая, синеглазая, грудастая — не каждый день такую увидишь. И в душе у меня опять начали подниматься сомнения.

Майка разрушила их. Она взяла топор, доску еловую и живехонько вытесала маленькое весло. На память.

ПРО ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ

— Две собаки, два волка в дом ко мне залезли, беда, маются девки — и Муза, и Ольга. Зато уж мала — Галька — в рубашке родилась. Три года живут с Евгешей — нахвалиться не могу. Ни разу слова поперечного не сказал, скорей я перетыку поставлю. А выпьет — его и не чутко. «Галька, где у нас мужик-от?» — «Не знаю, вышел куда-то». Я заворчу: дура, не знаешь, где мужик. Пробросаешься! Схвачу какой ватник, побежу на улицу. А он на кухне — спит. У самой печки калачиком свернулся. На подстилочке, которая котанку постлана. Вот какой у меня зять-то.

Ну, одно худо: на ребят чура не знают. Три года живу с има — и три ребенка. Та как стреляет. Да вы, говорю, с ума сошли. А ежели, говорю, десять лет проживете? «А десять ребенков будет», — смеются. Я говорю: меры каки примайте але хоть выходные дни заведите — по разным койкам спите. Опять смеются: «Нет, говорят, покуда теща жива, не будем выходных заводить. Везде людей не хватает, надо государству помогать».

Вот какой у них сказ. А разве я могу валандаться с ихними чурками? Здоровящих делают — по три с половиной да по четыре килограмма. Мне семьдесят три года, руки еще от работы в колхозе высохли — которым ме-

стом держать эдаки-то самовары? Да и Музу, и Ольгу когда надо проведать — не все у их жить. Те только тогда и вздохнут, когда я приеду да когда острастку тем бандитам дам.

ОТ ЖАЛОСТИ

У Александры Михайловны возле дома целая псарня — полно собак и собачонок.

Спрашиваю:

— Ты что, Михайловна, по выведению собак решила специализироваться?

— С чего! Сиротины все это да подброски. Заведут собачонку, поиграют сколько, а потом надоест — на улицу. А то и щенка слепого принесут: «Александра Михайловна, я вам щеночка принес». — «Да зачем он мне? Понеси, бога ради, откуда принес». А час спустя какой на крыльцо вышла, щенок-то там ползает, коготками по полу скребет. Ну и жалко станет — плеснешь молока. А раз плеснула — все, больше не выгонишь.

ЗА МУЖИКА В ДОМЕ

— Меня ребята боятся. Я подхожу к дому — все по углам. А чтобы к столу подойти, когда гости у меня, — никогда! Все на кухне. Старшему парню двадцать лет, трактористом работает — все деньги до копейки отдает. А в кино идет — тридцать копеек просит. Раз попросил: дай, мама, шестьдесят. У меня глаза на лоб. Куда, говорю, столько? Не закурил? «Я девушке билет хочу купить».

Такие, такие у меня дети. А отца ни во что не ставят.

Да тот и сам не больно их строжит. Приходит домой под мухой: «Ребята, давайте шалить». Ляжет на пол: куча мала! Але кто проштрафился, проворовался, грозу надо дать — ему уж не дать. Глаза, как девица на выданье, опустит, со стыда весь сгорел, а то еще лучше: началась у матери выволочка — из избы вон. Дак с чего же такого отца будут уважать?

Я, я за мужика в доме.

КАК ПЕТЬКА УШЕЛ ИЗ ДОМУ

Семилетний Петька Р. вбежал по старой лесенке на сеновал и пришел в ужас: дядя Сеня мать душит.

Опомнившись, он выскочил на улицу и к соседу:

— Дядя Вася, дядя Вася! Иди скореича к нам: дядя Сеня маму душит.

— А где душит-то?

— На сеновале. На перине нашей.

Дядя Вася засмеялся:

— Ничего, пущай подушит. От этого душенья не умирают.

Прошло десять лет. Петька вырос, получил права тракториста и, напившись по этому случаю, жестоко, до полусмерти избил дядю Сеню. А потом пришел домой, снял со стены фотокарточку убитого на войне отца и ушел из дому.

Петьку искали, подавали в розыск — пропал парень.

— Ничего, объявится, — утешали соседи убитую горем мать. — Объявится. Куда ему деваться-то?

Но идут годы, сменяется одно лето другим, а от Петьки все нет и нет никаких вестей.

ПО РЕБЯЧЬЕМУ КРИКУ СОСКУЧИЛАСЬ

Зелеными холмиками, горками и горушками качусь как сказочный колобок и однажды вкатываюсь в деревню, широкая улица которой поросла курчавой травкой-муравкой, и по той травке по муравке ни единой телеги, ни единой машины не проехало.

У первого дома под старыми окошками, щедро, по-ярославски украшенными кружевными наличниками, — старая старуха. Сидит на завалинке, опершись острым подбородком на батожок, и вся в слезах.

— Что, бабушка, случилось? Из-за чего плачешь?

— А из-за тоски, батюшко. По ребячьему крику соскучилась. Раньше у нас об эту пору звоном звенит деревня от ребячьего крика, а ныне ни одного ребятенка малого во всей деревне не осталось.

СЫНОВЬЯ И ВНУКИ

— Говорят, один сын не сын, два сына полсына, а вот три сына — сын. А у меня четыре было и одного не вышло. На войну ушли и всех убило. На трех месяцах четыре похоронных мне подкатило! Дак как, думаешь, легко мне было?

Первой был Оленька, Олексан, второй сын Петрышко, а третей сын Семенушко, а четвертый был Иванушко, тот уж поздно родился, через семь годов после Семена.

Внучка на той неделе карточки со стены сняла, в школу поносит: «Бабушка, которого пуще жалко? Папу (от старшего, от Ольки) але дядю которого?» А укуси, говорю, себе перстышек один, да другой, да третий, да четвертый — которому пуще больно? Дак так же сын: кажной у меня под сердцем лежал.

Семенушко, бывало, придет да говорит-говорит, все

расскажет: как роблю, сколько получаю, мама. Да принесет хлеба, да скусного чего, да все на стол и выложит:

— Ешь, мама!

— Что ты, парень, говорю. Неладно ведь эдак-то. Мы с тобой исть-пить середь бела дня сели, а молодка на работе. Так, говорю, и жены лишиться можно, не прежние времена.

Засмеется:

— Я завтре опеть наберу всего в лавке.

Не посудачу, не посудачу ни на которого: все сыновья, что Олексан, что Петрышко, что Иванушко, почитали матерь. Все.

Теперь внучата есть, от Иванушка только росточка не осталось, тот сам росточек был, семнадцати годков на войну взяли. Ничего ребятка, бабку не обижают, всех бабка выростила, и с деньгами живу: за старшего двадцать два рубля получаю. Ну, радости нету от внуков, что от детей. Не поговоришь, не согреешь душу словечком.

КАК ДЕД СЕМЕН ОСРАМИЛ СВОИХ ДЕТЕЙ

У деда Семена отнялись ноги. Тяжкие дни наступили для одинокого старика. Хлеб, дрова, вода — все надо. А кто принесет? У детей оказалось волчье сердце — ни один не проведает. Выручала от случая к случаю пятнадцатилетняя внучка Лида.

Раз вечером дед Семен, прождав внучку целый день, выполз с ведром на крыльцо — пересохло горло, глотка воды с утра не выпил. И вот счастье — по дороге бежит внучка.

— Лида, принеси воды.

— Некогда! В кино бегу.

В тот же вечер дед Семен повесился у себя в избе, на жердочке возле печи.

Собравшаяся на похороны родня — сыновья, дочери и прочие — на все лады поносили старика:

— Бесстыдник! Всех нас осрамил. Большая беда — воды не принесли. А в войну-то как жили — забыл? Хлеба по неделям не видали.

ВЫ НА СЕВЕРЕ...

Шофер выручил: посреди дороги подобрал с тяжелой сумкой. Когда приехали на аэродром, я протянул пятерку: заслужил! Не взял. Спокойно, но с достоинством сказал:

— Вы на Севере, а не на Юге.

ПАМЯТКА

— А теперь давай за дядю Толю.

— За дядю Толю? Не пьют за мертвых-то.

— Ерунда! Дядя Толя для меня и мертвый живее всех живых. Знаешь, как он погиб? В сорок втором году дядя Толя попал к немцам в плен, но его как местного жителя (мы родом с Крыма) отпустили, и он стал работать на электростанции техником. Там, где и до войны работал. И вот нашлись суки — выдали дядю Толю гестапо... Связь с партизанами, секретарь парткома... Дядя Толя действительно был связан с партизанами, но секретарем парткома никогда не был. Выпивоха, скандалист, первый хулиган в поселке — да его на пушечный выстрел к партии не подпустили бы, даже если бы и хотел.

Вот перед смертью, когда уж на расстрел повели, дядя Толя и послал прощальный привет бабушке, своей матери. Сперва хотел было записку, да бумаги не приве-

лось, ну он и выдрал из головы клок волос с кожей. Понимаешь? Выдрал и со знакомым из охраны передал.

Бабушка до девяноста пяти прожила. А когда умирала, передала эту памятку самому младшему в нашем роду.

БОСИКОМ

По утоптанной, хорошо нагретой обочине песчаной улицы бежит Наденька-зоотехник. Росточком невелика, не в нынешних акселератов, но такая славная, такая беленькая, так красиво перебирает крепкими, еще не успевшими загореть ногами в красных босоножках, что глаз не отвести.

Вдруг Наденька круто затормозила, припала к земле.

— Что случилось? Не ногу подвернула?

— Нет, босиком пробежаться решила. Шла-шла да вспомнила, как в детстве бегала, ну, нету терпенья. А ладно, думаю, пускай смеются, кому хочется.

И в следующую минуту Наденька, держа в руках босоножки, уже строчила середкой улицы.

И я смотрел-смотрел на ее сверкающие на солнце сытенькие ножки, на всю ее млеющую от удовольствия плотненькую фигурку с высоко поднятой льняной головкой и тоже начал снимать туфли.

VI

УРОК

(Рассказ старого рабочего)

— Выключатель у меня перегорел. Иду к управдому: так и так, авария дома небольшая. Пришлите рабочего. «Пиши заявление». — «Я неграмотный». Принципиально

не захотел писать. Что это такое? По каждому пустяку бумажка. Ну, заявление за меня написали — из уважения к годам.

Ладно. Назавтра жду. Утром нету, днем нету, является минут за пятнадцать до окончания работы. Молодой парень. Нынешняя, так сказать, рабочая смена.

— Чего у вас?

— Света нету. С выключателем, наверно, что-то не в порядке.

Потрогал выключатель, покрутил головой:

— Сегодня не успею. Работа тут немалая. Придется до завтрашнего дня подождать.

— А почему же, — говорю, — ты раньше-то не пришел?

— А раньше никак нельзя было. Раньше в других квартирах чинил...

— Значит, без света мне сидеть?

— Да уж так, — смеется.

— Посмотри-ка, — говорю, — на часы на стене. Сколько там накачало? Без десяти семь?

— Без десяти.

— Садись, — говорю.

Подал ему табуретку, сам снял пиджак, надел фартук, надел очки, раскрыл у него чемоданчик, взял отвертку. Починил за семь минут.

— Ну, — спрашиваю, — сколько надо времени, чтобы починить выключатель?

Ухмыляется:

— А зачем же вызывать, раз сами все умеете?

— А затем, — говорю, — чтобы на тебя, подлеца, посмотреть.

— Но-но...

— Без «но»! Сиди и слушай, что тебе говорят. Ты это почему же пришел ко мне без четверти семь, а не раньше? Чтобы бутылку с меня сорвать, да?

— Папаша, попрошу советского рабочего не оскорблять.

— Какой ты, к дьяволу, рабочий! Ты мерзавец, а не рабочий. Рабочий это я. Потому что у меня совесть рабочая есть. Понятно тебе, что такое рабочий?

Тут работяга заговорил уже другим голосом:

— Дедушка, не сердись. Выпить-то кому не хочется, а где возьмешь денег? Семья. Жена песочит...

— Худо песочит! Вы спились, свиньи. В выходной день мертвые, в рабочий день еле ползаете. Докуда это будет?

В общем, преподал урок. Раскалил так, что сквозь землю провалишься.

Не провалился. Назавтра встречаю во дворе — на ногах не стоит.

ЗАРОК БЛОКАДНИЦЫ

Заговорили о неустроенности, о бедах сегодняшнего бытия, о всевозможных недостатках, о болезнях, которые косят людей, — что за жизнь? Что за век?

Кое-кто вздохнул, кое-кто охнул, а кое-кто даже слезу пустил. И только одна старая Наталья Александровна невозмутимо улыбалась.

— После войны я ни разу не плакала. Грех великий плакать, кто пережил блокаду да войну.

ИДУ В РЕСТОРАН

Ольгу Николаевну, молодую няню детсада, не узнать. Пришла на работу в длинной модняще́й юбке с разрезом, в туфлях на высоком каблуке, с прической, сделанной в парикмахерской.

— Что, что такое у вас, Ольга Николаевна? День рождения? Новоселье?

Ольга Николаевна поломалась сколько-то, словно для того, чтобы еще больше разжечь любопытство у сослуживиц, а потом объявила:

— Иду в ресторан!

В ресторане Ольга Николаевна в свои двадцать два года еще ни разу не была. Приехала из деревни, работала маляром, каждую копейку на одежду берегла, а потом вышла замуж, появился ребенок — тут уж и вовсе не до ресторанов.

И вот ради такого события Ольга Николаевна пошла на неслыханные жертвы. Она, получавшая шестьдесят рублей в месяц, отвалила мужу-электромонтеру (это его сослуживцы затеяли коллективный поход в ресторан) целых десять рублей. А кроме того, понесла немалые расходы на юбку, на укладку волос. А что стоило ей уговорить знакомых, чтобы оставить у них на вечер ребенка!

Весь день Ольга Николаевна была само нетерпение. Постоянно смотрела на часы, постоянно бегала к зеркалу (упаси боже сбить прическу!), постоянно надевала туфли на высоком каблуке — маловаты были, не свои, у подруги взяла.

Наконец кончился рабочий день.

Домой, домой! Муж, наверное, уже не один час ждет ее.

А назавтра Ольга Николаевна пришла мрачнее тучи.

— Что, что случилось, Ольга Николаевна? Какая беда у вас?

Полдня к Ольге Николаевне нельзя было подступиться, полдня не раскрывала рта и только потом, оказавшись с глазу на глаз в коридоре с немолодой уже, очень доброй воспитательницей, которую она любила, со слезами бросилась ей на грудь.

Не была Ольга Николаевна в ресторане. Прибежала домой, а муж лежит на диване пьяный. Не дождался вечера, пропил десять рублей.

ЛЕНЬКА БУДЕТ МЕХАНИКОМ

У писателя С. младшему сыну четыре года. И вот этакий карапуз однажды вкатывается в кабинет к отцу с разобранным замком от входных дверей.

— Леня, что ты наделал? Положи сейчас же на диван, а то потеряешь детали и шурупы — двери не закрыть.

С. был занят срочной работой, взяться за замок сразу самому было некогда, а когда освободился — замка на диване не было.

— Леня, Леня, где замок?

Леня входит к отцу и радостно улыбается.

— Замок, говорю, где?

— В дверях.

— Как в дверях?

С. выбежал в переднюю и глазам своим не верит: замок действительно в дверях. Все на месте, все шурупы, все винтики ввинчены, и сделал это четырехлетний ребенок!

С тех пор С. всем говорит:

— Ленька будет механиком!

ТАК И ТАЛАНТ ЗАГУБИТЬ МОЖНО

Тетя Паша, семидесятипятилетняя старуха, ни дня, ни часу не училась поварскому делу. Но мне в первоклассных ресторанах не доводилось обедать так вкусно, как у нее.

Тетя Паша не кухарничала — колдовала. Варит, скажем, она суп. Сельдерея, петрушки, укропчика, еще какой травки положит — это само собой. Но зачерпнет ложкой суп, попробует — не то.

Думает, хмурится, пожимает плечами: не хватает чего-то. А чего?

«А ну-ка брошу сухой грибок».

Бросила, опять попробовала и разъехалась в широченной улыбке: вот теперь что надо.

И так с любым блюдом — всегда что-нибудь сотворит неожиданное, найдет никем не предусмотренную приправу, подливу.

У нас тетя Паша прожила полгода, а затем мы расстались.

— Неинтересно для вас готовить. Малоежки, — сказала она на прощанье и пошутила: — Так с вами и талант загубить можно.

ПЛАН ВЫПОЛНЯЕМ

Апрельское утро, на улице весна, солнце, от земли пар, а батареи в квартире раскалены — дышать нечем.

Звоню управдому:

— Что вы делаете?

— А ничего особенного. План выполняем по реализации топлива.

— А зимой, когда было холодно в квартире, как на улице, какой план выполняли?

Смеется:

— А зимой мы выполняем план по экономии топлива.

НА ТЕМУ ВОСПИТАНИЯ

Виктор Васильцов три года воспитывал племянника-сироту, и что же? К семнадцати годам племянник стал законченным прохвостом.

— Валька, — раз Виктор спросил племянника, — скажи, бога ради, где ты набрался всякой мерзости и пакости?

— У тебя, дядя Витя, — глазом не моргнув, ответил Валька.

— Как у меня? Да разве я когда плохому тебя учил?

— А ты подумай, подумай.

Виктор подумал и заколебался: а может, и в самом деле от него? Ведь он, чтобы правильно, на конкретных примерах воспитывать парнишку, литературку всякую подчитывал — и свою, и зарубежную. Авторитетов на помощь призывал.

Только вот вопрос: почему же он, сукин сын, отбросил все хорошее, положительное, а все плохое, отрицательное взял на вооружение?

СОВЕСТЬ

(Из жизни одного известного ученого)

В десятом классе наголо, под нулевку остриг волосы. Чтобы не ходить на танцы, не убивать время на пустяки. А как же? Мать работает прачкой, по двенадцати часов стоит у корыта, а он развлекаться будет?

Каждый час, каждую минуту — математике!

ДОЧЕРИ

Гостиница в Москве. Горничная. Сгорбленная, бесцветная, худая, без зубов, старуха старухой.

— Сколько же вам лет, бабушка?

— Не бабушка я. Бабушкой-то меня жизнь сделала. Муж умер в пятьдесят восьмом году, оставил четырех детей. И вот всех я вырастила, всем дала образование, а сама осталась без пенсии.

— ??

— На службу не поступала. 70—80 рублей дадут — разве прокормишь их? Вот я и ломила где только могла. Всем подрабатывала: стиркой, нянькой была, шила... Да всего не перечислишь.

— Ну, я думаю, такую мать без пенсии прокормить можно.

Старуха вдруг расплакалась.

— Что вы, не только не кормят, на порог не пускают. Одна в Алжире была — матери стыдится, у другой муж видеть меня не хочет... А третья... Третья привезла ко мне на днях Алешку, внучонка: поводись. Я поводилась день, а вечером повезла к ним. Только разделась, не успела отпыхаться: «Мама, собирайся: у нас гости будут». Разговор услышала внучка Ирочка, пятнадцати лет: «Мама, что ты делаешь, ведь это наша бабушка». — «Не суйся, когда не спрашивают».

Ну, я оделась. Попомни, говорю, мое слово: и ты будешь старухой. И тебя дети выгонят.

Вздохнув, старуха продолжала:

— Четвертая дочь — парикмахер. Эта бы и ничего, терпит меня, так гулена. Связалась с одним шестидесятилетним. А его посадили — растратчик. Вот и переживает. На семнадцать килограмм похудела. А такая была красавица. Как игрушечка. Сюда зайдет, не верят, что у меня дочь такая. А теперь попивает, каждый день попивает. Деньги есть. С одного Бориса двадцать пять рублей получает, мастер своего дела. Борис — епископ какой-то. Раз в месяц на машине приезжает. Голову вымоет, подстрижет — двадцать пять рублей. Ну и скажет: мама, сходи за бутылкой...

ЗАВЕТ ОТЦА

Илью Мироновича ценили и почитали на фабрике. Лучший столяр. По тем же стандартам работал, что и

другие, но как все делал! Прочно, чисто, красиво. Глаз не оторвешь от его изделий. И потому продукция Мироновича до широкого покупателя не доходила. Ее скупали, что называется, на корню. На нее на самой фабрике была очередь, список специальный даже был заведен.

Но вот пришел новый директор — и сразу же выговор Мироновичу за невыполнение плана.

Миронович подал заявление об уходе.

На фабрике поднялся чуть ли не бунт. Его упрашивали, уговаривали товарищи: дескать, не валяй дурака! Кто уходит с работы за восемь месяцев до пенсии?

Но старик был неумолим.

— Нет, — сказал он, — я так не могу работать. Мне еще отец говорил: «Не сколько сделал, а как сделал». И я этому завету следовал всю жизнь.

И ушел.

КОММУНАРКА

А. Л., работница швейной фабрики, выросшая в большой коммунальной квартире, всю жизнь мечтала об отдельном жилье.

В кухне — одна, как царица, восседаешь на престоле, утром в уборную — без очереди, ванная — хоть каждый день булькайся... Господи, да это же рай земной, а не жизнь!

И вот наконец, незадолго до ухода на пенсию, А. Л. дали отдельную однокомнатную квартирку.

Первые месяцы А. Л. блаженствовала: отделывала и обставляла ее, раз пять справляла новоселье, принимала подруг и гостей. А потом, когда все это кончилось, на нее вдруг напала тоска. Она даже телом стала сохнуть.

Ее послали в санаторий. Не помогло. Она начала ходить по врачам — все не в радость жизнь. И только после

того, как однажды по случаю дня рождения подруги она снова оказалась в старой коммуналке, А. Л. впервые за последние месяцы ожила душой.

У нее не хватило решимости расстаться со своей новенькой квартиркой, но с этой поры она редкий день не заходила на старое пепелище. И, как бы оправдываясь перед жильцами коммуналки, всякий раз приговаривала:

— Коммунаркой родилась, коммунаркой умру.

РЕДКОЕ ЕДИНОГЛАСИЕ

(Рассказ шофера такси)

Пошли с женой в Русский музей на выставку. Картины смотреть. Суббота — делать нечего, не все же на бутылку глядеть.

Ладно, ходим, смотрим, толкаемся. Публики — навалом. Вдруг, вижу, жена тормоза включила и давай крутить вокруг одной картины. «Чего, говорю, вертишься? Не видишь разве — мазня?» А мазня и есть: какие-то обезьяны вместо строительных рабочих. Даже стена-то черт-те что — как будто человек кирпича в жизни не видал.

А рядом дядя мордастый. В очках. «Ты... Поросенок! Не понимаешь — помалкивай!» Это мне, значит. «А ты, говорю, свинья, раз я поросенок».

Ну, тут кое-кто в смех. Потому как дядя этот, художник, надо быть, может, еще автор этой самой картины, действительно свинья — центнера на полтора будет. Кричит: «Я тебя в милицию за оскорбление сдам».

Сбежался народ. Как, что? Из-за чего сыр-бор? «Да вот, говорю, картина, говорю, мазня, а товарищ не согласен».

Ну, русский народ, сами знаете, какой: каждый посвоему судит, а тут сразу все: мазня!

СОВСЕМ В ДУХЕ ЗОЩЕНКО

Бориса М. забрали в милицию.

Идет по улице: пальтишко мятое-перемятое, без пуговиц, запахнуто как халат, руки в рукавах, волосня как у батьки Махно и еще шатается (у Бориса одна нога от рождения короче другой) — подозрительный тип!

В милиции донельзя возмущенный Борис начал было качать права: безобразие! вам это так не пройдет! — а потом, после того как его маленько тряхнули, сразу стих и назвался писателем.

— Все ясно! — с довольной ухмылкой сказал капитан. — Я с самого начала подумал, что из психушки сбежал. — И взялся за телефон.

— Да не звоните, — сказала приведшаяся тут женщина в гражданском, — писатель. Знаю. На Звездной живет, дом номер...

При этих словах не очень избалованный читательским вниманием Борис М. просто просиял: вот же, знает его народ!

Но увы, народ знал его как квартиронеплательщика, ибо вслед за тем женщина (она оказалась из жилконторы) разъяренно прошипела:

— А за квартиру-то надо платить, хоть вы и писатель!

А Я КОГО ВЫСТАВЛЮ?

(Почти по Чехову)

— Опять звонил твой драгоценный друг.

— Хвостенко, что ли? — Его имя этим эпитетом обычно сопровождает жена.

— А кто же больше!

— Насчет свадьбы?

— Да. Не забудьте, говорит, второго,

— Ну, ты сказала, что я за границу собираюсь?

— Сказала. Так он просто взмолился, только что не зарыдал. Пускай, говорит, отложит свою заграницу. Мне нельзя без него.

— Где нельзя без меня? На свадьбе?

— Ну. Отец у жениха зампредседателя облисполкома, а я, говорит, кого выставлю? А я выставлю писателя.

САША ШУЛЕВ ЗАПЛЯСАЛ

За новогодний стол сели рано. За добрый час до боя кремлевских курантов. Ну и что делать? Как убить время?

— А давайте вспомним самый счастливый день в уходящем году.

И вот пошли рассказы: про выход новой книги, про защиту диссертации, про премьеру, про любовь. . .

— А у тебя какой самый счастливый день, Феня? — спросили у дальней родственницы хозяйки.

Феня, и без того застенчивая, робкая, приткнувшаяся к столу с краешка от дверей, как серая утушка, тут растерялась так, что слезы выступили на глазах:

— А у меня ничего такого творческого. Ни книг, ни любви. Разве только когда Саша заплясал на елке. . .

— Какой Саша?

— Мальчик. Три годика ему. Я в садике воспитательницей работаю. Когда я пришла к ним в группу, Саша не ходил. Все лежал. Рахитик. Живот. Ножки ухватиком. Ужас! И мать непутевая. Когда возьмет ребенка домой, когда нет. В общем, ужас, ужас. Без улыбки ребенок. При мне начал улыбаться. А вчера, — Феня опять прослезилась, — все матери пришли на елку, а та гулена не пришла. Я взяла Сашу за ручку: «Дети, Дед Мороз

всем велел плясать, тогда весь год счастливый будет». И что вы думаете? Ой, не могу! Саша у меня всех больше плясал. Попа отвисла, ноги ухватом, живот... А он пóтом обливается да пляшет. «Сашенька, отдохни, Сашенька, хватит...» Не отдыхает. Очень уж ему хотелось, чтобы у него год счастливый был.

КТО О ЧЕМ МЕЧТАЕТ

— Между прочим, я любитель по помойкам шататься. Помойка — мой хлеб. Диван выбросили — бегу. Фанера сохранилась, клопы сохранились. Клопы — не надо, фанера пригодится. Дурак выкидывает, а умный подбирает и тому же дураку продает. Не веришь? Заливает Карлин? В ту субботу по помойкам маршрут с утра дал, вижу, дверь валяется. К дому своему притащил, на виду у всех отремонтировал — налетай, кто зимой тепло в своих покоях любит! И вот не прошло и десяти минут — ученый хмырик в очках. Профессор какой-нибудь. Весь коридор в книгах, даже на полу книги. «Желательно вторую дверь поставить — беспокойство с площадки». Пожалуйста. Дверь поставил, лаком мазнул — все довольны: хозяин доволен, и я доволен — пятьдесят рублей.

В другой раз идем с женой из кино. Жена поет: оченно красиво кино, про любовь. А я: извини, дай тормоза на минутку. А как не тормоза? Во дворе — помойка. Цветмет за версту играет. Кастрюля дюралевая — 20 копеек килограмм, бронза-медь — 30 копеек...

Нет, нет, последний год на стройке ишачу. Квартирку получу — и в мусорщики. Жена да дочь фыркают: позорная профессия. А чем позорная? Воровать, что ли, собираюсь? Вон у меня знакомый мусорщик. В новом доме, в подвале, обосновался. Что тебе кабинет. Все по полочкам, по порядочку разложено, рассортировано: кости от-

дельно, бумага отдельно, сукно отдельно. Любо войти. Сам себе начальник, сам себе подчиненный. Хочу работаю, хочу в кресло (вот такой бандурой обзавелся), и будем здоровы. Не ради выпивки, а ради продления жизни.

ВЫБОР

Ирма Э. родилась с музыкой в крови, как говорила ее мать. За короткое время она успешно сдала теоретические дисциплины за консерваторию. Видные музыканты предсказывали ей завидное будущее.

— Но кто же за тебя будет строить социализм? — сказал ей однажды старый отец, рабочий-железнодорожник (страна поднималась на первую пятилетку). — Бренчать на фортепьянах — это твой вклад в строительство нового мира?

И Ирма Э. со слезами на глазах бросила консерваторию и поступила в университет, на геологический факультет.

ИЗВЕЧНЫЙ СЮЖЕТ

Двенадцатилетняя Оля — прелесть девочка! — вернулась из пионерлагеря.

— Ну, как в лагере?

— Ничего... Вчера к нам мальчики приходили. — Поиграла кокетливо голубыми глазками и добавила: — Ночью.

— Ночью? Куда приходили?

— В спальню.

— Но почему ночью?

— А мы сказали: слабо вам прийти ночью. Вот они и пришли.

— Ну и что вы делали?

— Баловались.

Извечный сюжет всех времен и всех народов — девочки и мальчики...

ФИЛЬКА

— Почему под парами-то с утра? А Фильку помянул. Сороковку справляю по своему коту. Соседка-сука на шестьдесят копеек позарилась. Этим живодерам, ну, тем, которые собак да кошек для опытов ловят, сдала. Полсердца у меня отняла, ей-богу.

Ну и кот был, скажу тебе, умнющий! Это все враки: собака умнее кошки. Ничего подобного. Утром — не надо будильника. Шесть часов — точно: лапой по лицу. По-культурному, конечно, когти уберет. А иди ты, Филька, к богу в рай.

Отвернешься, перевалишься на другой бок, а он с другой стороны, опять тебя по ряхе: иди. На работу иди. Что и говорить — сознательность!

Или вот, к примеру, насчет выпивона. Ну, тут предатель. Каждый раз голову на лапки и глазами к двери. Как узнаёт, непонятно. Интуиция какая-то, телепатия.

Супружница — вхожу — мне с ходу:

— Опять натрескался?

— Никак нет. Нюхай на. — А я все меры принял, чтобы запахи в себе загасить.

— А Филька-то, смотри, что показывает?

И вот еще покойник чистоту любил. Это чтобы там нагадить где-либо — ни-ни. Только в ящичек, на песочек. А с улицы вернется — в грязи вывалялся: мойте! Сам к ванной идет, в дверь лапой.

Вот какой у меня кот был. Мне говорят: другого заведи. Есть из-за чего разоряться. Нет, другого кота у меня не будет. Во всю жизнь не будет.

КОШКА-САМОУБИЙЦА

На трамвайной линии, напротив нашего дома, худая серая кошка, и, должно быть, очень старая.

Идет трамвай, звонит. Кошка ни с места. Трамвай останавливается. Кондуктор берет на руки кошку, относит на панель. Но кошка снова бредет на рельсы. И вид у нее при этом такой, словно она во что бы то ни стало решила покончить с собой.

И снова останавливается трамвай, и снова кошку относят на панель.

Странно! С ума спятила кошка, или и в жизни кошки бывают такие минуты, когда хочется броситься на рельсы?

ИЗ ВОЙНЫ

— Я не люблю про войну вспоминать. В школу зовут на вечер, нет, говорю, я думать про войну не могу, а не то что рассказывать.

В сорок втором меня призвали, восемнадцать полных не было, и на Волховский фронт, в минерный батальон из девушек. По ночам от мин расчищали нейтральную полосу, подготавливали для наступающих танков и пехоты. Мины свои, мины немецкие — поди угадай, как они установлены. Ну, и рвались. Много наших девушек подорвалось, многие калеками стали. Под Москвой живет моя подруга, двадцать третьего года рождения. Зоя. Без обеих ног.

Раз прислали к нам парней-казахов. Ничего не умеют. Один — ночью было — кричит с полосы:

— Где тут мины? Ничего не видно.

— Зоя, — говорю, — иди. Помоги ему.

Зоя только ступила — бах.

На моей, на моей совести эта девушка. Я дала двести грамм крови, а ног не дашь. Теперь вот все пишет: приезжай да приезжай. А как я поеду? Как ей в глаза гляну?

РАДОСТЬ

После премьеры зашли к артистам и проговорили чуть не до двух часов ночи. Выскочили в величайшей тревоге: как доберемся домой — вот-вот разведут мосты через Неву.

На счастье попался какой-то запоздалый лихач в маленькой, неказистой машинешке.

— Бога ради, выручите!

— Да я, право, не знаю, — замялся хозяин машины, явно набивая цену.

— Любые деньги плачу!

В общем, уговорили.

Сперва отвезли молоденькую артистку, а уже потом, счастливые, подкатили к своему дому.

— Сколько? — спрашиваю. — Пятерка устроит?

— Н-не на-до. . .

Я вытащил еще пятерку. Пес с тобой! Кабы не ты, может, еще и сейчас бы загорали возле театра или Невы.

Хозяин машины уже четко, без малейшего заикания сказал:

— Я денег не беру и не хочу учиться брать.

Я не сразу понял, что произошло. А потом от счастья, от радости (впервые встречаю такого частника!) я едва

не бросился ему на шею и кончил тем, что протянул букет цветов — подарок от артистов.

— А вот цветы приму с удовольствием, — сказал водитель. — Спасибо.

И я почувствовал, как в темноте, блеснув очками, он мягко улыбается.

И я тоже начал улыбаться.

Улыбался на улице, посылая ему прощальный привет. И улыбался дома, ложась в постель.

VII

> У русского народа на все есть слово:
> и на велик день, и на велико сиротство.

— Все стареет: человек стареет, скотина стареет, одно солнышко не стареет.

— Не гляди на того, кто живет хорошо, а гляди на того, кто худо.

— Ешь досыта, работай до слез.

— Царство ей небесное! До самой смерти живой была.

— У нас семья о девяти человек была, работник один — отец, да и тот с подорванным здоровьем, в лесу простудился: мы не уели сладко, не уносили гладко да и не успали мягко. Бедно жили.

— Не теперь сказано: сын-то мой, а ум-то свой.

— Все хорошо в жизни не бывает, все плохо — бывает.

— Чем людей маять, лучше самому маяться.

— Тонули — топор сулили, вытащили — топорища жаль.

— Живешь не человеком и умрешь не покойником.

— Три товарища, которые мешают работе: ленко да нехотенко да еще третий — ти́хонко.

— Заработки? У нас все едино: вспотела — девяносто копеек и озябла — девяносто.

— Мое дело не к утру, а к вечеру. Еще какой годик поживу — и здравствуй, мама-покоенка. Принимай к себе дочерь.

— Из сна шубы не сошьешь.

— Картошка со сластиной стала — весну чует.

— Какой я дедушка — в отцах не бывал.

— Ну и сноха! Пошла — молчит, нашла — молчит, потеряла — молчит.

— В руках у мастера топор любую песню споет.

— Скуп не глуп — себе добра хочет.

— Да его на Пинеге не то что люди — каждый комар в лицо знает.

— Она к тебе бархатным боком поворачивается, потому ты ей и любишь.

— У меня характер как климат: резко континентальный.

— Она идет как палка, а я иду — каждая жилочка играет.

— Живешь ты в полчеловека.

— Я табунный конь: куда люди, туда и я.

— Чего тут толковать? Ясное дело — темное дело.

— Я съездил на Соловки и осоловел на всю жизнь.

— Комары едучие — переливание крови делают.

— Вот баба! Как грановитая палата!

— Есть указание быть самостоятельным.

— Домá на Северной Двине гордые, как Ломоносов

— У тебя талант не настраивать, а расстраивать.

— У его какие товарищи: коньякович, спотыкович да перцович.

— Худо жили: бил меня. Да не кулаками — кулаков-то жалко было — а чем пóпадя.

— С ним легко жить-то: он ладило, всем угодит.

— Какая была — на одни двухи училась, а теперь икономист.

— Я не на суд к тебе пришел, а на рассуд.

— Ты сказала «да» хуже чем «нет».

— Мне некогда быть человеком — всё с работой.

— Не учись экономить, а учись зарабатывать.

— Красивой не бывала, а молодой была.

— Ем, ем телевизор каждый день, а что толку? Как раньше ничего не понимал, так и тепере.

— Ну мы, мужики, топорной работы, а вы-то ученые — из-под фуганка. Так шлифуйте нас.

— Сейчас все: мать-перемать. При детях выворачивают. А у нас как, бывало, отец: «Варуха, сбегай-ко в кусты — я матюкнуться хочу».

— «На» — шепотом слышит, «дай» — ором ори, не откликнется.

— Он какой у ей, мужик-от? На обухе рожь обмолотит — зерна не уронит.

— Он вином разведен и табаком замешóн. Неужто выдавать девку будете?

— С его что взять? Совесть под каблуком, стыд под подошвой.

Нервы

— У ей какие-то нервы. С бабами але с кем разругается, полчаса бегает вокруг дома да про себя ругается. Никак не может обыреть (отойти).

— Да и весь народ пошел нервенный — слова не скажи. Все нервы, все нервы — у каждого. Откуда они взялись? Раньше кабыть их не было. Мы, бывало, ни про какие нервы не слыхали...

Печка в три дыма

— Шурка, ты, говорят, печи хорошо кладешь?

— Кладу. В три дыма: в двери, в окошко и в трубу немножко.

Хорошие дрова

— Это у тебя, Александр, не дрова, а у́потень. Вишь, вершинник как завит. Нет, хорошая-то чурка сама, с испугу колется. Ты колуном ее еще не задел, а она уже разлетелась. Сама. С испугу.

Максимовна

— Что это тебя, Максимовна, так к земле пригнуло?

— Как не пригнет... У сердца-то моего сколько лежало... Пятеро своих, да сына трое, да дочери четверо.

Отчего глаза светлые

— У тебя глаза-то светлые, а у девок твоих черные. В кого?

— В кого, в кого? Девки-то не много плакали. У матери-то тоже были черные. Это от слез облезли, слезой краску-то съело.

Старик-жизнелюб

Жил — не терпел часов.

— И так жизнь коротка, а тут по часам время измерять.

— Ты меня, говорят, ругаешь?

— В глаза я тебя не ругала, а по заглаз и царя ругают.

— Чего он меня тыкает?

— Лучше тыкать, чем с подвохом выкать.

— Отчаливаю на тот свет.

— Ничего, и на том свете жить можно: никто еще не воротился назад.

— Быстро у тебя грипп прошел. Чем лечил?

— Ничем. На морозе выморозил.

— Понравился Ленинград?

— Не.

— А что так?

— Больно каменный. У нас, в Архангельске, и то лучше. Вперемежку камень с деревом.

— Северянин — не теперь сказано: под ногой доска, в животе треска, в голове тоска.

— А вот тоски-то и нету.

— Если у нас нет сил переделать жизнь, то надо иметь мужество хоть бы передумать ее.

— Перед хорошим человеком мы всегда в долгу.

— Мужество надо упражнять, иначе оно ржавеет.

— Улыбнись — и миру станет лучше.

— Сотвори мир в душе и пошли его людям.

Последние слова Александра Яшина:

— Пишут, пишут... А все сводится к четырем словам: Жизнь. Смерть. Правда. Ложь.

1955—1980


ПОВЕСТИ

ПЕЛАГЕЯ

1

Утром со свежими силами Пелагея легко брала полутораверстовый путь от дома до пекарни. По лугу бежала босиком, как бы играючи, полоща ноги в холодной травяной росе. Сонную, румяную реку раздвигала осиновой долбленкой, как утюгом. И по песчаной косе тоже шла ходко, почти не замечая ее вязкой, засасывающей зыби.

А вечером — нет. Вечером, после целого дня возни и хлопот у раскаленной печи, одна мысль о возвратной дороге приводила ее в ужас.

Особенно тяжело давалась ей песчаная коса, которая начинается сразу же под угором, внизу у пекарни. Жара — зноем пышет каждая накалившаяся за день песчинка. Оводы-красики беснуются — будто со всего света слетаются они в этот вечерний час сюда, на песчаный берег, где еще держится солнце. И вдобавок ноша — в одной руке сумка с хлебом, другую руку ведро с помоями рвет.

И каждый раз, бредя этим желтым адищем — иначе не назовешь, — Пелагея говорила себе: надо брать помощницу. Надо. Сколько ей еще мучиться? Уж не такие это и деньги большие — двадцать рублей, которые ей приплачивают за то, что она ломит за двоих, за троих...

Но так говорила она до той поры, пока пересохшими губами не припадала к речной воде. А утолив жажду и сполоснув лицо, она начинала уже более спокойно ду-

мать о помощнице. А на той стороне, на домашней, где горой заслоняет солнце и где даже ветерком слегка потягивает, к ней и вовсе возвращался здравый смысл.

Неплохо, неплохо иметь помощницу, рассуждала Пелагея, шагая по плотной, уже слегка отпотевшей тропинке вдоль пахучего ржаного поля. Худо ли — все пополам: и дрова и вода. И тесто месить — не надо одной руки выворачивать. Да ведь будет помощница — будет и глаз. А будет глаз — и помои пожиже будут. Не набахаешь в ведро теста — поопасешься. А раз не набахаешь, и борова на семь пудов не выкормишь. Вот ведь она, помощница-то, каким боком выйдет. И поневоле тут поразмыслишь да пораскинешь умом...

У мостков за лыву — грязную осотистую озерину, в которой, отфыркиваясь, по колено бродила пегая кобыла с жеребенком, — Пелагея остановилась передохнуть. Тут всегда она отдыхает — и летом и зимой, с сорок седьмого. С той самой поры, как встала на пекарню. Потому что деревенская гора немалая — без отдыха не осилишь.

На всякий случай ведро с помоями она прикрыла белым ситцевым платком, который сняла с головы, поправила волосы — жиденькую бесцветную кудельку, собранную сзади в короткий хвостик (нельзя ей показываться растрепой на люди — девья матерь), затем по привычке подняла глаза к черемухову кусту на горе — там, возле старой, прокоптелой бани, каждый вечер поджидает ее Павел.

Было время, и недавно еще, — не на горе, у реки встречал ее муж. А осенью, в самую темень, выходил с фонарем. Ставь, жена, ногу смело. Не упадешь. А уж по дому своему — надо правду говорить — она не знала забот. И утром печь истопит, и корову обрядит, и воды наносит, а ежели минутка свободная выпадет, и на пекарню прибежит: на неделю — на две дров наготовит. А теперь Павел болен, с весны за сердце рукой хватается, и все — и дом и пекарня, — все на ней одной.

Глаза у Пелагеи были острые — кажется, это единственное, что не выгорело у печи, — и она сразу увидела: пусто возле куста, нету Павла.

Она охнула. Что с Павлом? Где Алька? Не беда ли какая стряслась дома?

И, позабыв про отдых, про усталость, она схватила с земли ведро с помоями, схватила сумку с хлебом и звонко-звонко зашлепала по воде шатучими жердинами, перекинутыми за лыву.

2

Павел, в белых полотняных подштанниках, в мягких валяных опорках, в стеганой безрукавке с ее плеча, — она терпеть не могла этого стариковского вида! — сидел на кровати и, по всему видать, только что проснулся: лицо потное, бледное, мокрые волосы на голове скатались в косицы...

— На, господи, не вылежался! — выпалила она прямо с порога. — Мало ночи да дня — уже и вечера прихватываешь.

— Нездоровится мне ноне, — виновато потупился Павел.

— Да уж как ни нездоровится, а до угора-то, думаю, мог бы дойти. И сено, — Пелагея кивнула в сторону окошка за передком никелированной кровати, — срам людей — с утра валяется. Для того я вставала ни свет ни заря? Сам не можешь — дочи есть, а то бы и сестрицу дорогую кликнул. Невелика барыня!

— День андела у Онисьи сегодня.

— Большой праздник! Отпали бы руки, ежели бы брату родному пособила.

Хлопая пыльными, все еще не остывшими сапогами, которые плотнее обычного сидели на затекшей ноге, Пелагея оглянула комнату — просторную, чистую, со свет-

лым крашеным полом, с белыми тюлевыми занавесками во все окно, с жирным фикусом, царственно возвышающимся в переднем углу. Взглядом задержалась на ярко-красном платье с белым ремешком, небрежно брошенном на стул возле комода, на котором сверкали новехонькие, еще ни разу не гретые самовары.

— А та где, кобыла?

— Ушла. Девка — известно.

— Вот как, вот как у нас! Сам весь день на вылежке, дочи дома не оследится, а мати хоть убейся. Одной мне надо...

Пелагея наконец скинула сапоги и повалилась на пол. Без всякой подстилки. Прямо на голый крашеный пол.

Минут пять, а то и больше лежала она недвижно, с закрытыми глазами, тяжело, с присвистом дыша. Потом дыхание у нее постепенно выровнялось — крашеный пол хорошо вытягивает жар из тела, — и она, повернувшись лицом к мужу, стала спрашивать его о домашних делах.

Самая главная и самая тяжелая работа по дому была сделана — Алька и корову подоила, и травы наутро принесла. Еще ей радость доставил самоварчик, который, поджидая ее, согрел Павел, — не все, оказывается, давил койку человек, справил свое дело и сегодня.

Она встала, выпила подряд пять чашек крепкого чаю без сахара — пустым-то чаем скорее зальешь жар внутри, потом приподняла занавеску на окне и опять посмотрела в огород. Лежит сено, целый день лежит, а ей уж не прибрать сегодня — отпали руки и ноги...

— Нет, не могу, — сказала она и снова повалилась на пол, на этот раз на ватник, услужливо разостланный мужем. — За вином-то сходил — нет? — спросила она немного погодя.

— Сходил. Взял две бутылки.

— Ну, то ладно, ладно, мужик, — уже другим голосом заговорила Пелагея. — Надо вино-то. Может, кто зайдет сегодня. Много ноне вина-то закупают?

— Закупают. Не все еще уехали к дальним сенам. Петр Иванович много брал. И белого и красного.

— Как уж не много, — вздохнула Пелагея. — Большие гости будут. Антонида, говорят, приехала, ученье кончила. Не видал?

— Нет.

— Приехала — поминал даве начальник орса. Из района, говорит, на катере вместе с военным ехала, с офицером, — вроде как на природу поинтересоваться захотела. А какая природа? Жениха ловит, взамуж выскочить поскорее хочет. — Пелагея помолчала. — А тебе уж ничего не говорил? Не звал на чашку чая?

Павел пожал плечами.

— Вишь вот, вишь вот, как время-то бежит. Бывало, какое угощение у Петра Ивановича обходилось без нас? А теперь Павел да Пелагея не в силе — не нужны.

— Ладно, — сказал Павел, — у нас у сестры праздник. Была даве — звала.

— Нет уж, не гостья я ноне, — строго поджала губы Пелагея. — Рук-ног не чую — какие мне гости?

— Да ведь обида ей будет. День андела у человека... — несмело напомнил Павел.

— А уж как знает. Не подыхать же мне из-за ейного андела.

Как раз в эту минуту на крыльце зашаркали шаги, и — легка же на помине! — в избу вошла Анисья.

3

Анисья была на пять лет старше своего брата, но здоровьем крепкая, чернобровая, зубы белые, как репа, и все целехоньки — не скажешь, что ей за пятьдесят.

Замуж Анисья выходила три раза. Первого мужа, от которого у нее был ребенок, умерший еще до года, убили на войне. Со вторым мужем ей пришлось расстаться в сорок шестом году, когда она попала в заключение (сноп

жита унесла с поля). А третий муж — из вербованных, приехавший на лесозаготовки с Рязанщины (она его больше всех любила) — пропил у нее все до нитки, избил на прощанье и укатил к законной жене. После этого она уж больше семейного счастья не пытала. Жила вольно, мужиков от себя не отпихивала — но и близко к сердцу не подпускала.

Брата своего Анисья не то что любила — обожала: и за то, что он был у нее единственный, да к тому же хворый, и за то, что по доброте да по тихости своей никогда, ни разу не попрекнул ее за беспутную жизнь. Ну, а перед невесткой, женой Павла, — тут прямо надо говорить — просто робела. Робела и терялась, так как во всем признавала ее превосходство. Домовита — у самой Анисьи никогда не держалась копейка в руках, — жизнь загадывает вперед и в женском деле — камень.

Провожая мужа на войну — а было ей тогда девятнадцать лет, — Пелагея сказала: «На меня надейся. Никому не расчесывать моих волос, кроме тебя». И как сказала, так и сделала: за всю войну ни разу не переступила порог клуба.

И, сознавая превосходство невестки, Анисья всякий раз, когда разговаривала с нею, напускала на себя развязность, чтобы хоть на словах стать вровень. Так и сейчас.

— Чего лежишь? — сказала Анисья. — Вставай! Вино прокиснет.

— Все ты со своим вином. Не напилась.

— Да ведь как. В такой день насухо! — Анисья кивнула брату. — Давай, давай — подымай жену. И сам одевайся.

Павел потупился. Анисья по-свойски взялась за его брюки, висевшие на спинке кровати.

— Не тронь ты его, бога ради! — раздраженно закричала Пелагея. — Человек не в здоровье — не видишь?

— Ну тогда хоть ты пойдем.

— И я не пойду. Лежу как убитая. Еле ноги из заречья приволокла. Меня хоть золотом осыпь — не подняться. Нет, нет, спасибо, Онисья Захаровна. Спасибо на почести. Не до гостей нам сегодня.

Анисья растерялась. По круглому румяному лицу ее пошли белые пятна.

— Да что вы, господи! Самая близкая родня... Что мне люди-то скажут...

— А пущай что хошь, то и говорят, — ответила Пелагея. — Умный человек не осудит, а на глупого я век не рассчитываю. — Затем она вдруг посмотрела на Анисью своими сухими строгими глазами, приподнялась на руке. — Ты когда встала-то нынче? А я встала, печь затопила, траву в огородце выкосила, корову подоила, а пошла за реку — ты еще кверху задницей, дым из трубы не лезет. Вот у тебя на щеках и зарево.

— Да разве я виновата?

— А я на пекарню-то пришла, — продолжала выговаривать Пелагея, — да другую печь затопила — одно полено в сажень длины, — да воды тридцать ведер подняла, да черного хлеба сто буханок налила, да еще семьдесят белого. А уж как я у печи-то стояла да жарилась, про то я не говорю. А ты на луг-то спустилась, грабелками поиграла — слышала я, как вы робили, за рекой от ваших песен стекла дрожали — да не успела пот согнать — машинка: фыр-фыр. Домой поехали... — Пелагея перевела дух, снова откинулась на фуфайку, закрыла глаза.

Павел, избегая глядеть на сестру, примирительно сказал:

— Тяжело. Известно дело — пекарня. Бывал. Знаю.

— Дак уж не придете? — дрогнувшим голосом спросила Анисья. — Может, я не так приглашаю? — И вдруг она старинным, поясным поклоном поклонилась брату: — Брателко Павел Захарович, сделай одолжение... Пелагея Прокопьевна...

Пелагея замахала руками:

— Нет, нет, Онисья Захаровна! Премного благодарны. И сами никого не звали, и к другим не пойдем. Не можем. Лежачие.

Больше Анисья не просила. Тихо, с опущенной головой вышла из избы.

— Про людей вспомнила! — хмыкнула Пелагея, когда под окошком затихли шаги. — «Что люди скажут?» А то, что она за каждые штаны имается, про то не скажут?

— Что уж, известно, — сказал Павел. — Не везет ей. А надо бы маленько-то уважить. Сестра...

— Не защищай! Сама виновата. По заслугам и почет...

Павел на это ничего не ответил. Лег на кровать и мокрыми глазами уставился в потолок.

4

Таких домов, как дом Амосовых, теперь уж не строят. Да и раньше, до войны, не много было в деревне.

Великан дом. Двухэтажный шестистенок с грудастым коньком на крыше, большой двор с поветью и сенником и сверх того еще боковая изба-зимница.

Вот с этой-то боковой избы-зимницы и начали разламывать дом — ее в сорок шестом году отхватила старшая сноха (у Захара Амосова четыре было сына, и только один из них, Павел, вернулся с войны). Затем потребовала своей доли вторая сноха — раскатали двор. И, наконец, последний удар нанесла Пелагея, решившая заново строиться на задах. По ее настоянию шестистенок разрубили пополам. И старого дома-красавца не стало...

Безобразная хоромина, напоминающая громадный бревенчатый аналой, стоит на его месте. В непогодь скрипит, качается, несмотря на то, что с двух сторон подперта слегами, а зимой еще хуже: суметы снега набивает

в сени, кое-как прикрытые сзади старыми тесницами, и Анисья всю зиму держит в избе деревянную лопату.

И все-таки что там ни говори, а весело на Анисьиной верхотуре (нижняя изба, доставшаяся третьей снохе, заколочена), и Алька любила бывать у тетки.

Высоко. Вольготно. Ласточки у самого окошка шныряют. И все видно. Видно, кто идет-едет по деревенской улице, по подгорью, видно, как весной, в половодье, большие белопалубные пароходы выплывают из-за мыса. А кроме того, у тетки всегда люди — не то что у них на задворках. Бабы тащатся из лавки — кому похвастаться покупкой? Тетке. Рабочие на выходной пришли из заречья — где посидеть за бутылкой? У тетки. Все к тетке — и проезжая шоферня, и свой брат колхозник-пьяница, и даже военные без году неделя как понаехали, а к тетке дорожку уж протоптали.

В этот праздничный вечер Альку так и кидало из избы на улицу, с улицы в избу. Хотелось везде ухватить кусок радости — и у тетки, и на улице, где уже начали появляться первые пьяные.

— Ты ведь уже не маленькая сломя-то голову летать, — заметила ей Анисья, когда та — в который уже раз за вечер! — вбежала в избу.

— А, ладно! — Алька вприпрыжку, козой перемахнула избу, вонзилась в раскрытое настежь окошко. Самое любимое это у нее занятие — оседлать подоконник да глазеть по сторонам.

Вдруг Алька резко подалась вперед, вся вытянулась.

— Тетка, тетка, эвон-то!

— Чего еще высмотрела?

— Да иди ты, иди скорей! — Алька захохотала, заерзала по табуретке.

Анисья, наставлявшая самовар у печи, за занавеской, подошла к ней сзади, вытянула шею.

— А, вон там кто, — сказала она. — Подружки.

Подружками в деревне называли Маню-большую и

Маню-маленькую. Две старухи бобылки. Одна медведица, под потолок, — это Маня-маленькая. А другая — ветошная, рвань-старушонка, да, как говорится, себе на уме. Потому и прозвище — большая. К примеру, пенсия. Дождется Маня-большая этого праздника — сперва закупит чаю, сахару, крупы, буханок десять хлеба, а потом уж пропивает что останется. А Маня-маленькая не так. Маня-маленькая, как зубоскалили в деревне, жила одну неделю в месяц — первую неделю после получки пенсии. Тут уж она развертывалась: и день и ночь шлепала в своих кирзовых сапожищах по улице, да с песнями, от которых стекла лопались в рамах. А потом Мани-маленькой не видно и не слышно было три недели. Холодная печь, три кота голодных вокруг да уголь на брусе, которым она отмечала на потолке оставшиеся до получки дни.

Подружки стояли посреди пыльной улицы, по которой только что прогнали колхозное стадо. Маня-маленькая невозмутимо, в своем всегдашнем синем платке, повязанном спереди наподобие двускатной крыши, а Маня-большая, задрав кверху голову и слегка покачиваясь, что-то втолковывала ей, для убедительности размахивая темным пальцем у нее под носом.

— Чего-то вот тоже маракуют меж собой, — усмехнулась Алька.

— Люди ведь, — сказала Анисья.

— Манька-то маленькая вроде не в духе. Горло, наверно, сухое.

— С чего быть не сухому-то. У ей самая трезвость сичас. Это та хитрюга с толку сбивает. Вишь ведь, пальцем-то водит. Наверно, траву подговаривает продать.

— Какую? — Алька живо обернулась к тетке. — Это в огородце-то котора? Надо бы маме сказать. Сейчас за винище-то она дешево отдаст.

— Ладно, давай — чего старуху обижать. Не сейчас надо торговать.

— Тетка, — сказала немного погодя Алька, — я позову их?

— Да зачем? Мало они сюда бродят?

— Да ведь забавно! Со смеху помрешь, когда они начнут высказываться.

Анисья не сразу дала согласие. Не для них, не для этих гостей готовилась она сегодня — в душе она все еще надеялась, что невестка одумается — придет, а с другой стороны, как отказать и Альке? Пристала, обвила руками шею — лед крещенский растопит.

Первой впорхнула в избу Маня-большая, — легкая, в пиджачонке с чужого плеча, в мятых матерчатых штанах в белую полоску, женского — только платок белый на голове да платье поверх штанов, — а Маня-маленькая в это время еще бухала своими сапожищами по крутой лестнице в сенях. В дверях согнулась пополам. Затем, перешагнув за порог, начала отвешивать поклоны в красный угол.

— Давай дак не в монастырь пришла, — съязвила Маня-большая, намекая на давнишнее прошлое своей товарки, когда та стирала на монахов.

— А что? — пробасила Маня-маленькая. — И не в сарай.

— Дура слепая! В углу-то у ей Ленин.

Алька захохотала.

— Ничего, — все так же невозмутимо ответила Маня-маленькая. — Власти от бога.

— Верно, верно, Егоровна, — сказала из-за занавески Анисья. — Пензию-то вам не бог платит. Проходите к столу.

— А стол-то у тебя не шатается, Ониса? Нет? — спросила с намеком Маня-большая.

— У тебя в глазах шатается, — усмехнулась Алька.

Тут с улицы донеслось чиханье и фырканье мотоцикла, и она быстрехонько вскочила на табуретку у окна. При этом шелковое, в красную полоску платье сильно

натянулось сзади, и белая ядреная нога открылась поверх чулка.

— Алька, — полюбопытствовала Маня-большая, — какое у тебя там приспособленье? Под самый зад чулок заправляешь.

— Пояс. Неуж не видала? — Алька удивленно выгнула круглую бровь — бровями она была в тетку, — спрыгнула с табуретки, приподняла подол платья.

— Ловко! — одобрительно цокнула языком Маня-большая.

— Како тако поесье под платьем? — Маня-маленькая, близоруко щуря и без того узкие монгольские глаза, вытянула шею. — Нуто те — трусики.

— Трусики! Пень бестолковый! Вот где у меня трусики-то. Смотри! — И Алька со смехом оттянула тугой розовый пояс.

— Тоже кабыть шелковые, — пробурчала Маня-маленькая.

— Я вся шелковая, — хвастливо объявила Алька и, придерживая руками подол платья, игриво повернулась на высоких каблуках.

— Алька, Алька, бесстыдница! — крикнула из-за занавески Анисья. — Разве так баско?

— А чего не баско-то? Не съедим.

— Нельзя так. Она еще ученица, — сказала Анисья и строго посмотрела на Маню-большую.

— Ученица! Нынешняя ученица — знаем: рукой по парте водит, а ногой парня ищет. Алька! Кого я вчерась видела — огороду с солдатом подпирает?

Алька нахмурилась:

— Ври, вралья! Буду я с солдатом. Я с солдатом-то близко никогда не стаивала.

— Ну, тогда с золотыми полосками. Так?

Против этого Алька возражать не стала.

— Вишь ведь, вишь ведь, — опять зацокала языком

Маня-большая, — кровь-то в ей ходит! А колобашки-то! Колобашки-то! Колом не прошибешь!

— Хватит, хватит, Архиповна. Я отродясь таких речей не люблю.

— И я не люблю, — подала свой голос Маня-маленькая. — У ей все срам на языке. Я тоже девушка.

Тут Алька от смеха повалилась грудью на стол. А у Мани-большой так и запылал левый глаз зеленым угарным огнем — верная примета, что где-то уже подзаправилась. И поэтому Анисья, не дожидаясь самовара, вынесла закуску — звено докрасна зажаренной трески, поставила на стол четвертинку — поскорее бы только выпроводить такую гостью.

— Пейте, кушайте, гости дорогие.

— Тетка сегодня именинница, — сказала Алька, вытирая слезы.

— Разве? — У Мани-большой от удивления оттянулась нижняя губа. — А чего это брата с невесткой нету?

— Не могут, — ответила Анисья. — Прокопьевна на пекарне ухлопалась — ни ногой, ни рукой пошевелить не может. А сам известно какой — к кровати прирос.

Маня-большая ухмыльнулась.

— Матреха, — закричала она на ухо своей глуховатой подружке, — мы кого сичас видели?

— Где?

— У Прошичей на задворках.

— О-о! Нуто те — Павел Захарович с женой. В гости направились. У Павла сапоги сверкают — при мне о третьем годе покупал. И сама на каблучках, по-городскому... Богатые...

Больше полугода готовилась Анисья к этому празднику. Все, какие деньги заводились за это время, складывала под замок. Сама, можно сказать, на одном чаю сидела. А стол справила — пальцев не хватит на руках все перемены сосчитать.

Три рыбы: щука свежая, речная, харпусы — по фунту

каждый, семга; три каши; три киселя; да мясо жирное, да мясо постное — нельзя Павлу жирного есть; да консервы тройные.

И вот сердце загорелось — все выставила. Нате, лопайте! Пускай самые распоследние гости стравят, раз свои побрезговали. Правда, звено красной — три дня мытарила за него на огороде у Игнашки-денежки — она сперва не вынесла. А потом, когда опоясала с горя второй стакан, и семгу бросила на потраву...

Не стесняясь чужих людей, она безутешно плакала, как малый ребенок, потом вскакивала, начинала лихо отплясывать под разнобойное прихлопыванье старушечьих рук, потом опять хваталась за вино и еще пуще рыдала...

Маня-большая, как кавалер, лапала раскрасневшуюся Альку. Та со смехом отпихивала ее от себя, била по рукам и под конец пересела к Мане-маленькой, которая низким, утробным голосом выводила свою любимую «Как в саду при долине...».

Вдруг Анисье показалось — в руках у Альки рюмка.

— Алька, Алька, не смей!

— Тетка, мы траву спрыскиваем. Я траву у Мани-маленькой торгую.

— Траву? — удивилась Анисья. И махнула рукой: а, лешак с вами! Мне-то что.

— Да я не обманываю, Онисья, — с обидой в голосе заговорила Маня-маленькая. — Когда я обманывала? У меня трава-то чистый шелк.

Алька начала трясти ее темную пудовую руку. К ним потянулась Маня-большая.

— Ну-ко я колону. Может, и мне маленько отколется. Отколется, Матреха?

— Куда от тебя денешься? Выманишь...

Маня-большая, довольная, подмигивая, закурила, а Маня-маленькая опять зарокотала:

— Травка-то у меня хорошая, девка. Надо бы до осе-

ни подождать. В травке-то у меня котанушки любят гулять...

— Да твоим котанушкам по выкошенному-то огороду еще лучше гулять, — сказала Алька.

— Нет, не лучше. Травка-то им надо. Они из травки-то птичек выглядывают...

Маня-маленькая тяжко покачала головой и, обливаясь горючими слезами, затрубила на всю избу:

На мою на могилку,
Знать, никто не придет.
Только раннею весною
Соловей пропоет...

Ее стала утешать Маня-большая:

— Давай дак не стони. Расстоналась... Вон к Ониске и брат родной не зашел... В рожденье...

— Не трожь моего брата! — Тут к Анисье сразу вернулась трезвость. Она изо всей силы стукнула кулаком по столу, так, что посуда зазвенела. — Знаю тебя. Хочешь клин меж нас вбить. Не бывать этому!

— Алевтинка! Чего это она? Какая вожжа под хвост попала?

— А ну вас! — рассердилась Алька. — Натрескались. Одна белугой воет, другая чашки бьет.

Окончательно пришла в себя Анисья несколько позже, когда в избу вломились празднично разодетые девки в сопровождении трех военных.

Тот, у которого на плечах были золотые полоски, быстрыми блестящими глазами обежал избу, воскликнул, подмигивая Мане-большой (за хозяйку принял):

— Гуляем, тетушки?

— Маленько, товарищ... Старухи пенсионерки... — Маня-большая икнула для солидности. — Советская власть... Крепи оборону... Правильно говорю, товарищ?

— Уполне, — в тон ей ответил офицер, затем стал со всеми здороваться за руку.

— По-нашему, товарищ, — одобрила его Маня-большая и, повернувшись к Анисье, круто распорядилась: — А ты чего глаза вылупила? Не знаешь, как гостей принимают?

5

Место им досталось неважное — с краю, у комода, и не на стульях с мягкой спиночкой, а на доске — скрипучей полатнице, положенной на две табуретки.

Но Пелагея и этим местом была довольна. Это раньше, лет десять — двенадцать назад, она бы сказала: нет, нет, Петр Иванович! Не задвигай меня на задворки. На задворках-то я и дома у себя насижусь. А я хочу к оконышку поближе, к свету, чтобы ручьем в оба уха умные речи текли. Да лет десять — двенадцать назад и напоминать бы не пришлось хозяину — сам стал бы упрашивать. А она бы еще так и покуражилась маленько.

Но ведь то десять — двенадцать лет назад! Павел тогда бригадир, самой ей в рот каждый смотрит — не перепадет ли буханка лишняя. А теперь незачем смотреть, теперь в магазинах хлеб не выводится. А ведь какова цена хлебу — такова и пекарихе. На что же тут обижаться? Спасибо и на том, что вспомнил их Петр Иванович.

Когда от Петра Ивановича прибежал мальчик с записочкой, они с Павлом уже ложились спать. Но записочка («Ждем дорогих гостей») сразу все изменила.

Петр Иванович худых гостей не позовет, не такой он человек, чтобы всякого вином поить. Перво-наперво будут головки: председатель сельсовета да председатель колхоза, потом будет председатель сельпо с бухгалтером, потом начальник лесопункта — этот на особицу, сын Петра Ивановича у него служит.

Потом пойдет народ помельче: пилорама, машина грузовая, Антоха-конюх, но и без них, без шаромыг, шагу не ступишь. Надо, скажем, дом перекрыть — походишь, покланяешься Аркашке-пилорамщику. А конюха взять.

Кажись, теперь, в машинное время, и человека бесполезнее его нету. А нет, шофер шофером, а конюх конюхом. Придет зима да прижмет с дровами, с сеном — не Антохой, Антоном Павловичем назовешь.

Антониду с Сергеем, детей Петра Ивановича, они за столом уже не застали: люди молодые — чего им томиться в праздник в духоте?

Хозяйка, Марья Епимаховна, потащила было Пелагею на усадьбу — летнюю кухню показывать, — да она замотала головой: потом, потом, Марья Епимаховна. Ты дай мне сперва на людей-то хороших досыта насмотреться да скатерть-самобранку разглядеть.

Стол ломился от вина и яств. Петр Иванович все рассчитал, все усмотрел. Жена директора школы белого не пьет — пожалуйте шинпанского, Роза Митревна. Лет десять, наверно, а то и больше темная бутылка с серебряным горлышком пылилась в лавке на полке — никто не брал, а вот пригодилась: спотешила себя Роза Митревна, обмочила губочки крашеные...

Петр Иванович всю жизнь был для Пелагеи загадкой. Грамоты большой не имеет, три зимы в школу ходил, должности тоже не выпало — всю жизнь на ревизиях: то колхоз учитывает, то сельпо проверяет, то орс, а ежели разобраться, так первый человек на деревне. Не обойдешь! И руки мягкие, век топора не держали, а зажмут — не вывернешься.

В сорок седьмом году, когда Пелагея первый год на пекарне работала, задал ей науку Петр Иванович. Пять тысяч без мала насчитал. Пять тысяч! Не пятьсот рублей. И Павел тогда считал-считал, до дыр бумаги вертел — с грамотой мужик, — и бухгалтерша считала-пересчитывала, а Петр Иванович как начнет на счетах откладывать — не хватает пяти тысяч и все. Наконец Пелагея, не будь дурой, бух ему в ноги: выручи, Петр Иванович! Не виновата. И сама буду век бога за тебя молить, и детям накажу. «Ладно, говорит, Пелагея, выручу. Не вино-

вата ты — точно. Да я, говорит, не для тебя это и сделал. Я, говорит, той, бухгалтерше, урок преподал. Чтобы хвост по молодости не подымала». И как сказал — так и сделал. Нашлись пять тысяч. Вот какой человек Петр Иванович!

Самым важным, гвоздевым гостем сегодня у Петра Ивановича был Григорий Васильевич, директор школы. Его пуще всех ласкал-потчевал хозяин. И тут голову ломать не приходилось — из-за Антониды. Антонида в школе работать будет — чтобы у нее ни камня, ни палки под ногами не валялось.

А вот зачем Петр Иванович Афоньку-ветеринара отличает, Пелагее было непонятно. Афонька теперь невелика шишка, не партейный секретарь, еще весной сняли, шумно сняли, с прописью в районной газетке, и когда теперь вновь подымется?

А в общем, Пелагея недолго ломала голову над Афонькой. До Афоньки ли ей, когда кругом столько нужных людей! Это ведь у Сарки-брюшины, жены Антохи-конюха (вот с кем теперь приходится сидеть рядом!), никаких забот, а у нее, у Пелагеи, муж больной, — обо всем надо самой подумать.

И вот когда председатель сельсовета вылез из-за стола да пошел проветриться — и она вслед за ним. Встала в конец огородца — дьявол с ним, что он, лешак, рядом в нужнике ворочается, зато выйдет — никто не переймет. А перенять-то хотели. Кто-то вроде Антохи-конюха — его, кажись, рубаха белая мелькнула — выбегал на крыльцо. Да, верно, увидел, что его опередили, — убрался.

Ну и удозорила — и о сене напомнила, и об Альке словцо закинула. С сеном — вот уж не думала — оказалось просто. «Подведем Павла под инвалидность, как на колхозной работе пострадавши. Дадим участок».

А насчет Альки, как и весной, о первом мае, начал крутить:

— Не обещаю, не обещаю, Пелагея. Пущай поробит годик-другой на скотном дворе. Труд — основа...

— Да ведь одна она у меня, Василий Игнатьевич, — взмолилась Пелагея. — Хочется выучить. Отец малограмотный, я, Василий Игнатьевич, как тетера темная...

— Ну, ты-то не тетера.

— Тетера, тетера, Вася (тут можно и не Василий Игнатьевич), голова-то смалу мохом проросла (наговаривай на себя больше: себя роняешь — его подымаешь).

Председатель — кобелина известный — потянул ее к себе. Пелагея легонько, так, чтобы не обидеть, оттолкнула его (не дай бог, кто увидит), шлепнула по жирной спине.

— Не тронь мое костье. Упаду — не собрать.

— Эх, Полька, Полька... — вздохнул председатель. — Какие у тебя волосы раньше были! Помнишь, как-то на вечерянке я протащил тебя от окошка до лавки? Все хотелось попробовать — выдержат ли? Золото — не косу ты носила.

— Давай не плети, лешак, — нахмурилась Пелагея. — Кого-нибудь другого таскал. Так бы и позволила тебе Полька...

— Тебя! — заупрямился председатель.

— Ну ладно, ладно. Меня, — согласилась Пелагея. Чего пьяному поперек вставать.

И вдруг почувствовала, как слегка отпотели глаза — слез давно нет, слезы у печи выгорели. Были, были у нее волосы. Бывало, из бани выйдешь — не знаешь, как и расчесать: зубья летят у гребня. А в школе учитель все электричество на ее волосах показывал. Нарвет кучу мелких бумажек и давай их гребенкой собирать...

Пелагея, однако, ходу воспоминаниям не дала — не за тем дожидалась этого борова, чтобы вспоминать с ним, какие у нее волосы были. И она снова повернула разговор к делу. Легко с пьяным-то начальством говорить: сердце напоказ.

— Ладно, подумаем, — проворчал сквозь зубы председатель (головой-то, наверно, все еще был на вечерянке).

А потом — как в прошлый раз: «Отдай за моего парня Альку. Без справки возьмем». Да так пристал, что она не рада была, что и разговор завела. Она ему и так и эдак: ноне не старое время, Васенька, не нам молодое дело решать. Да и Алька какая еще невеста — за партой сидит. . .

— Хо, она, может, еще три года будет сидеть.

Альке неважно давалось ученье: в двух классах по два года болталась.

Потом в психи ударился, в бутылку полез:

— А-а, тебе мой парень не гленется?

— Гленется, гленется, Василий Игнатьевич.

Тут уж Васей да Васенькой, когда человек в кураж вошел, называть не к чему. А сама подумала: с чего же твой губан будет гленуться? Ведь ты и сам не ягодка. Тоже губан. Помню, не забыла, как до моей косы на вечерянках добирался.

На ее счастье, в это время на крыльце показался Петр Иванович (хозяин — за всеми надо углядеть), и она, подхватив председателя, повела его в комнаты.

Так под ручку с советской властью и заявилась — пускай все видят. Рано ее еще на задворки задвигать. И Петр Иванович тоже пускай посмотрит да подумает — умный человек!

А в комнатах в это время все сгрудились у раскрытых окошек — молодежь шла мимо.

— Пелагея, Пелагея! Алька-то у тебя. . .

— Апельсин! — звонко щелкнул пальцами Афонька-ветеринар.

— Вот как, вот как она вцепилась в офицера! Разбирается, ха-ха! Небось не в солдата. . .

— Мне, как директору, такие разговоры об ученице. . ,

— Да брось ты, Григорий Васильевич, насчет этой моральности...

— Гулять с ученицей неморально, — громко отчеканил Афонька, — но которая ежели выше средней упитанности...

Тут, конечно, все заржали — весело, когда по чужим прокатываются, — а Пелагея не знала, куда и глаза девать. Сука девка! Смалу к ней мужики льнут, а что будет, когда в года войдет? Петр Иванович, спасибо, сбил мужиков с жеребятины. Петр Иванович налил стопки, возгласил:

— Давайте, дорогие гости, за наших детей.

— Пра-виль-но-о! Для них живем.

— От-ста-вить!

Афонька-ветеринар. Чего еще цыган черный надумал? Вот завсегда так: люди только настроятся на хороший лад, а он глазищи черные выворотит — обязательно поперек.

— Отставить! — опять заорал Афонька и встал. — За нашу советскую мо́лодежь!

— Пра-виль-но!

— За мо́лодежь, Афанасий Платонович.

— От-ста-вить! Разговорчики!

Да, вот так. Встанет дьявол поджарый и начнет сквозь зубы команды подавать, как будто он не с людьми хорошими разговаривает, а у себя на ветеринарном участке лошадей объезжает.

— За всемирный фору́м мо́лодежи! За молодость нашей планеты!

Вот и сказал! Начали было за детей, а теперь незнамо и за что.

— Пить — всем! — опять скомандовал Афонька. Черной головней мотнул, как ворон крылом. Глазами не посмотрел — прошагал по столу и вдруг уставился на Павла — Павел один не поднял рюмку.

— Афанасий Платонович, — заступилась за мужа Пелагея, — ему довольно, у него сердце больное.

— Я на-ста-иваю!

Подбежал Петр Иванович: не тяни, мол, соглашайся. А тот ирод как с трибуны:

— Я прыцыпально!

— Да выпей ты маленько-то, — толкнула под локоть мужа Пелагея и тихо, на ухо добавила: — Ведь он не отстанет, смола. Разве не знаешь? Да выпей, кому говорят! — уже рассердилась она (Афонька стоит, Петр Иванович в наклон). — Сколько тебя еще упрашивать? Люди ждут.

Павел трясущейся рукой взялся за рюмку.

— Ура! — гаркнул Афонька.

— Ур-рра-а! — заревели все.

Потом был еще «посошок» — какой же хозяин отпустит гостей без посошка в дорогу, — потом была чарка «мира и дружбы» — под порогом хозяин обносил желающих, — и только после этого выбрались на волю. На крыльце кого-то потянуло было на песню, но Афонька-ветеринар (вот где пригодилась его команда) живо привел буяна в чувство:

— Звук! Пей-гуляй — не рабочее время. А тихо, тихо у меня!

Следующий заход был к председателю лесхимартели, человеку для Пелагеи, прямо сказать, бесполезному. По крайности за все эти годы, что она пекарем, ей ни разу не доводилось иметь с ним дела, хотя, с другой стороны, кто знает, как повернет жизнь. Сегодня он тебе ни к чему, а завтра, может, он-то и встанет на твоей дороге.

В общем, не мешало бы и к председателю лесхимартели сходить. Но что поделаешь — Павел совсем раскис к этому времени, и она, взяв его под руку, повела домой.

6

— Летнюю-то кухню видел у Петра Ивановича? Сама говорит: рай. Все лето жары в доме не будет.

Павел ничего не ответил.

Пелагея рассказала мужу о своем разговоре с председателем сельсовета насчет сена и справки. При этом она не очень-то огорчалась, что председатель опять крутил насчет справки. Альке учиться еще год — в восьмой класс осенью пойдет, — и за это время можно найти ходы. Есть у нее кое-какая зацепка и в районе. Хоть тот же Иван Федорович из райисполкома. После войны сколько раз она выручала его хлебом — неужто ее добро не вспомнит?

Пелагею сейчас занимало другое — та загадка, которую задал ей Петр Иванович. Три года их в забытьи держал, а сегодня позвал — с чего бы это?

Сама она ему не нужна, рассуждала Пелагея, это ясно. Кончилось ее времечко — кто же нынче станет пекариху обхаживать? Давно люди набили хлебом брюхо. Может, на Альку виды имеет?

Слыхала она, что Сергей Петрович на Альку глаза пялит, и намекни ей Петр Иванович: так и так, мол, Пелагея, рановато мы с тобой компанию оборвали, кто знает, еще как жизнь-то распорядится, — да разве бы она не поняла?

Не намекнул.

Она думала: при прощаньи шепнет. И при прощаньи не шепнул. «Благодарю за уваженье. Благодарю». И все. Иди, ломай себе голову.

Непонятным, подозрительным теперь казалось Пелагее и то, что позвали их к Петру Ивановичу второпях, когда все гости уже были в сборе. Неужто это не от самого Петра Ивановича шло, а от кого-нибудь другого?

От Васьки-губана? (Так по-уличному, сама с собою, называла она председателя сельсовета.)

Может, может так быть, решила Пелагея. Парень у губана жених. Постоянно возле их дома мотается. Да нет, Васенька, больно жирно. По зубам кусок выбирай. Топором-то нынче жизнь не завоюешь, а что еще твой сын умеет? Смех! В город ездил, два года учился, а приехал все с тем же топором. На плотника выучился.

Павлу вечерняя свежесть не помогла. Он, как куль, висел у нее на руке.

Она сняла с него шляпу, сняла галстук.

— Потерпи маленько. Скоро уж. У меня у самой ноги огнем горят.

Да, чистое наказанье эти туфли на высоком каблуке. Кто их только и выдумал! В третьем годе они справили всю эту справу — и шляпу, и галстук, и туфли с высокими каблуками. Думали: с культурными да образованными людьми компанию водят, надо и самим тянуться. А и зря: за три года первый раз в гости вышли.

У Аграфениной избы остановились — Павел совсем огрузнел, и тут, как назло — Анисья. Выперла на них прямо из-за угла, да не одна — с беспутными Манями.

Павел только увидел дорогую сестрицу, закачался, как подрубленное дерево. А она, Пелагея, тоже поначалу ни туда ни сюда, будто ум отшибло.

И еще одну глупость сделала — клюнула на удочку Мани-большой.

Та — шаромыжина известная:

— Что, Прокопьевна, вольным воздухом подышать вышли?

— Вышли, вышли, Марья Архиповна! Сам лежал, лежал на кровати: «Выведи-ко, жена, на чистый воздух. . .»

А как же иначе? Не у себя дома — на улице: хошь не хошь, а отвечай, коли спрашивают.

Об одном не подумала она в ту минуту — что бревно стоячее тоже иной раз говорит. А Матреха — мало того что бревно, еще и глуха — просто бухнула, а не заговорила:

— Почто врешь? Вы у Петра Ивановича были...

Вот тут и пошло, завертелось. Анисья — шары налила — давай высказываться на всю улицу: «Вы признавать меня не хочете... вы сестры родной постыдились... ты дом родительский разорила...» — это уж прямо по ее, Пелагеиной, части. Каждый раз, когда напьется, про дом вспоминает.

Ну, понятное дело, Пелагея в долгу не осталась. А как же? Тебя по загривку, а ты в ножки кланяться? Нет, получай сполна. И еще с довесом...

А тут Павлу сделалось худо, его начало рвать. А из окошка выглянула Аграфена — длинные зубы: дождалась праздничка, есть теперь о что клыки поточить; Толя-воробышек прилетел... В общем, не надо в кино ходить. На всю улицу срамоту развели.

И только одно успокаивало Пелагею — не было поблизости хороших людей. Не было. А раз не было — пыль эта, поднятая у Аграфениной избы, до первого дождя.

7

— Ты как золотой волной накрывшись... Искры от тебя летят... Солнышко по плечам растекается...

Так плел ей, рассказывал Олеша-рабочком про свою первую встречу с ней, про то, как увидел ее у раскрытого окошка за расчесыванием волос. А сама она из той встречи только и запомнила, что резкую боль в голове (лапу в волосы запустил, дьявол) да нахальные, с жарким раскосом глаза. И уж, конечно, никак не думала, не гадала, что ихние дороги когда-нибудь пересекутся. Какой может быть пересек у простой колхозницы с начальником заречья? Шел мимо да увидел молодую бабу в окошке — вот и потешил себя, подергал за волосья.

А дороги пересеклись. Недели через полторы-две, под вечер, Пелагея полоскала белье у реки, и вдруг опять

этот самый Олеша. Неизвестно даже, откуда и взялся. Как из-под земли вырос. Стоит, смотрит на нее сбоку да скалит зубы.

— Чего платок-то не снимаешь? Не холодно.

— А ты что — опять к волосам моим подбираешься? Проваливай, проваливай, покамест коромыслом не отводила! Не посмотрю, что начальник.

— Ладно тебе. Убыдет, ежели покажешь.

— А вот и убыдет. Ты небось в кино ходишь, билет покупаешь, а тут бесплатно хочешь?

— А сколько твой билет?

— Иди, иди с богом. Некогда мне с тобой лясы точить.

И в третий раз они встретились. И опять у реки, опять за полосканьем белья. И тут уж она догадалась: подкарауливал ее Олеша.

— Ну, говори, сколько твой билет стоит? — опять завел свою песню.

— Дорого! Денег у тебя не хватит.

— Хватит!

— Не хватит.

— Нет, хватит, говорю!

— А вот устрой пекарихой за рекой — без денег покажу.

Как уж ей тогда пришло это на ум, она не могла бы объяснить. И еще меньше могла бы подумать, что Олеша эти слова примет всерьез.

А он принял.

— Ладно, устрою. Показывай.

— Нет, ты сперва денежки на бочку, а потом руки к товару протягивай. — И тут Пелагея, к своему немалому удивлению, как бы рассмеялась и эдак шаловливо приспнула платок — дьявол, наверно, толкнул ее в бок.

И Олеша совсем ошалел:

— Ежели дашь мне выспаться на твоих волосах, вот те бог — через неделю сделаю пекарихой. Я не шучу.

— А и я не шучу, — ответила Пелагея.

Через неделю она стала пекарихой — сдержал свое слово Олеша. Со скотного двора ее вырвал, все стены вокруг разрушил — вот как закружило человека.

Ну и она сдержала слово — в первый же день на ночь осталась на пекарне. А под утро, выпроваживая Олешу, сказала:

— Ну, теперь забудь про мои волосы. Квиты. И не вздумай меня снимать. Я кусачая...

Сколько лет прошло с тех пор, сколько воды утекло в реке! И где теперь Олеша? Жив ли? Помнит ли еще зареченскую пекариху с золотыми волосами?

А она его забыла. Забыла сразу же, как только закрыла за ним дверь.

Нечего помнить. Не для услады, не для утехи переспала с чужим мужиком. И если сейчас этот топляк, чуть ли не два десятка лет пролежавший на дне ее памяти, вдруг и вынырнул на поверхность, то только потому, что, распуская на ночь свой хвостик на затылке — вот что осталось от прежнего золота, — она вспомнила про свой давешний разговор с Васькой-губаном.

Павел уже спал, похрапывая. Пелагея, как всегда, поставила кружку с кипяченой водой на табуретку, положила таблетки в стеклянном патроне и наконец-то легла сама. На перину, разостланную возле кровати, — чтобы всегда быть под рукой у больного мужа.

Она привыкла к храпу Павла (он и до болезни храпел), но нынешний храп ей показался каким-то нехорошим, будто душили его, и она, уже борясь со сном, приподняла свою отяжелевшую голову. Чтобы последний раз взглянуть на мужа. Приподняла и — с чего? почему? — опять ее, второй или третий раз сегодня, откинуло к прошлому.

Она подумала: догадался или нет тогда Павел насчет Олеши? Во всяком случае, назавтра, утром, когда она пришла домой, он ничем не выдал себя. Ни единого по-

прека, ни единого вопроса. Только, может, в ту минуту, когда заговорил о бане, немного скосил в сторону глаза.

— У нас баня сегодня, — сказал ей тогда Павел. — Когда пойдешь? Может, в первый жар?

— В первый, — сказала Пелагея.

И в то утро она два березовых веника исхлестала о себя. Жарилась, парилась, чтобы не только грязи на теле — в памяти следа не осталось от той ночи. Но след остался. И мало того, что она сейчас совсем некстати подумала о том, знал или не знал Павел про ее грех. Это еще пустяк — кому важно теперь то, что было столько лет назад. А как быть, ежели время от времени, глядя на свою дочь, ты начинаешь думать об Олеше, по-матерински высчитывать сроки?

Не спуская глаз с тяжело дышавшего мужа, Пелагея и сейчас была занята этими вычетами. На пекарню она поступила в сентябре, 11 числа. Алька родилась 15 апреля... Восемь месяцев... Нет, с облегчением перевела она дух, восьмимесячные не рождаются, рождаются семи месяцев, да и то еле живые. А про Альку этого не скажешь. Алька, как кочан капустный, выкатилась из нее. Ни одной детской болезнью не болела.

Однако закравшееся в душу подозренье — не сорняк в огороде, который вырвал с корнем, и делу конец. Подозренье, как мутная вода, все делает нечистым и неясным. И сколько ни доказывала себе Пелагея, что Алька никакого отношения не имеет к Олеше, полной уверенности в этом у нее не было.

Конечно, восьмимесячные не рождаются, да и какая мать не знает, кто отец ее ребенка, но откуда у девки такая шальная кровь? Почему она смалу за гулянкой гонится? Раньше, до нынешнего дня, Пелагея не сомневалась: в тетушку Анисью Алька, от нее кипяток в крови, потому и невзлюбила ту, а сейчас и этой уверенности не было.

Пелагея полежала еще сколько-то, повертела подуш-

ку под разгоряченной головой и встала. Все равно не заснуть теперь. До тех пор не заснуть, пока не взглянет на Альку.

8

Белая ночь была на исходе. Уже утренняя заря разливалась по заречью. А праздник был еще в полном разгаре. Наяривала гармошка в верхнем конце деревни (неужели все еще у председателя лесхимартели гуляют?), голосили пьяные бабы (эти теперь ни в чем не уступят мужикам), а на дороге, у Аграфениного дома, и совсем непотребное творилось: ребятишечки сопленосые в пьяных играли. Друг за дружку руками держатся, головенками мотают, что-то верещат — не то матюкаются, не то песни поют. Совсем как папы и мамы...

Пелагея пошла полем: не дай бог нарваться на пьяного. Заговорит. Домой потащит. А то и лягнет — не теперь сказано: пьяному море по колено. Правда, за себя она не опасалась — даст сдачи. А что делать, когда дочь начнут в грязи валять?

Первый раз Пелагея накрыла Альку за шалостью, когда та училась еще в пятом классе. Зимой, в женский день. В тот день как раз случилась у них беда — Манька, корова, заболела. Ветеринара дома нету — в районе. Что делать?

Вспомнила про молодого зоотехника — все больше понимает, чем они сами.

И вот с этим-то молодым зоотехником Пелагея и накрыла свою дочь. Целуются! В хлеву у коровы. В то самое время столковались, покамест матерь за пойлом выходила. И добро бы только парень Альку лапал, а то ведь нет. То ведь Алька, как травина, оплела парня. Привстала, на цыпочки приподнялась, чтобы понадежнее к губам припасть, да еще обеими руками за шею ухватилась. Вот что поразило тогда Пелагею.

С зоотехником разговор был короток. Зоотехника заслали в самую распродальнюю дыру в районе — в силе она в ту пору была. А дочь родную куда сошлешь?

Била, говорила по-хорошему — все напрасно. Кого где не видели под углом да за огородой, а Альку обязательно. И если бы сейчас, к примеру, Пелагея натолкнулась на нее с парнем возле бани или амбара, она бы не подняла крик от неожиданности...

У клуба стоном стонала земля — такого многолюдья она давно уже не видела в своей деревне. А со стороны подгорья подходили все новые и новые люди. С лесопункта, из-за реки, из других деревень — моторы, начавшие завывать на реке с полудня, все еще не смолкли, — и были гости из района.

Тихонько и незаметно перебравшись через жердяную огороду, она хотела так же тихонько и незаметно подойти к крыльцу, возле которого танцевала молодежь, да не тут-то было.

— Сватья, сватьюшка! Ух, как хорошо! А я ведь к тебе собралась. Где, говорю, у вас Прокопьевна? Куды вы ее подевали?

Пелагея готова была разорвать свою сватьюшку, сестру жены двоюродного брата из соседней деревни, — так уж не к месту да не ко времени была эта встреча! А заговорила, конечно, по-другому, так, как будто и человека для нее дороже на свете нет, чем эта краснорожая баба с хмельными глазами.

— Здорово, здорово, сватьюшка! — сказала нараспев Пелагея да еще поклонилась: вот мы как свою родню почитаем. — На привете да на памяти спасибо, Анна Матвеевна, а худо, видно, к нам собиралась. Не за горами, не за морями живем. За ночь-то, думаю, всяко можно попасть...

В общем, сказала все то, что положено сказать в этом случае, и даже больше, потому что та дура пьяная кинулась обнимать да целовать ее, а потом потащила в круг.

— Посмотри, посмотри на свою дочерь! Я посмотрела — глазам легче стало. Вот какая она у тебя красавица!

Так Пелагея и въехала в молодежный круг в обнимку со сватьей-пьяницей. Не закричишь: «Отстань, дура пьяная», когда народ кругом. А через минуту она сама, по своей доброй воле обнимала сватью. Не думала, не думала, что у нее в таком почете Алька.

Антонида Петровна с высоким образованием, а где? На закрайке. С родным братцем топчется. А другая горожаха, председателя лесхимартели дочь, тоже ученая, та и вовсе не при деле — на выставке, а попросту сказать, со стороны смотрит.

А ее-то Алька! В самой середке, на самом верховище. Да с кем? А с самим секретарем комсомольским из заречья. Какая еще характеристика требуется? Разве станет партейный человек себя марать — с худой девкой танцевать?

Но и это не все. Только Савватеев отвел Альку к девкам — офицер подошел. Тот самый, которого они видели давеча из окошек у Петра Ивановича. Молодой, красивый, рослый. Идет-выгибается, как лоза. А уж погоны на плечах горят — за десять шагов жарко.

— Солнышко, солнышко на кругу взошло!

Ну, может, и не солнышко, может, и через край хватила сватья, а не одна она, Пелагея, засмотрелась. Вся публика стоячая смотрела. И даже молодежь: три раза Алька с офицером круг обошли, только тогда вышли еще две пары.

А Антонида Петровна так и осталась на бобах. Стоит в сторонке да ноготки крашеные кусает. И вот как все одно к одному — Петр Иванович подошел. Не усидел в гостях, захотелось и ему на свою дочь посмотреть.

Смотри, смотри, Петр Иванович, на своего ученого воробья (чистый воробей, особенно когда из-за толстых

очков глазки кверху поднимет), не все тебе торжествовать. А я буду на свою дочь смотреть.

И Пелагея смотрела. Смотрела, высоко подняв голову. И как-то сами собой отпали все заботы и недавние тревоги. Ее дочь! Ее кровинушка верх берет!

Танец кончился быстро — короткий век у радости, — и Пелагея знаком подозвала к себе Альку: Петр Петрович стоит рядом с дочерью, а ей нельзя?

Алька подбежала скоком — глупа еще, чтобы девичьей поступью, но такая счастливая! Как если бы автомобиль выиграла по лотерейному билету.

А может, и выиграла, подумала Пелагея и незаметно для других скосила глаза на круг: где офицер? Что делает?

Офицер шел к ним. Шел не спеша, вразвалку и слегка обмахивая разогретое лицо белым носовым платком.

— Аля, познакомьте меня с вашей мамой.

Пелагея протянутую руку пожала, а чтобы сказать нужное слово — растерялась. Замолола что-то насчет жары. Жарко, мол, нынче. И работать жарко, и веселиться жарко.

— Ничего, — сказал офицер, — мы свою программу выполним. Верно, Аля?

Алька разудало тряхнула головой: какое, мол, может быть сомнение. Выполним!

Пелагея еще не успела собраться с мыслями: как ей посмотреть на Алькину выходку? Не пожурить ли для ее же пользы? — подошла Антонида Петровна.

— Аля, Владислав Сергеевич, не хотите ли чаю? У нас самовар готов...

Пелагее показалось чудом: с каких это пор у Петра Ивановича по ночам самовары стали греть? А потом сообразила: да ведь это Петр Иванович ради своей дочери старается.

— Нет, нет, Антонида Петровна, — быстро ответила за дочь Пелагея. — К нам милости просим. У нас гостья

не поена, не кормлена — вот где пригодилась сватьюшка! — Алевтинка, чего стоишь? Приглашай молодежь. Будь хозяйкой.

Все это Пелагея говорила с улыбкой, а у самой земля качалась под ногами: что задумала? На кого руку подняла? И до самой школы не смела оглянуться назад. Шла и затылком чувствовала разгневанный взгляд Петра Ивановича.

9

Раньше, до войны, дома в деревне стояли что солдаты в строю — плотно, почти впритык друг к другу, по одной линии. А чтобы при доме была баня, колодец, огород — этого и в помине не было. Все наособицу: дома домами, колодцы колодцами, бани банями — на задах, у черта на куличках.

Пелагея Амосова первой поломала этот порядок. Она первая завела усадьбу при доме. Баня, погреб, колодец и огород. Все в одном месте, все под рукой. И под огородой. Чтобы ни пеший, ни конный, никакая скотина не могла зайти к ней без спроса.

Позже, вслед за Пелагеей, потянулись и другие, и сейчас редкий дом не огорожен.

Но сколько она вынесла понапраслины! «Кулачиха! Деревню растоптала! Дом родительский разорила!..» Ругали все. Ругали чужие. Ругала Павлова родня. И даже в Москве ругали. Да, да, нашелся один любитель чужих домов из столицы. Пенял, чуть не плакал: дескать, какую красу деревянную загубили. Особенно насчет крыльца двускатного разорялся. Что и говорить, крыльцо у старого дома было красивое, это и Пелагея понимала. На точеных столбах. С резьбой. Да ведь зимой с этим красивым крыльцом мука мученская: и воду и дрова надо как в гору таскать. А в метель, в непогодь? Суметы снежные накладет, да так, что и ворота не откроешь.

Владислав Сергеевич, даром что молодой, сразу оценил усадьбу.

— Шикарно, шикарно живем! — сказал он, когда они шумной гурьбой подошли к дому.

Да, есть на что взглянуть. Углы у передка обшиты тесом, покрашены желтой краской, крыша новая, шиферная (больше двухсот рублей стоила), крылечко по-городскому, стеклом заделано — да с таким домком и в городе не последним человеком будешь. А уж привольно-то! Ширь-то кругом!

В сельсовете, когда Пелагея попросила пустырь за старым домом, ее на смех подняли: чудишь, баба. Даже Петр Иванович, при всем своем уме, усами заподергивал — не сумел на пять лет вперед заглянуть. А она заглянула. Разглядела на месте пустыря лужок с душистым сеном под окошками. И теперь кто не завидует ей в деревне!

За рекой всходило солнце, когда она с гостями вошла на усадьбу. И, боже, что тут поделалось! Все засверкало, заиграло вокруг, потом, как в волшебной сказке, все стало алым: и лица, и крыша, и белые занавески в окнах.

Владислав Сергеевич то ли по недомыслию — городской все-таки человек, — то ли ради шутки схватил у крыльца железную лопату и начал загребать сено. Гам, визг поднялся страшный. А тут еще жару подбросила сватья. Сватья зачерпнула ковшом воды в кадке у крыльца, подбежала к Владиславу Сергеевичу: водой их, водой! И через минуту-две ни одного человека сухого не было. Все были мокры. И сено было мокро. Его сваляли да вытоптали хуже лошадей. Но ничего ей не было сейчас жалко. Душа расходилась — сама смеялась пуще всех.

Смеялась... А в это время совсем рядом, за стеной в избе, без памяти лежал Павел, и смерть ходила вокруг него...

Нет, нет! Она не снимала с себя вины. Виновата. Нельзя было оставлять больного мужа без присмотра.

Нельзя ходить по гулянкам да офицеров в гости зазывать, когда муж хворый. Ну, а с другой стороны, спрашивала себя Пелагея потом, много позже, что было бы тогда с Павлом, не окажись в ту минуту рядом Владислава Сергеевича? Алька перепугалась насмерть, у самой у ней ум отшибло, фельдшер пьяный, без задних ног лежит у себя на повети... А Владислав Сергеевич будто только тем всю жизнь и занимался, что помогал таким бедолагам, как они.

— Петренко! Тащи фельдшера к колодцу и до тех пор полощи, пока он, сукин сын, в себя не придет. Федоров! Бери машину и на всех парах в район за доктором. Живо!

А кроме того, он и сам не сидел сложа руки, пока не подоспела к Павлу медицина. Ворот у рубахи расстегнул, впустил в избу свежий воздух, все окна приказал раскрыть и еще капли Павлу в рот влил — да разве бы она, Пелагея, догадалась до всего этого?

Нет, нет, хоть и судачили, перемывали ей потом бабы косточки за этого офицера, а надо правду говорить: тогда, в то утро, если кто и спас от смерти Павла, так это он, Владислав Сергеевич.

10

Нынешняя болезнь Павла поначалу казалась Пелагее погибелью, крахом всей ее жизни.

Немыслимо, невозможно одной управиться и дома и за рекой. Надо прощаться с пекарней. А без пекарни какая жизнь? Залезай, как улитка, в свою скорлупу на задворках да там и захорони себя заживо.

Но, слава богу, пекарню она удержала за собой. Выручила Анисья. Она с Алькой встала к печи.

Быстрее пошел на поправку, чем раньше думали, и Павел. Попервости районный доктор, как обухом, оглушил Пелагею: «Паралич. Не видать тебе больше мужа

на своих ногах...» А Павел поднялся — на пятнадцатый день в постели сел, а еще через три дня, опираясь на жену, вышел на крыльцо. В общем, устояли на этот раз Амосовы.

Днем и ночью две недели подряд сидела Пелагея возле больного мужа. Да вдобавок еще уйму всяких дел переделала: окучила картошку, лужок у Мани-маленькой выкосила... А корова и поросенок? А вода и дрова? А стирка? Это ведь тоже не сердобольные соседушки за нее делали. А вот какой ужас эта пекарня — отдохнула! Как в отпуску побывала. Во всяком случае так ей казалось, когда она после трехнедельного перерыва отправилась за реку.

Все внове было ей в тот день. И то, что она идет на пекарню среди белого дня, порожняком. Идет не спеша, любуясь ясным, погожим деньком, и то, что в поле пахнет уже не сеном, а молодым наливающимся хлебом. И внове ей была она сама — такая бодрая и легкая на ногу. Как будто добрый десяток лет сбросила.

Единственное, что время от времени перекрывало ей радость, были сетования Анисьи на Альку. Анисья, возвращаясь с пекарни, чуть ли не каждый день заводила разговор об офицере. Зачастил, мол, в день не один раз заходит на пекарню. Нехорошо.

— Да что тут нехорошего-то? — возражала ей Пелагея. — Он ведь заказчик наш. С нашей пекарни хлеб для своих солдат берет. Почему и не зайти.

— Да не для заказа он ходит. Алька у него на уме.

— Ну уж, тетушка, осудила племянницу. Не осуждай, не осуждай, Онисья Захаровна. Чужие люди осудят. А хоть и пошалят немного, дак на то им и молодые годы дадены. Мы с тобой свое отшалили...

— Все равно не дело это — с сеном огонь рядом, — твердила свое Анисья.

И вот в конце концов Пелагея собралась на пекарню,

решила своими глазами посмотреть, из-за чего разоряется Анисья.

Река встретила Пелагею ласково, по-матерински. Оводов уже не было — отошла пора. Зато ласточек-береговушек было полно. Низко, над самой водой резвились, посвистывая.

Остановившись на утоптанной тропке возле травяного увала, Пелагея с удовольствием наблюдала за их игрой, потом торопливо потрусила к спуску: у нее появилось какое-то озорное, совсем не по возрасту желание сбросить с ног ботинки и побродить в теплой воде возле берега, подошвами голых ног поласкать песчаный накат у дресвяного мыска.

Однако вскоре она увидела Антониду Петровну, или Тонечку, как Пелагея привыкла называть про себя дочь Петра Ивановича, и к реке сошла своим обычным шагом.

Тонечка загорала. На подстилке. С книжкой в руках.

Подстилка нарядная — большая зеленая шаль с кистями, которую зимой носила мать, — книжка, как огонь, в руках красная. А вот сама Антонида Петровна будто из войны вынырнула. Худенькая, тоненькая и белая-белая, как сметана, — не льнет солнце. Правда, глаза у Тонечки были красивые. Тут уж ничего не скажешь. Ангельские глаза. Чище неба всякого. Но сейчас и они были спрятаны под темными очками.

— Что, Антонида Петровна, — спросила Пелагея, — все красу наводишь? Солнышко на себя имашь? Имай, имай. По науке жить надо. Только что уж одна? На картинках-то барышни все с кавалерами загорают...

Ужалила — и пожалела. Обоих детей у Петра Ивановича легко обидеть. И Антониду и Сережу. Бог знает, в кого они — беззащитные какие-то, безответные.

Стараясь загладить свою вину, Пелагея уже искренне, от всего сердца предложила Тонечке поехать за реку.

— Поедем, поедем, Антонида Петровна! Не пожалеешь. Я чаем тебя напою, не простым, с калачами кру-

писчатыми — знаешь, как в песнях-то старинных поется? А загорать на той стороне еще лучше.

— Нет, нет, спасибо... Мне домой надо... — скороговоркой пролепетела Тонечка.

Пелагея вздохнула и — что делать — пошла к лодкам.

11

Все, все было на месте — и сама пекарня с большими раскрытыми окнами, и сосны разлапистые в белых затесах понизу, и колодец с воротом, и старая, местами обвалившаяся изгородь.

А она поднялась по тропинке к этой изгороди да почуяла теплый хлебный дух, какой бывает только возле пекарни, и расплакалась. Да так расплакалась, что шагу ступить не может.

У крыльца солдаты — дрова пилят — остановились: «Что это, тетка, с тобой?» А разве тетка знает, что с ней?

Всю жизнь думала: каторга, жернов каменный на шее — вот что такое эта пекарня. А оказывается, без этой каторги да без этого жернова ей и дышать нечем.

И еще больше удивились солдаты, когда только что в голос рыдавшая тетка вдруг с улыбкой прострочила мимо них и без передышки взбежала на крыльцо.

А в пекарне — тоже небывалое с ней дело — не с чужим человеком, не с офицером сперва поздоровалась, а с печью, с квашней, со своими румянощекими ребятками — так Пелагея в добрый час называла только что вынутые из печи хлебы — все так и обняла глазами.

И только после этого кивнула Владиславу Сергеевичу.

Владислав Сергеевич, всерьез ли, для собственной ли забавы, стоял у печи с деревянной лопатой. В трусах. Босиком. Но это еще ничего, с этим Пелагея могла примириться: городской человек, а сейчас и мужики в деревне запросто без штанов ходят. Но Алька-то, Алька бесстыдница! Тоже пуп напоказ выставила.

— Ты ошалела тут, срамница! — вспылила Пелагея. — Давай уж и это долой! — Она кивнула на Алькин лифчик и трусики из пестрого ситчика.

— Жарко ведь, — огрызнулась Алька.

— А жарко не жарко, да не забывай: ты девушка!

Еще больше вознегодовала Пелагея, когда присмотрелась к пекарне. Попервости-то, ошалев от радости, она ничего не заметила, ни трех прогорелых противней, брошенных в угол за ведро с помоями (опять начет от бухгалтерии), ни забусевшей стены возле мучного ларя (сразу видно, что без нее ни разу не протирали), ни обтрепанного веника у дверей (какая польза от такого?).

Но самый-то большой непорядок — хлебы.

Одна, другая, третья... Двенадцать подряд буханок «мореных» и квелых, неизвестно где и печенных — не то в печи, не то на солнышке. Но эти буханки еще куда ни шло: человек печет — не машина, и как совсем брака избежать? Да ведь и остальной хлеб у нее сиротой смотрит.

Пелагея заглянула в миску, из которой она обычно смазывала верхнюю корочку только что вынутой из печи буханки. Смазывала постным маслом на сахаре — уж на это не скупилась. Тогда буханку любо в руки взять. Смеется да ластится. Сама в рот просится. А эта чем смазывала? Пелагея метнула суровый взгляд в сторону Альки. Простой водой?!

— Да разве ты первый раз на пекарне? — стала она отчитывать дочь. — Не видала, как матерь делает?

— Ладно, — отмахнулась Алька, — исть захотят — слопают.

— Да ведь сегодня слопают, завтра слопают, а послезавтра и пекариху взашей!

— Испужали... Нашла чем стращать...

Вот и поговори с ней, с кобылой. На все у ней ответ, на все отговорка.

Нет, хоть и сказано у людей: какова березка, такова и отростка, — а не ейный отросток эта девка. Она, Пе-

лагея, разве посмела бы так ответить своей матери? Да покойница прибила бы ее. А людям, тем и вовсе на глаза не показывайся. Ославят так, что и замуж никто не возьмет. Раньше ведь первым делом не на рожу смотрели, а какова у тебя спина да каковы руки.

А у Альки единственная работа, которую она в охотку делает, это вертеться перед зеркалом да красу на себя наводить. Тут ее никакая усталь не берет.

Война у Пелагеи с дочерью из-за работы идет давно, считай, с того времени, как Алька к нарядам потянулась, и сейчас, в эту минуту, Пелагея так распалилась, что, кажется, не будь рядом чужого человека, лопату бы обломала об нее.

Все же она сорвала свою злость.

Алька нехотя, выламываясь — нарочно так делала, чтобы позлить мать, — стала натягивать на себя платье-халат.

И вот тут-то и подал свой голос до сих пор помалкивавший офицер.

— Мамаша не бывала в городе? — спросил он учтиво. — А там, между прочим, половина населения сейчас лежит у реки в таком же наряде, как Аля. И представьте, никто за это не наказывает.

— Дак ведь то в городе, Владислав Сергеевич, а то у нас... К нам городское житье неприменимо...

Офицер легонько пожал плечами (не мое, мол, дело указывать, не я здесь хозяин), но тоже привел себя в приличный вид — надел брюки.

Алька дулась. Забралась с коленями на табуретку, лицо в раскрытое окно, а матери — зад. Любуйся!

Пелагея быстро замыла забусевшую стену у мучного ларя, прошлась новым мокрым веником по пекарне — сразу пол заблестел, — прибрала на рабочем столе и вдруг подумала, а не зря ли она напустилась на девку. Девка худо-хорошо целыми днями работает. В жаре. В духоте. А главное, Пелагее сейчас страшно неловко

было перед офицером — он как раз в то время вернулся с улицы. Офицер-то чем провинился перед ней? Тем, что Павла от верной смерти спас? Или, может, тем, что сейчас вот дрова им помогает распилить?

Пелагея живехонько преобразилась.

— Алевтинка, — сказала она ласковым голосом и улыбнулась, — ты хоть чаем-то напоила своего помощника?

— Когда чаи-то распивать? Не без дела сижу...

— Да с делом ли, без дела, а помощников-то надо напоить-накормить. Ох, Алька, Алька! Захотела нонешних работников на колодезном пиве удержать... — Пелагея еще приветливее, еще задушевнее улыбнулась, потом разом выложила карты: — Ставь самовар, а я за живой водой сбегаю.

12

Пелагея любила чаевничать на пекарне. Самые это приятные минуты в ее жизни были, когда она, вынув из печи хлебы, садилась за самовар. Не за чайник — за самовар. Чтобы в самое темное время — зимой — солнце на столе было. И чтобы музыка самоварная играла.

Бывали у ней на пекарне и гости. Особенно раньше. Кто только не забегал к ней тогда! Но — что говорить — такого гостя, по душе да по сердцу, как нынешний, у нее, пожалуй, еще не было.

Красавец. Образованный. И умен как бес — через стену все видит.

Пелагея не поскупилась — две бутылки белого купила. Думала, пускай и у солдат праздник будет. Заслужили: целую кучу вровень с крыльцом дров накололи. Да потом и то взять: начальнику-то ставь, да и помощников не забывай. Потому как известно — через помощников ведут двери к начальнику.

В общем, сунула стриженым ребятам бутылку. На ходу сунула — никто не видел.

А вот какой у него глаз — увидел.

Только вошла она в пекарню с покупками, а он уж ей пальцем:

— А вот это, мамаша, непорядок! Солдат у меня не спаивать.

Сказал в шутку, с улыбочкой, но так, что запомнишь — в другой раз не сунешься.

Пелагея быстро захмелела. Не от вина — две неполные рюмки за компанию выпила. Захмелела от разговора.

Превыше всех благ на свете ценила она умное слово. Потому что хоть и малограмотная была, а понимала, в какой век живет. Видела, чем, к примеру, всю жизнь берет Петр Иванович.

Но рядом с этим быстроглазым шельмой — так любовно окрестила про себя Пелагея Владика (сам настоял, чтобы по имени звала) — и Петр Иванович не колокол, а пустая бочка. И все-то он знает, все видел, везде бывал, а если уж словом начнет играть — заслушаешься.

К примеру, что такое та же самая «мамаша», которой он постоянно величал ее?

А самое обыкновенное слово, ежели разобраться. Не лучше, не хуже других. Родная дочь так тебя кличет, потому что родная дочь, а чужой человек ежели назовет — по вежливости, от хорошего воспитания. А ведь этот, когда тебя мамашей называет, сердце от радости в груди скачет. Тут тебе и почтение, и уважение, и ласка, и как бы намек. Намек на будущее. Дескать, чего в жизни не бывает, может, и взаправду еще придется называть мамашей.

Неплохо, неплохо бы иметь такого сыночка, думала Пелагея и уж со своей стороны маслила и кадила, как могла.

Но Алька... Что с Алькой? Она-то о чем думает?

Конечно, умных да хитрых речей от нее никто не тре-

бовал — это дается с годами, да и то не каждому, — да ведь девушка не только речами берет. А глаз? А губы на что?

Или то же платье взять. Пелагею из себя выводил мятый, линялый халатишко, который натянула на себя Алька. Как можно — в том же самом тряпье, в котором матерь возле печи возится! Или, может, нищие они? Платья приличного не найдется? Она подавала дочери знаки — глазами, пальцами: переоденься, не срамись, а то хоть и вовсе растеляшься. Чего уж париться, раз недавно еще расхаживала в чем мать родила.

Не послушалась. Уперлась как неук. Просто на дыбы встала. Вот какой характер у девки.

Но и это не все. Самую-то неприкрытую дурость Алька выказала, когда Пелагея стала разговаривать с Владиком о его родителях. Простой разговор. Каждому по силам пряжа. И Пелагее думалось, что и Алька к ним сбоку пристанет. А она что сделала? А она в это самое время начала зевать. Просто подавилась зевотой. А потом и того хуже: вскочила вдруг на ноги, халат долой да, ни слова не сказав, на реку. Разговаривай, беседуй матерь с кавалером, а мне некогда. Я купаться полетела. Пелагея от стыда за дочь глаз не решалась поднять на офицера. Но плохо же она, оказывается, знала нынешнюю молодежь! Владик — и минуты не прошло — сам вылетел вслед за Алькой. И не дверями вылетел, а окошком — только ноги взвились над подоконником. Про все позабыл. Про мать, про отца...

И Пелагея уже не сердилась на дочь. Разве на кобылку молодую, когда та лягнет тебя, будешь долго сердиться? Ну, поворчишь, ну, шлепнешь даже, а через минуту-другую уже любуешься: бежит, ногами перебирает и солнце в боку несет.

И Пелагея сейчас, с тихой улыбкой глядя в раскрытое окно, тоже любовалась дочерью. Красивая у нее дочь. Благословлять, а не ругать надо такую дочь. И ежели

им, Амосовым, думала Пелагея, суждено когда-нибудь по-настоящему выйти в люди, то только через Альку. Через ее красу. Через это золото норовистое, за которым сейчас гнался офицер.

13

Пелагея за этот месяц помолодела и душой и телом.

Нет, нет, не отросли заново волосы, не налились щеки румянцем, а чувствовала себя так, будто молодость вернулась к ней. Будто сама она влюблена.

Да, обнималась и целовалась с Владиком Алька (как уж не целоваться с таким молодцом, раз для своих, деревенских, рот полым держала), а волновалась-то она, Пелагея. Так волновалась, как не волновалась, когда сама в невестах ходила. Да и какие волненья тогда могли быть? Павел хоть и из хорошей семьи (по старым временам у Амосовых первое житье по деревне считалось), а робок был. Сразу ей отдался в руки.

А этот вихрь, огонь — того и гляди руки обожжешь, и что у него на уме — тоже не прочитаешь. «Мамаша, мамаша...» — на это не скупится, сено помог с пожни вывезти на военной машине, а карты свои не открывает. Ни слова насчет дальнейшей жизни.

Конечно, Альке спешить некуда — другие в это время еще в куклы играют. Да разговоры. Кому это нужно: чтобы на каждом углу трепали девкино имя? А потом — ученье на носу. Не думает же он, что и со школьницей гулять будет?

В общем, думала-думала Пелагея и надумала — созвать у себя молодежный вечер. Уж там-то, на этом вечере, она сумеет выведать, что у него на уме. Молодежные вечера нынче в деревне были в моде. Их устраивали и по случаю проводов сына в армию, и по случаю окончания детьми средней школы, а то и просто так, без всякого случая.

Всех лучше да памятнее вечера были, конечно, у Петра Ивановича — там уж всякой всячины было вдоволь: и вина, и еды, и музыки. А Пелагея на этот раз решила и Петра Ивановича переплюнуть.

Слыхано ли где, чтобы не было вина белого на столе и чтобы гости были пьяны? А у нее так будет. Пять бутылок коньяку выставит — деньги немалые, коньяк почти в полтора раза дороже белого вина, да чего жадничать? Две-три буханки лишних скормить борову — вот и покрыта разница, зато будет разговоров у людей.

Постаралась Пелагея и насчет закуски. Рыба белая, студень, мясо — это уж ясно. Без этого по нынешним временам не стол.

А как насчет ягодок, Петр Иванович? Раздобыл бы ты, к примеру, морошки, когда ее еще на цвету убило холодом? А она раздобыла. За сорок верст Маню-маленькую сгоняла, и та принесла небольшой туесок, выпросила для больного у своей напарницы по монастырю — та, бывало, в любое лето должна была насобирать морошки для архиерея.

О другой ягоде — малине — Пелагея позаботилась сама. Тоже и на малину неурожай в этом году — по угорам поблизости все выгорело, пришлось ей тащиться на выломки, за Ипатовы гари. И ох же на какую ягоду она напала! Крупную, сочную, нетронутую — сплошными зарослями, как одеяла красные по ручью развешаны.

Она быстро надоила эмалированное ведро, потом — раззадорилась — загнула коробку из бересты, да еще и коробку наполнила.

Домой притащилась еле-еле — дорога семь верст, ноша в три погибели гнет и за весь день сухарик в ручье размочила.

— Отец, Онисья! — заговорила она с порога, через силу улыбаясь. — Ругайте меня, дуреху. Ежели сказать, куда ходила, не поверите...

Ее удивило молчание Анисьи, праздно, без дела си-

девшей у стола с опущенной головой. Потом она разглядела мужа. Павел лежал с закрытыми глазами, и попервости она подумала: спит. Но он не спал. Дышал тяжело, со всхлипами, лицо потное, и на сердце мокрая тряпица. Неужели опять приступ?

Пелагея быстро поставила ведро и коробку с ягодами на стол.

— Где Алька? Не за фершалом побежала?

Анисья опять ничего не ответила.

— Где, говорю, Алька? Вернулась с пекарни?

— Нету Альки...

— Н-не-ту-у? — у Пелагеи ноги подкосились — едва мимо стула не села.

Так вот кто ей махал с парохода, когда она вышла из лесу к реке! Родная дочь. А она-то по-хорошему подумала тогда: вот, мол, какая девка у чьих-то родителей — чужому, незнакомому человеку машет.

— С тем, пройдохой, уехала? — спросила глухо Пелагея.

— Одна.

— Одна? Одна в город-то уехала? А тот где?

— Тот еще вчера уехал.

— Отец, отец.. — истошным голосом заголосила Пелагея, — чуешь, что дочи-то у нас наделала?

Анисья вывела ее в сени и там окончательно добила: Алька в положении. Так по крайности она сказала тетке и отцу, когда днем, прибежав с пекарни, вдруг начала собираться в город.

14

...То не кустышки в поле расстоналися,
Не кукушица серая на жизнь плачется,
То у нас в селе вдова народилася...

Так, такими бы словами, запомнившимися с детства, хотелось Пелагее выплакать свое горе. А еще больше ей

хотелось бухнуть прямо на колени и принародно покаяться перед мужем: «Прости, прости, Павел Захарович! Это я, я довела тебя до могилы...»

Но она не сделала ни того, ни другого.

Она стояла, пошатываясь, возле красного гроба рядом с рыдающей, распухшей от слез Анисьей и крик держала за зубами. Потому что кто поверит ей? Кого тронет ее плач?

Проводить Павла в последний путь собралась вся близкая и дальняя родня. Свои, деревенские, — это само собой, иначе и быть не может, но, кроме них, приехала из города двоюродная сестра Павла, приехал дядя-пенсионер из лесного поселка, прилетел Павлов племянник, офицер...

Не было возле покойного только его родного детища — Альки.

Павел помер на третий день после бегства дочери из дому, и где было ее искать? В городе? В дороге? А в общем, думала Пелагея, может быть, и лучше, что не торчит возле гроба Алька. Она, Пелагея, чувствует себя преступницей, не смеет глаза поднять на людей, а что сказать об Альке? Не хотела Алька смерти отца — это ясно, а все-таки после ее суматошного отъезда помер, она, единокровная дочь, помогла отцу сойти в могилу. И если теперь, в ее отсутствие, до слуха Пелагеи (она стояла в ногах у покойного) то и дело доходил пересудный шепот сердобольных баб: «Вот какие пошли нынче деточки... Живьем готовы закопать в могилу родителя... Ро́сти их, дрожи над ними...» — то что было бы, если бы тут была Алька!

Хоронили Павла и по-старому и по-новому.

Дома все было по-старому. И власти, надо говорить правду, не мешали. Пока старушонки окуривали гроб ладаном да негромко тянули «Святый боже», власти стояли на улице у крыльца и покуривали. Правда, Афонька-ветеринар влетел было по пьянке в избу, закри-

чал, чтобы сейчас же прекратили издеваться над беспартийным большевиком, но его быстро утихомирили. Сами же власти, Василий Игнатьевич да Петр Иванович, просто вытолкали из избы.

Новый обряд начался на кладбище, когда над раскрытым гробом стали говорить речи.

— Беззаветный труженик... С первого дня колхозной жизни на трудовой вахте... Честный... Пример для всех... Никогда не забудем...

И вот тут-то Пелагея дрогнула. Все выдержала: причитания, осуждающие взгляды, пересудные шепотки — не пошевелилась, не охнула. Стояла у гроба как каменная. А начали речи говорить — и земля зашаталась под ногами.

— Беззаветный труженик... С первого дня колхозной жизни... Честный... Пример для всех...

Пелагея слушала-слушала эти слова и вдруг подумала: а ведь это правда, святая все правда.

Безотказно, как лошадь, как машина, работал Павел в колхозе. И заболел он тоже на колхозной работе. С молотилки домой на санях привезли. А кто ценил его работу при жизни? Кто сказал ему хоть раз спасибо? Правление? Она, Пелагея?

Нет, надо правду говорить: она ни во что не ставила работу мужа. Да и как можно было во что-то ставить работу, за которую ничего не платили?

А вот сейчас Павла хвалили. И ей вдруг жалко стало, что Павел не слышит этих похвал.

А еще, глядя на покойника в гробу, на его неподвижное восковое лицо с закрытыми глазами, на его большие, очень бледные руки, скрещенные на груди, она подумала, что это ведь лежит Павел, ее муж, человек, с которым — худо-хорошо — она прожила целую жизнь...

И тогда она заплакала, заревела во все горло. И ей теперь было все равно, что скажут о ней люди, какую грязь кинут в Альку...

15

Вот и дождалась она долгожданного отдыха...

Утром вставала поздно, не спеша. Не спеша топила печь, пила чай, затем отправлялась в лес.

Грибы да ягоды были ее страстью смалу. И ежели кому и завидовала Пелагея все эти годы, работая на пекарне, так это грибницам да ягодницам. А теперь ей незачем было завидовать. Теперь она сама могла по целым дням ходить по лесу.

И она ходила. Ходила по знакомым с детства холмикам и веретийкам, по мызам, по старым расчисткам, отдыхала у ручейка, у речки, всматривалась в их густую осеннюю синеву, слушала крики журавлей, собачий лай...

Но много ли ей одной надо? Три раза сходила за солехами да два раза за обабками, натолкла ушатик ягод, а зачем еще?

Несколько дней у нее ушло на уборку картошки. Картошка уродилась ядреная, крупная — с двух грядок она набила погреб, а за баней оставалась еще грядка, и ей бы радоваться надо да бога благодарить, а она опять спрашивала себя: зачем? К чему ей столько картошки?

Она изнывала, изнемогала, ожидаючи писем от Альки. А та не писала. Уехала — и ни одной весточки. Как в воду канула. И она кляла, ругала дочь самыми последними словами: «Сука! Зверь бездушный! Мало тебе смерти отца, дак ты и матерь хочешь в могилу свести». А потом ожесточение проходило, и она еще пуще жалела дочь. Где она теперь? Что делает? В чужом городе... Без паспорта...

Однажды Пелагея, решив засолить для Альки ведерко рыжиков, — ведь должна же она когда-нибудь объявиться, — уплелась далеко, верст за пять от дому, и неожиданно для себя вышла на Сургу, к коровьему стаду.

День был сухой, светлый, солнце грело по-летнему, и

вообще весь сентябрь был на редкость красивый, словно сам бог решил вознаградить ее за все те годы, что она провела на пекарне.

Сургу она знала вдоль и поперек — семь лет тут возилась с коровами до того, как стала на пекарню. И у нее и в мыслях не было, чтобы спускаться с лесистого ягодного угора вниз к дояркам. Зачем? Чего она там не видала?

Но тут вдруг затарахтел мотор, коровы, как по команде, потянулись к длинному двускатному навесу из белого шифера, под которым их доили, и она заколебалась: что такое эта электродоилка? Уже два года как установлена в колхозе, а она и не видела.

Скотницы встретили ее шутками:

— Дак вот почему мы без ягод да грибов! Вор повадился в наши леса.

— Нет, не потому, — возразил им пастух Олекса Лапин, который, сидя у огонька, попивал чаек, — а потому, что много спите.

— А и верно, что много, — согласились скотницы.

Скотницы смеялись, скалили зубы. И не удивительно: машина доила коров, а они только подмывали вымя да приставляли к соскам резиновые наконечники с длинными шлангами, по которым молоко перекачивалось в морозные алюминиевые бидоны. Вот и вся работа ихняя.

А как они, бывало, работали! Руки выворачивали на этой дойке. А холод-то? А дождь? А каково это каждый день два раза мерять дорогу — от деревни до Сурги и от Сурги до деревни? Грязь страшенная, до колена, — и где уж тут присесть на телегу. Хоть бы бидоны-то с молоком лошадь вытащила. А теперь — машина. С брезентовым верхом. И как тут не смеяться да не точить лясы!

Все, все было сейчас иным, чем раньше, в ее время. Даже коровы и те стали какими-то другими. Бывало, как на живодерню, тащишь буренку на дойку. Глотку сорвешь, пока подоишь. А сейчас она сама рвется к доиль-

не, потому что там ее соль-лизунец да концентрат ждут.

— От Али новостей нету?

Если бы Лида Вахрамеева не заговорила сама, Пелагея так бы и не признала ее. Красавица! Румянец во всю щеку. Да разве это та сопливая девчонка, которая в прошлом году хотела нарушить себя?

Лиде Вахромеевой грамота, как и Альке, давалась туго, в седьмом классе была оставлена на осенние экзамены, и вот отец — чистый кипяток! — распорядился: «В скотницы! Раз человечьей грамоты не понимаешь, коровью учи!» Лида плакала, умоляла отца, матерь, валялась в ногах у председателя, из города дядю военного призывала — только бы не в навоз, не к коровам. А сейчас — посмотреть на Лиду — и человека счастливее ее нету. Смеется. Во весь рот смеется. От души. А уж одета — картина! Одни сапожки на ногах пятьдесят рублей стоят. Вот какие нынче деньжищи огребают скотницы.

И тут Пелагея с тоской подумала об Альке. О том, что и Алька могла бы работать дояркой. А почему бы нет? Чем это не работа?

Всю жизнь, от века в век, и матерь ее, и бабка, и сама она, Пелагея, возилась с навозом, с коровами, а тут вдруг решили, что для нынешних деточек это нехорошо, грязно. Да почему? Почему грязно, когда на этой грязи вся жизнь стоит?

В этот день Пелагея много плакала. Плакала в лесу, когда рассталась с доярками, плакала по дороге домой. И особенно много плакала дома, когда вошла в пустую избу.

16

Болезнь подкралась к Пелагее незаметно, вместе с осенними дождями и сыростью, и она была для Пелагеи мукой. Не умела Пелагея болеть. Она была в мать.

Та еще за три дня до смерти просила у нее работы: «Дай ты мне чего-нибудь поделать. Я ведь жить хочу».

Пелагея не думала, понятно, о работе на пекарне, — где уж ей теперь тащить такой воз? — но об одной работе она думала всерьез. На другой день после встречи со скотницами на Сурге, утром, когда она еще лежала в постели, ей вдруг пришло в голову, а почему бы ей самой не стать снова дояркой. Работа на вольном воздухе, машина в помощниках, мотаться пешедралом не надо — да неужели не справится?

Три дня она жила этой мыслью. Три дня она, что бы ни делала, куда бы ни шла, только и думала о том, какой переполох в деревне вызовет ее возвращение в колхоз.

— Слыхали, что Пелагея-то выкинула?

— Ну и ну!

— Она может. Железная!

А на четвертый проснулась утром и — куда девалось хваленое железо? — не пошевелить ни рукой, ни ногой. И нет дыхания — сперло в груди.

К полудню она все-таки расходилась и даже погреб принялась утеплять, но с этого дня силы ее начали убывать.

Она сопротивлялась болезни, целыми днями делала что-нибудь возле дома: то прибирала дрова, то убирала и жгла мусор, то конопатила чулан — всегда зимой один угол промерзает — и часто-часто выходила на горочки — на угор, откуда хорошо видно пекарню.

Если была сухая погода, она садилась к черемуховому кусту, у которого раньше поджидал ее больной Павел, и подолгу глядела за реку.

О многом думалось тут, в душистом затишье, многое вспоминалось — и хорошее и плохое, — но чаще всего Пелагея возвращалась к первым дням работы на пекарне, к той безрассудной, прямо-таки бесшабашной смелости, с которой она бросилась в бой за новую жизнь.

Нет, не в том она видела смелость, что переспала

с чужим мужиком. Припрет нужда да голод — с самим дьяволом переспишь. А уж они с Павлом хватили нужды да голода после войны. В сорок шестом году на глазах у них зачах их первенец, их единственный сын. Зачах оттого, что у матери начисто пересохли груди.

И разве могла она допустить, чтобы и второго ребенка у них постигла та же участь?

Смелость свою она видела в другом. В том, что не побоялась пойти против всех. Против председателя колхоза, который рвал и метал, что у него выхватили лучшую доярку, против колхозников («Это за каки таки заслуги такие корма Палаге?»), против Дуньки-пекарихи и ее родни.

И вот одолела. Всех положила на лопатки. Одна. За один месяц. А чем? Какой силой-хитростью? Хлебом. Теми самыми хлебными буханками, которые выпекала на пекарне. Их, свое хлебное воинство, бросила на завоевание людей. И они завоевали. Никто не мог устоять против ее хлеба — легкого, душистого, вкусного и сытного.

17

В октябре Пелагею дважды навещала фельдшерица и дважды уговаривала ехать в районную больницу. Но Пелагея в ответ только качала головой. Зачем она поедет туда? Чем помогут ей районные врачи? Да разве и сама она не знает, что у нее за болезнь?

Сколько раз за эти годы перекладывали печь на пекарне! А уж об отдельных кирпичах и говорить нечего — их меняли каждый год. Не выдерживали жары, лопались...

Так ведь то кирпичи — из глины, камень, можно сказать. А что же говорить о человеке? О ней, о бабе, которая за эти восемнадцать лет и одного дня не отдыха-

ла? Вот и развалилась, распалась сейчас, вот и не может по целым дням оторваться от постелй...

К Пелагее редко кто заходил. Маню-большую она выставила сама; с Анисьей, золовкой, рассчиталась сразу же после Павловых похорон: свыше сил было видеть ее, свидетельницу собственного позора; Петр Иванович не заглядывал — это само собой. К чему она ему теперь?

Единственно, кто навещал ее в эти холодные осенние дни, — это Лида Вахромеева, Алькина подружка. Та забегала. И воды приносила, и дров, и всякие деревенские новости рассказывала. Но, по правде сказать, Пелагея не особенно зазывала Лиду. Потому что очень уж тоскливо было после ее ухода. Просто белый день сменялся ночью.

Днем Пелагея все помаленьку топталась по избе. Да днем и лежать повеселее. Днем за окошком жизнь. То кто-нибудь проедет на лошади или на тракторе, то соседка пробренчит ведрами, направляясь за водой к колодцу, то, на худой конец, ворона прокаркает — тоже жизнь. А ночью как в могиле. Ночью караул кричи — не докричишься. Только разве Афонька пьяный фарами поиграет на никелированных самоварах, что стоят на комоде.

Афонька, когда переберет, места себе не может найти. Всю ночь, как нечистая сила, разъезжает на мотоцикле. Из улицы в улицу, из заулка в заулок. И, ох же, как выходила из себя Пелагея, когда Афонькины громы середи ночи раскатывались под ихними окошками! Все, какие ни есть на свете, кары призывала на Афонькину голову. А теперь, в эти длинные осенние ночи, только и радости у нее было, когда на улице появлялся пьяный мотоциклист...

В Октябрьскую Пелагея чувствовала себя не лучше, не хуже, чем накануне. Но встала она в этот день задолго до рассвета. Затопила печь, напекла шанежек, ватрушек, пирожков с мясом и изюмом, закатала рыбник, за-

тем подмыла пол, переменила скатерть на столе, принарядилась сама.

Больше всех праздников любила она Октябрьскую.

Целый день, бывало, с раннего утра звенит радость в ихнем доме. Сперва сборы на демонстрацию Павла да Альки, примерка обнов — это уж обязательно: к каждому празднику обнова! — потом, часов с одиннадцати, когда демонстрация появлялась в ихнем околотке, зайцы-сугревники (так Пелагея про себя называла начальство, которое забегало к ней пропустить рюмочку для тепла): Петр Иванович, председатель сельсовета, колхозный председатель... Да каждый тайком, с оглядом, чтобы разговоров лишних не было. А в избу-то забежали — тоже с потехой. Кто дьячком, кто козой проблеет от порога: «Не согреют ли в этом доме плоть мою промерзшую?»

Весь день просидела Пелагея у окошка, вглядываясь сбоку, из-за занавески, в деревенскую улицу.

Демонстрации в этом году опять не было. Три года назад умерла школьница от гриппа (будто бы ноги во время демонстрации промочила), и с той поры перестали ходить с красными флагами по деревне.

Поглядела-поглядела Пелагея на развеселых мужиков да баб — весь день гужом перли то к Анисье, то от Анисьи, — повздыхала, поплакала и в сумерках, не зажигая огня, прилегла на кровать.

И вот не успела сомкнуть глаз — шаги на крыльце, а потом кольцо брякнуло в воротах.

Она так и привстала на кровати. Кто вспомнил ее в этот день?

Маня-большая. Ее бесовский глаз запылал в темноте под порогом.

Пелагея и раз и два хватила открытым ртом воздух, а сказать — и слов нету: до того поражена она была нынешним приходом Мани. Ведь это же надо: нарочно придумывать — не придумать такого оскорбленья!

Наконец она собралась с духом.

— Не ошиблась адресом? — спросила она не своим, а чужим словом, запавшим ей в голову от кого-то из прежней компании. Потом, подумав, что до Мани такое не дойдет, хватила как обухом по голове: — А может, богатством Христовым пришла похвастаться? Обновками? Как сборы-то ноне?

Христово богатство — это платки, полотенца, одежонка некорыстная, отрезы ситцевые, шерсть овечья и даже кое-какая мелочишка из денег — в общем, все то, что верующие по обету вешают и кладут у «моленных» крестов.

Эти «моленные» кресты стали появляться возле деревень, в лесу, еще в военную пору. Устройства они самого простого. Тесаный и врытый в землю крест — редкость. А чаще всего так: срежут у нетолстой ели или сосны ствол этак метра на два, на три от земли, пролысят, как кряж, предназначенный на дрова, затем набьют поперечную перекладину — жердяной обрубок, бросят зачем-то к комлю несколько камней — и крест, напоминающий какое-то языческое, дохристианское капище, готов.

Местные безбожники, конечно, не дремали — беспощадно вырубали «моленные» кресты. Но разве вырубишь лес?

Маня-большая уже который год кормилась возле этих крестов. Она, как охотник свой путик, регулярно, под каждый праздник, обегала кресты в округе.

Однако напрасно взвинчивала себя Пелагея — не сорвала свою злость на старухе.

Маня-большая не только не бросилась опрометью вон из избы, как это сделал бы каждый на ее месте. Маня-большая даже не поморщилась. Села на прилавок к печи, сарафанишко поверх матерчатых штанов в белую полоску выше колена вздернула, нога на ногу, да еще и закурила.

Вот эта-то Манина наглость и отрезвила Пелагею, а то один бог знает, что и было бы: у нее хорошие-то люди

без спроса не курили в доме, так разве позволила бы она какому-то огрызку!

Нет, подумала Пелагея, что-то у ней есть, не с пустыми руками пришла, коли барыней расселась. И этак издалека — на прощуп — спросила:

— Что в мире-то ноне деется? Какими новостями живут люди?

— Да есть кое-чего. Не без того же, — уклончиво ответила Маня.

— Грызут друг друга?

— Пошто грызут? Кто грызет, а кто и радуется.

— Да, да, — вздохнула Пелагея, — верно это, верно. Кто и радуется.

— Давай дак не вздыхай. Ты и сама не без радостей.

— Я? — Пелагея от удивления даже приподнялась.

— Знамо дело.

— Что ты, что ты, плетия... Мужа схоронила, сама не могу...

Маня против этого не возражала.

Значит, об Альке вести, догадалась Пелагея, и так ей вдруг легко стало, будто лето спустилось в избу.

Она быстро встала с постели.

— Вот ведь какое со мной горе! Гостья пришла, а я лежу как бревно. Ты уж прости, прости меня, Марья Архиповна, недотепу, — неожиданно для себя заговорила она своим прежним, полузабытым голосом, тем самым обволакивающим и радушным голосом, против которого никто, даже сам Петр Иванович, не мог устоять. — Все одна да одна, совсем из ума выжила. Нет, нет, Марья Архиповна! Мы сейчас за самоварчик да за рюмочку — праздник сегодня. Да ты кури, кури, Маша, не стесняйся. Я, бывало, когда хозяин во здоровье был, сама покупала папиросы. Да сапожки-то, может, снять, не томи ты свою ножку, я валенки теплые с печи достану...

Новость, которую поведала Маня (конечно, после того, как опрокинула три рюмки, — Пелагея сразу поня-

ла, что насухо из старухи ничего не вырвешь), превзошла все ее ожидания: Альке сельсовет выслал справку на паспорт.

— Да ты не врешь, Маша? Не перепутала чего? — переспросила Пелагея и — не могла удержаться — всплакнула: ведь из-за этой самой справки она жизнь себе укоротила, можно сказать, даже в постель слегла. К губану ходила, колхозного председателя молила, Петра Ивановича жалобила — все без толку. «Не то время сейчас, — сказал ей Петр Иванович. — Поворот молодежи в сторону деревни даден. Подожди». А как же ждать? Девка в городе и без паспорта — да это хуже, чем в глухом лесу заблудиться.

И вот спала гора с плеч — Алька с паспортом.

— Да когда это было-то? — все еще до конца не веря, опять стала допытываться Пелагея.

— Позавчерась.

— Позавчерась? И у тебя хватило терпенья, Марья Архиповна, утаивать такую весть от матери?

— Матерь-та эта еще не знаешь, как и встретит...

— Ну, ну, — живо замахала руками Пелагея, — чего старое вспоминать. На солнце и на то затемненье находит, а наш брат — баба глупая... Говори, говори, Марья Архиповна!

— Да чего говорить-то? Василий Игнатьевич вчерась в лавке сказывал. «Совсем, говорит, уплыла от нас девка. Военная часть справку требует...»

— Ну и дали справку-то?

— Да как не дашь-то? Говорю, армия требует...

— Армия?.. — повторила с раздумьем Пелагея. — Дак ведь это он, Владик, хлопочет... Ей-богу, Маша! Господи! — воскликнула Пелагея и прослезилась. — Вместях, значит? Вдвоем? А я-то все времечко убиваюсь, места не могу себе прибрать...

— Матерь, — многозначительно заметила Маня.

— Хотела бы, хотела бы я на ихнее счастье посмо-

треть, — мечтательно разоткровенничалась Пелагея. — Да нет, не ускочишь. Как на привязи сидишь у болезни. А та сука сама не догадается письма написать. Вот ведь какие нынче деточки-то пошли. Матерь вынь да положь, когда припрет, а когда у них все хорошо да ладно, они о матери-то и не вспомянут...

Маня, утешая Пелагею, сказала, что письмо придет, никуда не денется и что раньше Альке и писать было не о чем — только мать расстраивать, раз с паспортом нелады. Потом вдруг предложила:

— А терпежу нету — выписывай командировку. В два счета слётаю.

— Ты? В город?

— А чего? Обрисую положенье. Все как есть.

Пелагея строго поджала губы — это уж всегда, когда ей надо было на что-то решиться. При этом она быстро прикинула, во что может обойтись ей Манина поездка. Рублей в сорок. Дорого. Чуть ли не месячная зарплата на пекарне. А с другой стороны, подумала она, что деньги? Неужели ее собственный покой ничего не стоит?

— Рублей двадцать пять дам, — сказала осторожно Пелагея.

— За четвертак в город? Шлепай сама! — Маня-большая быстро и деловито начала загибать пальцы: — Билет туда да обратно семнадцать шестьдесят. Так? Пить-исть надо? Фатера да суточные положено? Ну и хоть небольшие северные — на сугрев старухе... — Маня хихикнула.

После недолгих торгов сошлись на тридцати пяти рублях, не считая, конечно, подорожников, которые напечет Пелагея.

18

Маня ездила в город девять дней — на целых три дня больше, чем они договаривались, — и Пелагея последние

ночи почти не спала. Все передумала. Самые худые мысли допускала об Альке.

А тут еще завернули морозы. Где старушонка? Уехала в кирзовых сапогах, налегке — не свалило ли в дороге?

Наконец вернулась Маня.

В избу вошла — ни дать ни взять чучело огородное: фуражка военная со светлым козырьком поверх шали-завязухи, рукавицы — с крупного мужика — по локоть, какая-то шубешка драная шерстью наружу... В общем, как догадалась Пелагея, вешала на себя все, что давали сердобольные люди.

Пелагея вмиг преобразила старуху: на ноги теплые валенки с печи, телогрею собственную дала, тоже заранее нагретую на печи, а затем и стопку белой. Как самой дорогой и желанной гостье.

— Ну как она? — нетерпеливо спросила, когда сели к столу. (Самовар уж кипел — третий день с утра до ночи стоял под парами.)

— Хорошо живет. На большой! — ширнула простуженным носом Маня и для убедительности подняла прокуренный палец. — Фицианкой работает.

— Кем, кем?

— Фицианкой, говорю. С подносом со светлым бегает.

У Пелагеи погасли глаза.

— Ох, Алька, Алька! Нету у нас с тобой счастья. Что уж тут хорошего — с подносом бегать...

— А чего нехорошего-то? Там ведь не у нас — чего хватил, и ладно. Под музыку лопают...

— Под музыку?

— Ну! Поедят, попляшут, чтобы утряску продуктам в брюхе сделать, да снова за стол...

— Дак это она не в том... не в сторани, где мужики выпивают?

Маня коротко кивнула:

— В сторани.

— Ну, а как она из себя-то? Видом-то как? — продолжала допытываться Пелагея.

— А чего видом-то... Работа не пыльная... И деньги лопатой загребают...

— Плети-ко... Кто это там такой щедрый?

— Есть в городах народ. А особенно ежели он выпимши да перед ним задом вертят...

— Задом вертят? И Алька вертит? Да что она, одичала?

— Сторан, — с умственным видом пояснила Маня. — Положено. Чтобы человек, значит, за свои любезные полное удовольствие получил...

— Ну уж это не дело, не дело, — сказала с осуждением Пелагея и, обращаясь не столько к старухе, сколько к себе, спросила: — Да куда Владик-то смотрит? Он-то как позволяет?

И вот тут-то и посыпалось на Пелагею одно за другим: Владика Маня не видела... На фатере у Альки не была... Как живут молодые — не знает...

— Да чего ты и знаешь-то? — возмутилась Пелагея. — Зачем я тебя посылала? Да ты, может, и в городе-то не была?

Нет, в городе, заверила ее Маня, была. И в «сторани» была. А ежели домой ее Алька не приглашала, то как будешь врать?

— Молодые... — по-своему объяснила Алькино негостеприимство Маня. — Не до старухи дело...

Да, не бог весть как много поведала Маня об Альке и ее городском житье-бытье (даже насчет беременности ничего толком не сказала), а вот что значит материнское сердце — успокоилось немного, и Пелагею снова потянуло на жизнь.

Первым делом она все перемыла да перечистила — самовары, рукомойник медный, таз (любила, чтобы все в избе горело), — затем принялась за просушку нарядов.

Нарядов — ситцевых и шелковых отрезов, шалей лет-

них и зимних, платков, платьев, юбок — у Пелагеи были сундуки и лукошки, и для нее не было большей радости, чем летом, в солнечный день, все это яркое, цветастое добро развесить по своей усадьбе.

Нынче из-за болезни Павла наряды не сушили. И вот пришлось это делать сейчас, в самое хмурое время, потому что нельзя откладывать до тепла — запросто может все пропасть.

В натопленной избе было жарко и душно, пахло залежалыми ситцами, красками, а Пелагея блаженствовала. Она вынимала очередной отрез из сундука, шумно развертывала его, пробовала на ощупь, на нюх, на зуб, затем вешала на веревку, натянутую под потолком.

А по вечерам у нее была другая радость — приходила Маня-большая пить чай, и они разговаривали. Обо всем. О том, что делается в большом мире, в районе, в своей деревне. Старуха все знала, везде бывала, а уж если начнет топтать да лягать кого — заслушаешься.

Больше всех от Мани-большой доставалось семье Петра Ивановича, ее она терпеть не могла, потому что, как ни старалась, как ни изворачивалась, не нашла лаза в ихний дом, и Пелагея не останавливала старуху. А чего останавливать? Не все в чести ходить Петру Ивановичу, пускай и ему маленько почешут бока. Разговор у них обычно начинался так:

— Ну, видела нашу красавицу? — спрашивала Пелагея.

— Каку?

— Каку-каку... Ясно каку — Антониду Петровну...

Тут темное морщинистое лицо Мани передергивалось, как от изжоги: она почему-то особенно яростно невзлюбила тихую и беззлобную Тонечку.

— Нашла красавицу. Ни рожи ни кожи... Как уклея сухая...

— Нет, нет, Марья Архиповна, — притворно возража-

ла Пелагея. — Не говори так. Неладно. Всем люба Антонида Петровна. Кого хошь спроси...

— Да чего спрашивать, когда я сама ощупку сделала! Тут недавно в клуб зашла... Мельтешится с зажигалками...

— С кем, с кем? — переспрашивала Пелагея.

— С зажигалками, говорю, с девочошками — ученицами... И сама-то зажигалка. За пазухой-то небольно. Разве что ватки сунет — какой бугорок подымется...

— Ватки? — удивленно округляла глаза Пелагея. — Вишь ты, мода-то нынче какая. Ватку за пазуху суют... И красиво с ваткой-то?

Маня дальше не выдерживала — вскакивала, начинала плеваться, бегать по избе, а уж насчет речей и говорить не приходится: всю грязь выливала на дочь Петра Ивановича.

Впоследствии, когда Пелагея опять отказала Мане-большой, она частенько и с раскаянием вспоминала эти постыдные разговоры со старухой, и ей все казалось, что именно за это злоязычие наказал ее бог. И как наказал? Через кого? А через ту же самую Тонечку.

Однажды в полдень, незадолго до Нового года, когда Пелагея развешивала у себя в комнате крепдешиновые отрезы — к этой материи она была особенно неравнодушна, — к ней забежала продавщица Окся.

— По плюшевкам скучала — привезли! — с ходу объявила Окся.

Пелагея не знала, как и благодарить Оксю: у всех замужних женщин были теперь плюшевые жакеты, а она три года не может достать. Прошли те времена, когда продавцы сами на дом приносили ей товары.

На улице было холодно, северило, мела поземка, а она бежала легко, без устали, так, как бегала в лавку раньше.

Она любила ходить в магазин. Для нее это был праздник. Праздник красок и запахов, от которых она просто

пьянела. Ну, а что касается полок с мануфактурой, то она перед ними готова была простаивать часами.

Народу в магазине не было, и Окся сразу, без задержки выбросила плюшевую жакетку. Из-под прилавка. Так что Пелагея без слов поняла, какое одолжение делает ей Окся.

Жакет был в самый раз, может, разве чуть-чуть ширил плечи, да тут капризничать не приходилось, раз такой спрос на этот товар.

— А для Альки-то не возьмешь? — спросила Окся. — А то уж бог с тобой, разоряй. Подождут другие.

И Пелагея, не долго раздумывая, взяла и для Альки. В ту, бабью сторону двигается Алька. И жакет пригодится.

— Спасибо, спасибо, Оксенья Ивановна! За мной не пропадет, в долгу не останусь, — поблагодарила прочувствованно Пелагея и, завязав жакеты в большой плат (нельзя подводить человека, который добро тебе сделал), отправилась домой.

И вот на обратном пути против клуба она и столкнулась с Антонидой Петровной. Идет, сапожками модными поскрипывает, лицо уткнула в белый пушистый воротник — сто рублей, по словам матери, заплачено — и замечталась, ничего не видит.

Пелагея, как всегда, первая поздоровалась, чем страшно смутила Антониду Петровну, а потом — бес ее толкнул в бок! — не удержалась, развернула плат. Смотри, смотри, Антонида Петровна. Да не заносись больно-то. Еще кое-кто считается с нами.

Жакет Антониде Петровне понравился.

— Симпатичный... — протенькала.

— А вы-то купили? Нет? — поинтересовалась Пелагея.

— Нет... Кажется, нет... — замялась Антонида Петровна и глазки отвела в сторону.

Да ведь она, наверно, зимой-то, когда очки обмерза-

ют, совсем ничего не видит, на ощупь ходит, подумала Пелагея, и ей опять, как тогда летом у реки, вдруг жалко стало дочь Петра Ивановича.

На Пелагею доброта нахлынула: не подумавши, выхватила из плата жакет — красиво, росомахой взыграл черный плюш на белом снегу.

— На, забирай, Антонида Петровна! Я, старуха, и без плюшевки проживу. Чего мне надо.

— Нет, нет, спасибо, что вы...

— Да чего спасибо-то! Что ты, Антонида Петровна... Разве я добра не помню? Разве я без сердца? Петр Иванович сколько раз из беды меня выручал... Нет, нет, Антонида Петровна, бери! И слушать не хочу...

Антонида Петровна совсем растерялась. Завертела каблуком, зашмыгала носиком, потом что-то забормотала насчет того, что плюшевки, мол, сейчас не в моде.

— Как не в моде? — удивилась Пелагея. — У нас который год нарасхват...

— То раньше... Вы, пожалуйста, извините меня, Пелагея Прокопьевна, но эти жакеты в магазине висят с лета прошлого года...

Тихо, с запинкой, из мехового воротника пролепетала эти слова Тонечка, а Пелагея пошатнулась от них.

19

Плюшевки все-таки у нее взяли обратно — до самого председателя сельпо дошла.

Но это для нее был удар. Удар страшный. И не то ее повергло в изумление, что ее надули. Нет, об этом она не думала, это она приняла как должное — всегда кто-нибудь кого-то надувает. Покоя ей не давало другое — то, что она так легко опростоволосилась, попала в ловушку к этой Оксе. Значит, говорила она себе, ты уж не в ладах с жизнью, выпала из телеги. А как же иначе? Лей-

тенант приезжий надул, эта стерва надула... Да как тут жить дальше?

Нет, прошли ее денечки, и Петр Иванович, видно, не зря скинул ее со своего воза. Отстала. Вышла из моды... Как те плюшевки, на которые накинулась сегодня...

Дома на веревках висели яркие пахучие отрезы крепдешина — ее любимой материи, а в раскрытом лукошке еще отреза два было не разобрано. А она сидела у стола, не раздеваясь, в той самой одежде, в которой ходила в магазин, и — ни-ни — пальцем не пошевелила. И даже не поглядела.

Она думала. Думала об этих злополучных жакетах, которые не могла достать три года, думала об отрезах — и о тех, что висели на веревках, и о тех, которые были в сундуках. Думала о прожитой жизни. Господи! На что ушла ее жизнь?

Жарилась, парилась у раскаленной печи, таскала ведрами из-за реки помои; выкармливала поросят, недосыпала, мужу отдыха не давала — и ради чего? А ради вот этих крепдешинов да ситцев, ради всего того, что нынче тряпками зовется... Да, да, тряпками. Зачем себя обманывать?

Пелагея вдруг зло расплакалась. А кто, кто виноват, что эти тряпки застили ей и жизнь, и мужа, и все на свете? Разве виновата она, что треть жизни своей голодала? В тридцать третьем году у кого померли отец и брат с голодухи? А во время войны? А после войны, когда на ее глазах исчах ее сын, ее первенец? И был один во все эти годы товар, на который можно было достать кусок хлеба, — тряпки. Потому что люди в те годы обносились донельзя.

Ну и чему же дивиться, что она, как только стала на пекарню, начала обеими руками загребать мануфактуру? Годами загребала, не могла остановиться. Потому что думала: не ситец, не шелк в сундуки складывает, а

саму жизнь. Сытные дни про запас. Для дочери, для мужа, для себя...

С этого дня Пелагея опять слегла.

20

Всю зиму болела Пелагея. Правда, лежкой лежала немного, все помаленьку топталась, но работать не могла. Да у нее, если говорить откровенно, теперь и сердце к работе не лежало...

От Альки изредка приходили письма. Короткие, неласковые — поклоны да «живу хорошо». А как хорошо? Одна? С Владиком? И сколько ни кричи — не докричишься. Как в глухом лесу.

Как-то зимой, недели две спустя после Нового года, к ней зашел Сережа Петра Ивановича — пьяный, еле на ногах стоит.

Сережа нравился Пелагее — простой, бесхитростный, — и она не ради Петра Ивановича, а ради самого Сережи стала вразумлять его: нехорошо, мол, Сергей Петрович, так за воротник закладывать, рано тебе еще с бутылкой дружить...

— Рано? — вспылил Сережа и задиристо, совсем как заправский пьяница, ударил себя кулаком в грудь. — А ежели у меня настроения нет? А ежели у меня душа со своей орбиты сошла?

— Да чего твоей душе надо? Человек с высоким образованием, у всех на виду, здоровьем, слава богу, не обижен — чего еще пытать судьбу?

— Не понимаешь ты, Пелагея... Не понимаешь...

Да, Пелагея и в самом деле не понимала, из-за чего мучается человек. И добро бы он один, Сережа, а то ведь нынешняя молодежь только и знает, что на настроение жалуется. А почему? Отчего? Нет, ей, Пелагее, в их годы было не до настроений. Дай бог кусок хлеба добыть. Да

с ними тогда и не церемонились. Утром в лес не вышел, а к вечеру тебя уж в суд поволокли.

— Не в отца ты, Сережа, не в отца, — сказала Пелагея. — Нету у тебя отцовской хватки...

— И слава богу! — петухом вскинул голову Сережа.

А чего же петушиться? Отец-то себя и с малой грамотой вон как в жизни поставил. А ежели ему бы да такое образование, как у сына!

— Жениться тебе надо, Сережа, — посоветовала Пелагея. — Да жену бери покрепче себя. Без настроений...

— Не буду я, Пелагея, жениться. Вовек! — наотрез заявил Сережа.

— Ну уж это не дело, Сергей Петрович, не дело... Надо жениться. Тогда и с бутылкой скорее расстанешься...

— Не буду! — опять с пылом вскричал Сережа. — У меня сердце разбито... Вдребезги!

— Да кто его разбил?

— Кто? Эх! — Сережа пьяно замотал головой, потом вдруг вскочил на ноги, забегал по избе, и только по тому, как он со вздохом посмотрел на переднюю стену, где рядом с зеркалом висела увеличенная Алькина карточка, Пелагея поняла, кого он имеет в виду.

Она, конечно, не очень верила Сережиным вздохам, мало ли куда занесет человека во хмелю. Но дочери написала: так и так, мол, Алюшка, дорога тебе домой не заказана. Заходил Сергей Петрович, хорошо говорил о тебе.

А Алюшка на это ответила: «Плевать я хотела на твоего Сергея Петровича!» Да еще добавила: «Хватит с меня и того, что ты всю жизнь на Петра Ивановича молишься...»

После этого Пелагея долго не могла успокоиться. Да что же это такое? — говорила она себе. Как жить дальше? Ведь что бы она ни делала, все невпопад, все мимо...

Но не Алькино письмо сокрушило Пелагею. Сокрушила Пелагею пекарня.

21

Ее давно тянуло на пекарню. Считай, еще с осени, с той самой поры, как заболела.

Думала: стоит только увидеть ей свою пекарню да подышать хлебным духом — и сразу хворь пройдет, сразу прорежется дыханье. И вообще она в жизни ни о чем и ни о ком так не тосковала, как о пекарне. Даже об Альке, родной дочери.

Первый раз за реку Пелагея отправилась было еще в феврале, когда впервые после долгой метели заледенелые окошки вызолотило красное солнышко. Но дальше спуска возле сельсовета не ушла. Из-за снежных заносов. Страхи страшные, что намело. У сельсовета, под угором, на чистом месте лошади по брюхо ныряют — так что же говорить о ней, хворой бабе?

И вот дождалась она первой затайки.

Утром встала ни свет ни заря. Чистая, благостная — вечером накануне специально сходила в баню, будто к богомолью готовилась. Из дому вышла с батожком — тоже как богомолка. И люди попадались ей навстречу какие-то благостные, просветленные.

Антоха-конюх догнал на санях перед самым спуском к реке — когда бы раньше остановился? А тут натянул вожжи:

— Ты ли это, Прокопьевна? — Да мало того, соскочил с саней, руки к ней протянул: — Ну-ко, поедем вместе. Скользко спускаться. — И так по-хорошему улыбнулся.

Пелагею до слез прошибла Антохина доброта. Она поблагодарила его, но на сани не села.

Всю дорогу какая-то незнакомая, но такая славная музыка нарастала в ее душе — так разве оборвет она ее сама?

И она легким осиновым батожком, который специально раздобыла где-то Маня-большая, щупала отмякшую

дорогу, ловила губами теплый южный ветер, порывами налетавший из-за реки, и все ковыляла и ковыляла помаленьку туда, к желтому бревенчатому зданию на угоре среди сосен...

Зато уж домой она шла как пьяная, вся в слезах, не помня себя... И хорошо, на реке ей опять повстречалась подвода — на этот раз бригадир из соседней деревни ехал, — а то бы пропадать ей, ни за что бы не добраться до дому...

Огорчения для Пелагеи начались, едва она подошла к пекарне. Помойка. Возле самого крыльца. Две вороны роются...

— Да куда это власти-то смотрят? — возмутилась она. — Почему медицина-то спит? Нет, бывало, особенно в голодные годы, каждую неделю к ней фельдшер наведывался. Или сейчас и фельдшера перестали ходить на пекарню, раз сыты?

Она поднялась на крыльцо, открыла наружную дверь — и того чище: поросенок. Бросился ей под ноги с визгом, будто спасаясь от ножа.

— Да как же так? — опять с недоумением спросила себя Пелагея. Она, бывало, руки выворачивала, таская домой помои, да с опаской, а тут прямо на виду у всех кормят поросенка. И опять она подивилась недосмотру санинспекции. Навоз, грязь, вонь от поросенка — да как его можно терпеть рядом с хлебом?

Но это еще все были цветочки, а ягодки-то пошли, когда она переступила порог пекарни. Господи! Куда она попала? В сарай грязный? В старую башню из-под силоса? В хлев? Все немыто, засалено, в окошке веник торчит — вот отчего весны в помещении нету.

Но больше всего Пелагею поразило помело.

Бывало, чтобы хлеб духовитее был, чего только она не делала! Воду брала на пробу из разных колодцев, дрова смоляные избави боже — сажа; муку, само собой,

требовала первый сорт, а насчет помела и говорить нечего. Все перепробовала: и сосну, и елку, и вереск. А тут вместо помела рогожина. Черная, обгорелая рогожина, намотанная на длинную палку и погруженная в грязное ведро с водой...

Улька-пекариха стала угощать Пелагею чаем — только что сама села за стол, управившись с печью, а Пелагею едва не стошнило от одного Улькиного вида. Потная, жирная, волосы немытые блестят, будто она век в бане не бывала.

И Пелагея, так и не присев, вышла. А на нечищенный самовар и рукомойник, на печь грязную, ни разу не беленную после ее ухода, она не посмела бросить даже прощальный взгляд. Потому что все ей казалось, что и самовар, и рукомойник, и печь с тоской и укором смотрят на нее...

22

За окном кипела весна.

Всю зиму смотрела Пелагея на мир через копеечный глазок, продутый в обледенелой раме, а теперь половодье света заливало избу. Жить бы, шагать по оттаявшей земле босыми ногами да всей грудью вдыхать теплый ветер из заречья. А она лежала, и дыхание у нее было тяжелое, взахлеб, с присвистом. Точь-в-точь как у старых дырявых мехов в кузнице.

В доме, как в дни болезни Павла, хозяйничала Анисья. Пришла сама.

Но Пелагея не разговаривала с золовкой и не скрывала, что не любит ее. А за что же ее любить, когда она со всей семьи здоровье собрала? Умер молодым Павел, она, Пелагея, может, при смерти лежит, а этой ничего не деется — все рожа заревом. Нет, если бы Маня-большая была немного почище на руку, она бы и дня не терпела возле себя этой здоровенной бабищи. Да что подела-

ешь — Маня стала прицеливаться к хозяйкиному добру, когда хозяйка еще на ногах стояла.

Однажды поздно вечером — уже белые ночи на землю пали — к ней зашел Петр Иванович.

Сколько времени прошло с похорон Павла, с того дня, как они в последний раз виделись? Года не будет. А Петра Ивановича так укатало, что она едва и признала его. Осел, лицо запаршивело (кто видал его небритым?), в глазах — глянул — тоска волчиная. Но и это еще не все. Петр Иванович был под хмельком — вот что особенно удивило Пелагею. Слыхано ли, видано ли было такое раньше? Тем-то и силен был Петр Иванович, что власти над собой вину не давал. Выпивать, конечно, выпивал, без этого нельзя, раз всю жизнь с начальством, но не качнется — столб железный. А тут от порога шагнул, так и обнесло — кулем шмякнулся на прилавок у печи.

— Зашел проведать. Болеешь, говорят.

— Болею, — ответила Пелагея.

Она попыталась встать: гость пришел, и гость немалый, — но Петр Иванович замахал рукой: лежи, не надо.

Первым словам Петра Ивановича она не придала значения. Петр Иванович, как всегда, заговорил петляво, издалека о колхозных делах, о том, что в колхозе сейчас жить можно, очень даже неплохо зарабатывает народишко. К примеру, Оська-пастух. Кто когда за человека считал? А ведь в прошлом годе за один сентябрь месяц двести с лишним рублей огреб.

— Да, так вот ноне, — вздохнул Петр Иванович. — А мы с тобой вроде и неглупые люди, а держали когда такие деньги в руках?

Пелагея кивала в ответ головой: все так, все это она и сама не раз передумала за время болезни — большие перемены в жизни — и нетерпеливо ждала, когда же Петр Иванович заговорит о деле. Ведь не за тем же пришел, чтобы обсудить с ней колхозные дела?

— Не вовремя мы с тобой родились, вот что, — про-

должал Петр Иванович. — Поторопились маленько. Вот Алька твоя, та в пору... Письма-то ходят?

У Пелагеи часто-часто забилось сердце: куда это он клонит? Не с Алькой ли что стряслось? Но ответила спокойно, не выдавая своего волнения.

— Ходят, — сказала она.

— А домой-то не собирается? Не нажилась еще в городе? Не знаю, я дак не уважаю городскую жизнь. Угоришь там от этого чада да шума...

— Да ведь угоришь не угоришь, — опять спокойно ответила Пелагея, — а надо жить. Не одна теперь, о двух головах.

Петр Иванович похрустел пальцами — знакомая привычка: всегда так, когда на что-нибудь решается. И вдруг хватил ее дубиной по голове:

— Имею сведенье: не живет она с этим военным... Одна живет...

По правде говоря, для Пелагеи это не было полной неожиданностью. Где-то в душе она и сама догадывалась, что у Альки по семейной части не все ладно. Но одно дело ее собственные догадки и другое — когда дочь твою валяют в грязи чужие люди. И она, несмотря на всю свою слабость, как зверь, кинулась на защиту родного детища.

— А хоть бы и одна, дак что! — с вызовом сказала Пелагея. — Моя дочь не пропадет. Ина березка и с ободранной корой красавица, а ина и во девичестве сухая жердина...

Намек был страшный — самый тупой человек догадался бы, что она хочет сказать. И она вся внутренне похолодела, даже дышать перестала: лежала и ждала, с какой стороны еще раз оглушит ее Петр Иванович.

А Петр Иванович молчал. Долго молчал. Потом Пелагея приподняла голову и совсем растерялась: у Петра Ивановича в глазу блестела слеза.

Заговорил он тоже необычно: Паладьей ее назвал.

По-домашнему, по-деревенски, так, как звал ее когда-то покойный отец.

— Паладья, — сказал каким-то глухим, не своим голосом Петр Иванович. — Я тебя выручал? Не забыла еще?

— Выручал, Петр Иванович... как забыть...

— Ну, а теперь ты меня выручи... Помоги... Ради бога, помоги...

Пелагея едва не задохнулась от удивления. Она еще не знала, о чем ее просят. Но кто просит? Петр Иванович... Ее, Пелагею...

— Парень у меня погибает... — через силу выдавил из себя Петр Иванович.

— Сережа? Да с чего ему погибать-то? С высоким образованием, в почете...

Петр Иванович безнадежно махнул рукой:

— Змий этот зеленый сосет, вот что... — Потом вдруг шагнул к кровати, дрожащей рукой схватил ее за руку. — Ты бы написала Альке... Чего ей там на чужой шататься стороне... Может, и получилось бы дело...

Так вот оно что, поняла наконец все Пелагея, Алькой спастись хочет... Чтобы Алька взяла в руки Сережу... Вот зачем пришел...

Темное, мстительное чувство захлестнуло ее. Она искоса глядела на небритый, вздрагивающий подбородок с ямочкой посредине, на жалкие стариковские глаза, размягченные родительской слезой, и только теперь, только сию минуту поняла, как она ненавидит этого человека. Ненавидит давно, с того самого дня, когда он насчитал на нее пять тысяч рублей.

Господи, она с ума сходила из-за этих пяти тысяч, ночей не спала, чуть ли не в прорубь нырнуть хотела. А он, ирод проклятый, вишь, молодую бухгалтершу проучить решил. Чтобы нос не задирала. А заодно чтобы и хлеб даровой с пекарни получать. Да, да, хлеб! Погрел он руки от нее. Без булки белой за чай не садился. А за

что? За какие такие милости? За то, что в компанию свою ввел, с хорошими людьми за один стол посадил? Да пропади она пропадом и компания евонная, и хорошие люди!

Всю жизнь она тянулась к этим хорошим людям, мужика своего нарушила и себя не щадила, а чего достигла? Чего добилась? Одна... Насквозь больная... Без дочери... В пустом доме...

И ей хотелось крикнуть в лицо Петру Ивановичу: так тебе и надо! На своей шкуре спознай, как другие мучаются...

Но вслух она сказала:

— Ладно, напишу. Может, и послушается...

Пелагея плохо помнила, как ушел от нее Петр Иванович. Ее душил кашель, она задыхалась. И в то же время ей было необычно хорошо. Хорошо до слез, до знойного жара в груди. И она хватала запекшимися губами избяной воздух и все больше и больше распаляла свое воображение надеждами. Теми радужными надеждами, которые заронил в нее Петр Иванович.

Она не сомневалась — приедет Алька. Ведь не дура же она круглая. Как не понять, что это счастье. Правда, сам Сереженька, может, и не ахти что, хоть и инженер, да зато отец всем кладам клад.

Ах ты господи, говорила мысленно себе Пелагея, в одной упряжке с таким человеком шагать... Да ведь это каких дел можно наворочать!

На какое-то мгновение она потеряла сознание, а потом, когда пришла в себя, ей показалось, что она стоит у раскаленной печи на своей любимой пекарне и жаркое пламя лижет ее желтое, иссохшее лицо.

Она задыхалась. Ей было нестерпимо жарко.

На пол, на пол надо, по старой привычке подумала она. Крашеный пол хорошо вытягивает жар из тела...

Так лежащей на голом полу возле кровати и нашла

ее наутро Анисья. Она бросилась поднимать ее. И вдруг отшатнулась, встретившись с неподвижным, остекленевшим взглядом.

Альки на похоронах не было — с открытием навигации она плавала буфетчицей на одном из видных пассажирских пароходов, ходивших по Северной Двине.

Приехала Алька лишь неделю спустя и первым делом, конечно, оплакала дорогих родителей, справила по ним поминки — небывалые, неслыханные по здешним местам. С участием чуть ли не всей деревни.

Потом два дня у Альки ушло на распродажу отрезов на платья, самоваров и прочего добра, нажитого матерью.

А на пятый день Алька заколотила дом на задворках, возложила прощальные венки с яркими бумажными цветами на могилы отца и матери и к вечеру уже тряслась в районном автобусе. Ей не хотелось упустить веселое и выгодное место на пароходе.

1967—1969

АЛЬКА

1

Новостей тетка и Маня-большая насыпали ворох. Всяких. Кто женился, кто родился, кто помер... Как в колхозе живут, что в районе деется... А Альке все было мало. Она ведь год целый не была дома, а вернее сказать, даже два, потому что не считать же те три-четыре дня в прошлом году, что на похороны матери приезжала.

И вот тетка и Маня-большая только замолчат, рот закроют, а она уж их теребит снова:

— Еще, еще чего?

— Да чего еще...— пожимала плечами Анисья.— Вот клуб строят новый. Культурно жить, говорят, будем...

— Слышала! Сказывала ты про клуб.

— Ну тогда не знаю... Все, кабыть...

Тут Маня-большая — она тоже немало поломала свою старую голову, чтобы угодить гостье, — догадалась наконец разговор перевести на другую колею.

— Все нас да нас пытаешь, — сказала Маня, — а ты-то как живешь-можешь в своем городе?

Алька блаженно, до хруста в плечах потянулась, почесала голой пяткой гладкий, с детства знакомый сук в половице под столом, потом разудало тряхнула своим рыжим, все еще не просохшим после бани золотом.

— Ничего живу! Не пообижусь. Девяносто рэ чи-

стенькими каждый месяц, ну, и сотняга — это уж са́мо ма́ло — чаевые...

— Сто девяносто рублей? — ахнула Маня.

— А чего? Я где работаю-то? В районной столовке или в городском ресторане? Филе жареное, жиго, люля-кебаб, цыплята-табаки... Слыхала про такие блюда? То-то! А подать-то их, знаешь, как надо? В твоей столовке районной кашу какую под рыло сунули — и лопай. А у нас — извини-подвинься...

Тут Алька живехонько выскочила из-за стола, переставила с подноса на стол все еще мурлыкающий самовар, чашки и стаканы — на поднос, поднос — на руку с растопыренными пальцами и закружилась, завертелась по избе, ловко лавируя между воображаемыми столиками.

— А задок-от, задок-от у ей ходит! — восхищенно зацокала языком Маня. — Кабыть и костей нету.

— А уж это у нас обязательно! Чтобы на устах мед, музыка в бедрах. Нам Аркадий Семенович, наш директор, так и говорил: «Девочки, запомните, вы не тарелки клиенту несете, а радость».

Алька еще раз показала, как это делается, затем, довольная, с пылающими щеками, опустила на стол поднос с чайной посудой (только сейчас стаканы звякнули), разлила остаток вина по рюмкам.

— Давайте за Аркадия Семеновича! Во мужик — закачаешься! Бывало, выстроит нас, официанток, в зале, покамест в ресторане народу нету, сам за рояль и давай команды подавать: «Девочки, задиком раз, девочки, задиком два...», «А теперь, девочки, упражнение на улыбку...» Сняли. За насаждение порочных нравов... в советском быту... Теперь у нас такой зануда директор — выше колена юбку не подними. Не по кодексу. Я, кажись, скоро стрекача задам. К летчикам, наверно, подамся. По городам летать...

— А Владислав-то Сергеевич как? — спросила Маня.

— Чего Владислав Сергеевич?

— Ну, в части препятствий... Жена с молодыми мужиками...

Алька быстро взглянула на густо покрасневшую тетку и сразу все поняла: это она, тетка, скрыла от всех, что Алька не живет с Владиком. Скрыла, чтобы избежать пересудов.

Но Алька не любила хитрить, как ее покойница мать, а потому, хоть тетка и делала ей знаки глазами, рубанула сплеча:

— Не живу я с Владиком. Рассчитала на все сто и даже с гаком.

— Ты? Сама? — У Мани от удивления даже нижняя губа отвисла. Точь-в-точь как у Розки, старой кобылы-доходяги, на которой в последнюю зиму перед болезнью отец возил дрова для сельпо.

— А чего? Он шантрапа, алиментщик заядлый, а я чикаться с ним буду, да?

— Кто алиментщик? Владислав-то Сергеевич алиментщик? — еще пуще прежнего удивилась Маня.

— Ну! Да еще алиментщик-то какой! Двойной. Я сдуру-то, когда он от нас удрал, не сказавши, обревелась. Думаю — все: пропала моя головушка. К евонному начальству в городе прикатила — слова сказать не могу: вот какая деревенская дуреха была! А потом как начальник-то сказал мне, хороший такой дядечка, полковник с усами, что у Климашина и так двойные алименты, я дай бог силы. И руками и ногами отпихиваться стала. Сообразила! Он восемнадцать лет ползарплаты платить будет, а мне вприглядку глядеть?

Вдруг голосистая бабья песня ворвалась в избу, от грохота грузовика задрожали стекла в рамах.

Алька кинулась к раскрытому окошку, но машина уже проскочила — только пыль клубилась на дороге.

— Свадьба, что ли, какая? — спросила она у старух.

— Не, то скотницы, — ответила Анисья. — С утреш-

ней дойки едут. С поскотины. Все вот ноне так. Завсегда с песнями.

— А чего им не с песнями-то? — фыркнула Маня. — Деньжища загребают — ой-ой!

— А Лидка Вахрамеева, подружка моя, по-прежнему в доярках?

— В доярках. Только теперь она не Вахрамеева, а Ермолина.

— Кто — Лидка не Вахрамеева? Да чего же вы молчали?

— Да я писала тебе, — сказала Анисья. — Еще зимусь вышла. За Митрия Васильевича Ермолина.

— Чего-чего? За Митю-первобытного? — Алька расхохоталась на всю избу. — Ну и хохма! Да мы, бывало, с ней первыми потешались над этим Митей!

— А теперь не потешается. Теперь — муж. Хорошо живут. Хорошая пара. А уж Митрий-то — золото!

— Да какое золото! — хмыкнула Маня.

— Нет, нет, не хинь, Архиповна, Митрия! — горячо вступилась за Митю Анисья. — Человек весь колхоз отстроил — шутка сказать! А сами-то они коль дружны — ноне-ка такого и не увидишь. Я тут на днях встретила — к реке идут с бельем, Митя сам корзину несет. Ну-ко, кто из нонешних мужиков женке своей пособит? И вина не пьет...

— А все равно недотепа, мозги набекрень, — твердила свое Маня, и из этого Алька заключила, что старуха не сумела пробить лаз к Мите и Лидке — это уж наверняка, раз она с таким усердием поливает их грязью.

2

Алька уже выбегала сегодня на улицу и, как говорится, успела и ноги в утрешней росе прополоскать, и солнышка утрешнего ухватить; а вот как она истоскова-

лась по своей деревне — козой запрыгала от радости, когда спустилась с крыльца.

Ей всюду хотелось побывать сразу: и на горках, за дорогой, у черемухового куста, возле которого она, бывало, с отцом поджидала возвращавшуюся с пекарни усталую мать; и на лугу, под горой, где все утро заливается сенокосилка; и у реки...

Но верх над всем взяла деревня.

Деревни, по сути дела, она еще и не видела. Приехала ночью, в закрытом райкомовском «газике» (чтобы пыли меньше было) — много ли наглядишь? А утром — глаза не успела продрать — Маня-большая. Никто не звал, не извещал — сама приперлась. Просто нюхом своим собачьим учуяла, где задарма выпить можно.

Первый человек, которого встретила Алька на улице, была Аграфена — длинные зубы. Соседка. Через дом от тетки живет. В детстве, случалось, и вицей ее драла — злая, ухватистая старуха. А тут — просто потеха! — не признала. Потыкала, пожевала ее своими оловянными глазищами, а голосу так и не подала. Штаны сбили с толку?

Штаны у нее — шик. Красные, шелковые — прямо огонь на ногах переливается. Да и все остальное, кстати сказать, — первый сорт. Белая кофточка с глубоким вырезом на груди, туфли модные на широком каблуке, сумочка черная, ремешок через плечо — чем не артистка?

Завидев дом Петра Ивановича, — как белопалубный пароход выплыл на повороте дороги, — Алька подтянулась. Хоть и никогда она не заискивала и не лебезила перед этой старой лисой, а все-таки и она в Летовке родилась, знала, кто Петр Иванович.

Но, господи, разве обойдешь, объедешь в страдную пору ихнюю Лампу? Вынырнула из полевых ворот с большущим кузовом травы — в небо упирается, как сказала бы мать. Босиком, в бабьем платье до пят, вся

употела, ужарела — ну как тут не признать свою учительницу!

Да, вот так: Гагарин шар земной вокруг облетел и помереть успел, американцы на Луну слетали, она, Алька, бабой стала, а ихняя Лампа без перемен: как шлепала с кузовом травы десять — пятнадцать лет назад, так шлепает и сейчас. Правда, укорять Евлампию Никифоровну за то, что она всю жизнь возится с коровой, может, и не стоит — тяжело, голодно жили после войны. Но ведь сейчас не старые времена. Сейчас колхозники и те не очень-то за буренку держатся, а ведь она учительница — ей ли всю жизнь из навоза не вылезать?

Алька вспомнила про черные очки в белой пластмассовой оправе — Томка перед отъездом навязала — быстро вынула их из сумочки, надела на глаза, напустила на себя строгость и двинулась к Евлампии Никифоровне — та как раз пристроилась к изгороди на передышку, одной рукой кузов с травой поддерживая, а другой по-бабьи, головным платком вытирая свое запотелое лицо.

— Гражданка, вы что же это? Ай, ай, ай! Нехорошо!

— Да чего нехорошо-то? Не знаю, как вас звать-величать...

— Траву нехорошо с колхозного луга таскать.

— Да я вовсе и не с луга. Я закраншек у полей маленько нокочкала, — начала жалостливо канючить Евлампия Никифоровна. Ну точь-в-точь как деревенская баба, которую поймал с травой председатель колхоза.

Алька кашлянула для важности, нажала на басы:

— Какой пример колхозникам подаете, товарищ Косухина?

— Нехороший, нехороший пример. Это вы правильно сказали. Учту...

— То-то же! А то ведь можно и оштрафовать. Понятно вам?

Тут уж Евлампия Никифоровна начала просто расстилаться перед грозным начальством:

— Понятно, как не понятно. Ну вы-то учтите, уважаемая, — болею я. А травка-то у нас далеконько, а коровушка-то у меня молодая, без травки и не подоить...

— Ладно, товарищ Косухина. Только чтобы это последний раз.

— Последний, как не последний. Все будет сделано, как говорите. Сама не буду ходить и с другими работу проведу...

Больше Алька выдержать не могла — так и схватилась за живот, а потом сняла очки и как ни в чем не бывало сказала:

— Здравствуйте, Евлампия Никифоровна.

Евлампия Никифоровна с минуту, наверно, перебирала своими толстыми, потрескавшимися от жары губами. Наконец разродилась:

— Все безобразничаешь, Амосова. — Она ни разу в жизни не назвала ее по имени.

— Да это я в шутку, Евлампия Никифоровна. Смех, сказал Хо Ши Мин, тот же витамин.

Евлампия Никифоровна потянула воздух носом.

— А напилась тоже в шутку?

— Да что вы, Евлампия Никифоровна... Вот, ей-богу, нельзя уж и привальное справить да маму с папой помянуть.

— Родителей не так, Амосова, поминают. Родители у тебя труженики были. Пример для всех...

— А я что — не труженица? Тунеядка какая? Не сама хлеб зарабатываю?

Евлампия Никифоровна строгим учительским оком оглядела Альку, задержалась взглядом на ее красных, жарких, как пламя, штанах.

— Моральности не вижу, Амосова. Моральный кодекс строителя... Ну да ты еще в школе не больно честь девическую берегла...

Алька крепко, так, что слезы из глаз брызнули, закусила нижнюю губу, затем живо кивнула на двух рабо-

тяг из смехколонны — так прозвали у них за пьянство мехколонну, которая еще в ее бытность в деревне начала ставить столбы для электросети, да так до сих пор и ставит.

— Это что, Евлампия Никифоровна, электричество у нас будет?

— Электричество, Амосова, — назидательно сказала Евлампия Никифоровна. — Колхозная деревня за последние годы добилась больших успехов...

— Значит, и у нас скоро будет лампочка Ильича?

— Будет, Амосова. Стираются грани и противоположности между городом и деревней...

Алька простодушно, совсем как ученица, потупила глаза — чего-чего, а сироту она разыграть умела.

— Евлампия Никифоровна, а когда лампочки Ильича у нас зажгутся, что же с лампами керосиновыми будет? В утиль их сдадут але как?

Евлампия Никифоровна так и осталась стоять с разинутым ртом, ни больше ни меньше как Аграфена — длинные зубы, а она, Алька, еще и задом крутанула: на, получай сполна, святоша!

3

Переживать, травить себя из-за того, что кое-какую припарку Лампе сделала? Нет, Алька и не подумала. Во-первых, Лампа заслуживает. Все девчонки и ребята стоном стонут из-за нее, когда в техникум или училище поступают. Все хорошо сдают — математику, физику, географию, а до русского письменного дошли — и сели. А во-вторых, когда переживать?

Новые дома (штук пять насчитала за хоромами Петра Ивановича), бабы, ребятишки, собаки — все так и навалилось на Альку, едва она отчалила от Лампы.

Пека Каменный, выскочивший из-за угла на колес-

ном тракторе, можно сказать, сразил ее наповал. Давно ли, в прошлом году, наверно, еще за каждой машиной гонялся — подвезите! Дайте проехаться! — а теперь вот и сам за рулем. Рот мальчишечий до ушей — через стекло видны белые редкие зубы, круглое лицо закопчено, как у трубочиста, — иначе какой же ты механизатор! — и веточка красной смородины над радиатором. Для форсу — знай наших!

Увидев ее, Пека высунул из кабины свою счастливую белозубую мордаху, крикнул:

— Чего такие штаны надела? Сожгешь еще деревню-то! — И весело, по-детски захохотал: самому понравилась шутка.

Штаны, между прочим, зацепили и Паху Лысохина, который громко, как все глухие, закричал со стены — дом зятю, рабочему из-за реки, строит:

— Флагом задницу обернула — мода теперь такая, а?

С Пахой Лысохиным Алька с удовольствием бы поточила зубы. Веселый старик. Третью жену недавно схоронил, а, по рассказам тетки, уж к Дуне Девятой подбирается. На сорок пять лет моложе себя.

Но до старика ли, до трепа ли было Альке сейчас, когда впереди, напротив школы, замаячил новый клуб под белой шиферной крышей! Про клуб этот она уже знала — тетка и в письмах писала ей и сегодня утром, за чаем, сказывала, а вот что значит собственными глазами увидеть: дух от радости перехватило, сердце запрыгало в груди.

— Сюда, сюда, красуля!

Засмотревшись на большущее брусчатое здание, у которого не было еще ни дверей, ни рам, Алька и не заметила строителей. А они поленницей лежали на дощатом настиле перед окнами — черные, белокурые, рыжие, кто в трусах, кто в плавках, и синий дымок от сигарет плавал над их разномастными головами.

— Загораем, мальчики? — она, как в кино, вскинула

руку (привет, дескать), а потом лихо прошила своими красными штанами выгоревший пустырь, отделявший дорогу от стройки.

Строители вскочили на ноги, задробили, заприплясывали, в воздух полетели штаны, рубахи, кеды, и Алька сразу поняла, что это за публика. Студенты. Главная рабочая сила в ихнем колхозе летом.

— Ну, показывайте ваш объект, — сказала Алька. Она еще и не такие словечки знала: не зря два года в городе прожила.

К ней чертом подскочил чернявый студент со жгучими усиками, как сказала бы Томка, Вася-беленький, каких та особенно любила. Он успел уже когда-то натянуть на себя защитную штурмовку с закатанными по локоть рукавами и такие же защитные джинсы со множеством светлых металлических заклепок.

— Прошу, — сказал он, шутливо выгибаясь в поклоне, и подал ей согнутую в локте руку.

Алька приняла руку, по сходням поднялась в помещение.

Клуб был что надо. Фойе, зал для танцев, зал для культурно-массовых мероприятий (да, так и сказал Вася-беленький, он был у студентов за старшего), две большие комнаты для библиотеки. Хорошо! Непонятно только, кто будет танцевать и культурно проводить время в этих залах: в деревне зимой студентов и отпускников нету, а свою коренную молодежь по пальцам пересчитать можно.

— Эх, жалко, — вырвалось у Альки, — музыки нету. Не потанцевать в новом клубе.

— Кто сказал, что музыки нету? — воскликнул Вася-беленький.

И тут произошло чудо: рокаха! Самая настоящая рокаха загремела в заднем углу, где были сложены всякие инструменты.

Альку бросило в жар — с детства самая любимая ра-

ботка — молотить ногами. Ну и дала жизни, обновила половицы в новом клубе. Сперва с Васей-беленьким, потом с другим, с третьим, до десятка счет довела. Студенты выли от восторга, рвали ее друг у друга, но Алька не забывалась: в деревне — не в городе. Скачи да и по сторонам поглядывай, а то попадешь старухам на зубы — жизни не рада будешь.

— Спешу, спешу, мальчики! В другой раз.

Затем прежний, по-киношному, взмах рукой, широкая улыбка для всех сразу — и пошла вышивать красные узоры по выжженному солнцем пустырю.

4

В деревне в страдную пору, ежели и есть где жизнь днем, так это на почте. Почту, в отличие от колхозной конторы и сельсовета, ради работы не закрывают, а потому все отпускники первым делом тащатся на почту.

Алька, однако, не добралась в этот день до почты. Ибо только она вышла на земляничный угор к старой церкви, как чаячьими криками взорвался воздух:

— Аля! Аля!

Кричали из-под угора, с луга, кипевшего разноцветными платками и платьями. И не только кричали, а и махали граблями: к нам, к нам давай!

Алька много не раздумывала: туфли на модном широком каблуке в руку и прямо вниз — только камни на тропинке заскакали. А как же иначе? Ведь если на то пошло, она больше всего боялась встречи со своими вчерашними подружками: как-то они посмотрят на нее? Не начнут ли задирать свои ученые носы студентки и старшеклассницы?

Сено на лугу, под самым угором, было уже убрано, и ох же как впились в ее голые ноги жесткие, одеревеневшие стебли скошенной травы. Но разве она неженка? Разве она не дочь Пелагеи Амосовой? В общем, колю-

чую луговинку перемахнула, не поморщившись, с ходу врезалась в девичий цветник.

— Аля! Аля! — Десятки рук обхватили ее — за шею, за талию, — просто задушили.

— Девки, девки, где наша горожаха?

А вот это уже Василий Игнатьевич, ихний председатель сельсовета, да бригадир колхоза Коля-лакомка, два старых кобеля, которые всю жизнь трутся возле девок. Трутся вроде так, из-за своего веселого характера, а на уме-то у них — как бы какую девчонку прижать да облапить.

Девки со смехом, с визгом рассыпались по лугу, ну, а Алька осталась. Чего ей сделается? А насчет того, чтобы осудить ее за вольность, это сейчас никому и в голову не придет. На публике, на виду у всех — тут все за шутку сходит.

Но все-таки она не считала ворон, когда Василий Игнатьевич взял ее в оплет (просто стон испустил от радости) — туфлями начала молотить по мокрой, потной спине. Крепко, изо всей силы. Потому что, если говорить правду, какая же это радость — осатанелый старик тебя тискает?

Возня на этот раз была короткой, даже до «куча мала» не дошло дело. Старухи и женки завопили:

— Хватит, хватит вам беситься-то! Не видите, что над головой.

Над головой и в самом деле было не слава богу: тучки пухлые катались. Как раз такие, из которых каждую минуту может брызнуть.

Но тучки эти еще куда ни шло — ветришко начал делать первые пробежки по лугу.

Василий Игнатьевич кинулся к своим граблям, брошенным возле копны, — теперь уж не до шуток. Теперь — убиться, а до дождя сено сгрести.

— Девчата, девчата, поднажми! — закричал.

А девчата разве не свои, не колхозные? Неужели не

понимали, какая беда из этих тучек грозит? Разбежались с граблями по всему лугу еще до председательской команды.

Коля-лакомка, весь мокрый (два ведра воды девки вылили), на бегу кинул свой пиджак: постели, мол, на сено — мягче сидеть.

Но Алька даже не посмотрела на пиджак. Она быстро надела свои шикарные туфли на широком модном каблуке, схватила чьи-то свободные грабли и давай вместе со всеми загребать сено. Потому что, ежели сейчас рассесться на виду у всех, как предлагает ей Коля-лакомка, разговоров потом не оберешься. Старухи и женки все косточки перемоют, да и девчонки не будут на запоре рот держать.

Василий Игнатьевич дышал, как загнанная лошадь, охапки поднимал с воз и все-таки не успевал копнить все сено. Пигалицы, самая мелкота вились вокруг него, а ковыряли грабельками — росли перевалы.

Ему пыталась подсобить Катя Малкина, внучка старой Христофоровны, такая же совестливая да сознательная, как сама Христофоровна. Да разве это по ней работа?

И вот Алька начала понемногу захватывать сено, так, чтобы поменьше мельтешилась в глазах эта трудолюбивая малявка, потому что охапки носить она не приспособлена сегодня — не та одевка, а во-вторых, с какой стати рвать жилы? Рогатка, что ли, у нее во дворе плачет?

Но бабы, до чего хитры эти бестии бабы!

— Алька, Алька, не надорвись!

— Алька, Алька, побереги себя!

Ну и тут она не выдержала.

Знала, помнила, что подначивают, нарочно заводят, а вот, поди ты, — завелась. Сроду не терпела срамоты на людях.

В общем, колесом завертелось все вокруг. Василий

Игнатьевич — охапку, она — две, Василий Игнатьевич — шаг, она — три.

Белая кофточка на ней взмокла (с превеликим трудом достала в одном магазине через знакомую продавщицу) — плевать! По зажарелому лицу ручьями пот — плевать! Руки голые искололо, труха сенная за ворот набилась — плевать, плевать! Не уступлю! Ни за что не уступлю!

И не уступила.

Василий Игнатьевич, старый греховодник, когда кончили луг, не то чтобы облапить ее (самый подходящий момент — такое дело своротили!), даже не взглянул на нее, а тут же, где стоял, свалился на луг.

Да и Коля-лакомка, даром что намного моложе председателя, тоже не стал показывать свою прыть.

5

Три часа, оказывается, без перекура молотили они — вот какой ударный труд развернули!

Это им объявил только что подошедший председатель колхоза — он тоже, оказывается, работал, только на другом конце луга, со старухами.

Председатель был рад-радехонек — много сена наворочали. Девчонки подсчитали: сто двадцать семь куч!

— Тебя, Алевтина, благодарю. Персонально. Ты свои штаны, как знамя, подняла на лугу.

— Да, да, умеет робить. Не испотешилась в городе.

Бабы снятыми с головы платками вытирали запотелые, зажарелые лица, тяжело переводили дух, но улыбались, были переполнены добротой. Точь-в-точь как мать, когда та, бывало, досыта наработается.

Кто-то к этому времени поднес ведро с водой, и председатель колхоза, зачерпнув кружку, собственноручно подал Альке: дескать, премия. И люди — ни-ни. Как будто так и надо.

В кружке плавала сенная труха — наверняка ведро стояло где-нибудь под копной, в холодке, но она и не подумала сдувать труху, как это бы сделала ее брезгливая мать: всю кружку выпила до дна да еще крякнула от удовольствия.

Председатель совсем расчувствовался:

— Переходи в колхоз, Алевтина. Берем!

— Нет, нет, постой запрягать в свои сани! Дай советской власти слово сказать.

Василий Игнатьевич подал голос. Отлежался-таки, пришел в себя. Грудь, правда, еще ходуном и руки висят, но глаз рыжий уже заработал. Как у филина заполыхал. Вот какая сила лешья у человека.

— Нет, нет, — сказал Василий Игнатьевич. — Я первый. Мне помощницу надо.

— Тебе? По какой части? — игриво, с намеком спросил председатель колхоза и захохотал.

Василий Игнатьевич строго посмотрел на него, умел осадить человека, когда надо, иначе бы не держали всю жизнь в сельсовете, сказал:

— У меня Манька-секретарша к мужу отбывает. Так что вот по какой части.

Тут бабы заахали, замотали головами: неуж всерьез?

Сама Алька тоже была сбита с толку. Грамотешка у нее незавидная, мать, бывало, все ругала: «Учим, учим тебя, а какую бумажонку написать — все иди в люди», — кому нужен такой секретарь?

Взгляд Василия Игнатьевича жадно, искоса брошенный на нее, кажется, объяснил ей то, до чего бы она так и не додумалась.

Э, сказала она себе, да уж не думает ли он, старый дурак, шуры-муры со мной завести? А что — раз ни баба, ни девка — почему и не попробовать в молодой малинник залезть?

Меж тем бабы засобирались домой. На обед.

К Альке подошла тетка — она, конечно, была тут, на лугу. Старая колхозница — разве усидеть ей дома в страдный день?

— Пойдем, дорогая гостьюшка, пойдем. Я баню буду топить. Вон ведь ты как выгвоздалась.

Выгвоздалась она страсть: и кофточку, и штаны придется не один час отпаривать, а может, и вовсе списывать. Так что восемьдесят — девяносто рубликов, можно сказать, плакали.

Э-э, да тряпки будут — были бы мы!

Задор, лихая удаль вдруг накатила на Альку.

— Девчонки, айда на реку!

Девчонки, казалось, только этой команды и ждали. С криками, визгом кинулись вслед за ней.

6

Малявки поскидали с себя платьишки еще по дороге — это всю жизнь так делается, чтобы без задержки, с ходу в реку, а когда спустились с крутого увала на песчаный берег, быстро разделись и девчонки. Разделись и со всех сторон обступили Альку.

Все ясно, усмехнулась про себя Алька, — какой у тебя купальник? Так уж устроены все девчонки на свете — с рождения тряпичницы.

Есть, есть у нее купальник. Такой, что в ихней деревне и не снился никому, — темно-малиновый, шерстяной, с вшитым белым ремешком, с карманчиком на молнии (зимой три часа на морозе выстояла за ним в очереди). Но разве она думала, что ей придется купаться сегодня?

И все-таки — врете! Не у вас — у меня будет самый красивый купальник! В один миг Алька сбросила с себя все до нитки.

Девчонки ахнули: им и в голову ничего подобного не могло прийти, потому что кто же нынче купается голы-

шом? Трехлетнюю соплюху, и ту не затащишь в воду без трусиков.

На ребячьем пляже — рядом — закрякали, застонали, но и там скоро захлебнулись.

Гордо, слегка откинув назад голову, понесла она к воде свое молодое, цветущее тело.

Под ногами певуче скрипел мелкий белый песок, жаркий травяной ветер косматил ей волосы, обнимал полные груди, собачонкой юлил в ногах.

— Альчик, — сказал ей однажды расчувствовавшийся Аркадий Семенович, — я бы, знаете, как назвал вас, выражаясь языком кино? — Он любил говорить красиво и интеллигентно. — Секс-бомбой.

— Это еще что? — нахмурилась Алька.

— О, это очень хорошо, Альчик! Это... как бы тебе сказать... безотказный взрыватель любой, самой зачерствелой клиентуры. Это солнце, растапливающее любые льдины в мужской упаковке...

И это верно. На самую трудную и капризную клиентуру высылали ее. Или, скажем, начальство в ресторан пожаловало, да еще не в духе — кого послать, чтобы привести его в божеский вид? Ее, Альку.

Она попробовала ногой воду — теплая, посмотрела на небо — черной тучей перекрыло солнце, посмотрела на всполошившихся сзади девчонок и побежала вглубь: чего бояться? Разве впервой купаться при дожде?

Реку она переплыла без передышки, вышла на берег, ткнулась в песок.

Девчонки ей кричали: «Аля, Аля!» — махали платьями с того берега (похоже, и в воду не заходили), а она, зарывшись в теплый песок, сжимала руками мокрую голову и молча глотала слезы.

Ее с первого класса в школе считали отпетой, а мать, как она запомнила, только и твердила ей: «Смотри, сука! Только принеси у меня в подоле — убью!» А она, поверит ли кто, до позапрошлого лета не переступала

черты. Целоваться целовалась и тихоней, как некоторые, не прикидывалась: гуляю! Сама, ежели надо, на шею парню вешалась. Но ниже пояса — ша! Посторонним вход запрещен. И даже в тот день, когда нежданно-негаданно на пекарню нагрянула мать с ревизией, она не отступила от этого правила. А уж как в тот день не приступал к ней Владик! Просто руки выламывал.

Мать, родная мать, можно сказать, толкнула ее в руки Владика. Влетела в пекарню, глаза горят — что тут выделываешь, сука? За этим тебя сюда послали? А потом вдруг ни с того ни с сего поворот на сто восемьдесят градусов: винцо на стол и чего, Алевтинка, дуешься? Чего кавалера не завлекаешь?

Вот этого-то она, Алька, и не могла стерпеть. Она сказала тогда себе, выскакивая из окошка пекарни: ежели догонит меня Владик, пускай что хочет со мной делает.

Владик догнал ее у реки, почти на том самом месте, где она сейчас лежала...

7

Дождь хлынул как из ведра — без всякой разминки — и в один миг смыл с нее тоску. Да и некогда было тосковать. Почерневшая река застонала, закипела — страшно в воду войти, а не то что плыть.

На домашнем берегу, когда она, пошатываясь, вышла из воды, не было уже ни одной души: все удрали домой — и девчонки и ребята. Она коротко перевела дух, сгребла в охапку свои шмутки — не до одеванья было сейчас! — и большим белым зверем кинулась в шумящую грохочущую темень...

Гроза начала стихать, когда Алька была уже в поле, на своей Амосовской меже [1].

---

[1] В данном случае — тропинка, дорожка.

Дождь лупил по-прежнему, будто в пять — десять веников хлестали ее по спине, по ногам, по животу, по-прежнему слепила глаза молния, но гром уже уходил в сторону. И вдруг, когда она выбежала из полей на луг, снова загрохотало. Да так, что земля застонала и загудела вокруг.

Ничего не понимая, она остановилась, глянула туда-сюда и просто ахнула. Кони, сорвавшиеся с привязи, носились по выкошенному лугу у озерины. От их копыт шел громовой раскат.

Она разом вся натянулась — так бы и кинулась наперегонки! — но одумалась: из деревни увидят, девка с лошадями голая по лугу бегает — что подумают? Зато уж в гору она вбежала без передышки — отвела душеньку и на теткину верхотуру влетела — тоже ступенек не считала.

— У-у, беда какая! Гольем...

— Да откуда ты, девка? У нас кабыть еще середка дни одевку не сымают?

Старухи! У тетки пусто никогда не бывает, а сегодня, похоже, весь околоток собрался. Афанасьевна, Лизуха, Аграфена — длинные зубы, Таля-ягодка, Домаха-драная и, конечно, Маня-большая... Шесть старух! Нет, семь.

Христофоровна еще в уголку за спинкой кровати сидела.

Бросив к печи, на скамейку, мокрые красные штаны и белую кофточку (она, конечно, была не «гольем», а в лифчике и трусиках), Алька прошла за занавеску, быстро переоделась и выкатила к старухам в коротеньком, на четверть выше колена, платьишке — нарочно, чтобы позлить их.

Но старухи поумнели, видно, покамест она была за занавеской — ни одна не проехалась насчет ее платья; да, по правде говоря, ей и плевать хотелось на их суды-пересуды: она так проголодалась за день, что как собака

накинулась на уху из мелкой местной рыбешки, которую Анисья уже поставила на стол.

— Ешь, ешь, девка, — одобрительно закивали старухи. — Заслужила.

— Как не заслужила! Двух мужиков до смерти загнала. Василий-то Игнатьевич, сказывают, без задних ног — в гору подняться не мог. На лошади увезли.

— Дак ведь родители-то у ей какие! Что матерь, что отец...

— Да, да! Уж родители-то твои, девка, поработали. У-у, какие горы своротили!

Так ли — от души, от сердца нахваливали ее старухи и добрым словом помянули отца с матерью или лукавили маленько в расчете на легкую поживу — кто их разберет. Только Алька, не долго думая, выкинула на стол десятку: вот вам от меня привальное, вот вам поминки.

Маня-большая вприпляс побежала в ларек, у Аграфены — длинные зубы заревом занялось лошадиное лицо — тоже выпить не любит, и Домаха-драная с Талей-ягодкой не замахали руками. Отказались от рюмки только Христофоровна да Лизуха.

— Чего так? — спросила Алька. — Деньги копить собрались?

— Како деньги. Велика ли наша пензия...

— Староверки! — презрительно фыркнула Маня-большая. — У нас та, дура-то стоеросовая, тоже в ету компанию записалась.

Алька переспросила: кто?

— Матреха. Кто же больше?

— Маня-маленькая? — несказанно удивилась Алька.

— Ну.

— И не пьет?

— Не. По ихней леригии ето дело запретно.

— Для души твердого берега ищут... — Какими-то непонятными, не совсем своими словами начала разъяс-

нять тетка, и из этого Алька поняла, что и она где-то в мыслях недалеко от того берега.

— Ладно, — отмахнулась Маня-большая, наливая себе новую стопку, — плакать не будем. Нам больше достанется.

— Ты-то бы помолчала, бес старый! — сердито замахнулась на нее рукой строгая Афанасьевна (она только из вежливости пригубила рюмку). — Сама-то бы ты пей, лешак с тобой! Да ты ведь и ребят-то молодых в яму тащишь. «Толя, засуху спрыснем... Вася, давай облака разгоним...»

В воздухе, как говорится, запахло скандалом — всем известно было, что у Афанасьевны внук спился, и Алька вмешалась.

— Не переживай, — сказала она Афанасьевне. — Береги здоровье. Ноне все пьют. У нас в городе знаешь, кто не пьет? Тот, у кого денег нету, да тот, кому не подают, да еще Пушкин. А знаешь, почему Пушкин не пьет? Потому что каменный — рука не сгибается... — Алька коротко рассмеялась...

Старухи тоже пооскаляли беззубые рты, хотя анекдота, конечно, не поняли: в городе добрая половина ни разу не бывала — откуда им знать про памятник?

Христофоровна — она морщила чаек, вернее, кипяток на черничной заварке — учтиво спросила:

— А домой-то уж не собираешься, Алевтина?

— Чего она дома-то не видала? — с ходу ответила за Альку Маня-большая.

— Да хоть те же хоромы родительские. Я поутру на свое крылечко выйду да увижу ваш домичек — так-то жалко его станет. Невеселый стоит, как, скажи, сирота бесприютная...

— Запела! Нонека деревни целые закрывают да сносят, а она по дому слезу лить... Епоха, — добавила по-книжному Маня-большая и икнула для солидности.

Алька со своей стороны тоже успокоила старуху (хо-

рошая! В детстве всегда подкармливала ее, когда мать задерживалась на пекарне):

— Хорошо живу, Христофоровна. И место денежное, и работа — не заскучаешь. А уж насчет еды — чего хошь. Только птичьего молока разве нету.

Аграфена — длинные зубы не без зависти сказала:

— Чего там говорить. Кабы худо было — не бежали бы все в города.

— Да пошто все-ти? — возразила тетка. — Вон у нас Митрий Васильевич... В городе оставляли — не остался...

— И мой племяш возвернулся, — сказала Лизуха. — Я, говорит, тетка, деревню больше уважаю...

— Не сидят, не сидят ноне люди на месте, — снова вступила в разговор Христофоровна, которая только что закончила пить чай и по-старинному опрокинула свою чашку кверху дном. — Все чего-то ищут. Нашим, деревенским, города не хватает, а тем опять — из города — деревни...

— Каким ето тем не хватает деревни? — усмехнулась Маня-большая. — Я что-то таких не видала.

— Да как не видала. У меня девушки-студентки из города целый месяц жили — разве забыла?

— А, ети ученые-то огарыши...

— Нет, нет, Марья Архиповна, — мягко, но твердо возразила Христофоровна, — нельзя так. Не заслужили. Уж хоть говорится — городские люди шибки, а я того не скажу. Хорошие, уважительные девушки. Без спросу воды из ушата не напьются, а не то чего... Я говорю: чем так у нас пондравилось — третье лето подряд ездите? Смеются: «За живой водой, говорят, бабушка...»

Маня-большая ядовито захихикала — страсть не любила, когда при ней хвалили кого-нибудь, — но Алька так посмотрела на нее, что та живо язык прикусила.

И вот снова летним ручейком побежала неторопливая речь Христофоровны:

— Не пообижусь, не пообижусь на девушек. Уважительные, разговористые. За мной весь день ходят, чуть не по пятам ступают да все, что ни скажу, записывают. Что вы, говорю, девушки? Зачем вам все это? Чего, говорю, вам темная старуха наскажет — ни одного дня в школу не ходила? Вас, говорю, надо записывать, а не меня, вы, говорю, ниституты кончаете, науку учите. Смеются да целуют меня: еще, еще, бабушка... Да чего еще-то? «Да про эти ниституты, про науку...»

— Видно, нынешние-то науки послабже против прежних, раз бабку старую теребят, — заметила Аграфена — длинные зубы.

На это Алька решительно возразила:

— Ничего подобного! Наука у нас хорошая, передовая — кто первый спутник запустил? — Она не могла молчать в таком разговоре, ей надо было свою марку поддержать. — А что студенты к вам ездят да всякие сказки записывают, дак это так и надо. Поняли?

— А туески-то им берестяные зачем? — спросила Таля-ягодка. — Ко мне на подволоку залезли — всю пыль собрали, два туеска да старую ложку нашли. Ложка некрашена, большая — не в каждый рот влезет, бывать, еще дедко наш ел. Да что вы, говорю, девки, с ума посходили! Неужто, говорю, из такой страховодины исть будете? «Будем, будем, бабушка!» Тоже все на смех...

— А почем иконы-то в городе? — Домаха-драная рот раскрыла. С позевотой. Всю жизнь на ходу спит. Мужик, говорят, порол-порол, да так и умер, не отучивши.

— Да, да,— поддержала Домаху Афанасьевна,— был у нас в прошлом году мужик с черной бородой, из каких-то нерусичей. В каждом дому иконы спрашивал.

Насчет икон у Альки не было определенного мнения. С одной стороны, ей с первого класса в школе внушали: религия мрак и опиум, а с другой стороны, правы старухи: блажат в городе. Была она как-то в областном музее — две комнаты больших под иконами занято. И экс-

курсоводша, очкарик такой на воробьиных ножках, на Тонечку Петра Ивановича похожа, только что не рыдала, когда начала говорить об этих иконах. «Самое ценное сокровище нашего музея... Специальный температурный режим...»

— С иконами надо полегче. Не очень, чтобы... — ответила неопределенно Алька и встала, подошла к окну, за которым заметно посветлело.

Она распахнула старую раму, с удовольствием хватила широко раскрытым ртом свежего пахучего воздуха, потом долго смотрела на искрометные лужи на дороге, на черные, курившиеся паром крыши домов.

— Ягоды-то нынче есть? Нет?

Старухи ей не ответили. Им было не до ягод. У них шел новый разговор — разговор о пенсиях, а это значит: хоть из пушек пали — не отступятся. До тех пор будут молотить, пока не разругаются.

Алька прилегла на кровать.

В пенсиях она, пожалуй, понимала еще меньше, чем в иконах. Старухи эти горы работы переделали, в войну, послушать их, на себе пахали вместо лошади, да и после войны немало лиха хватили, а пенсия у них до последнего времени была двенадцать рублей. И вот эти бывшие «двенадцатирублевки» (придумал же кто-то прозваньице!) отводили душу в разговорах, мочалили тех, кто получает больше, рекой разливались, вспоминая свою прошлую жизнь...

Алька сперва слушала старух с интересом. Просто блеск как отделали Маню-большую — та как «рабочий класс» (двадцать пять лет разламывала на кирпич монастырь в соседней деревне) получала сорок пять рублей, а потом пошли причитания, слезы, и ее сморило.

Последнее, что она запомнила (или это приснилось ей?), были слова Христофоровны. Только уже не о пенсиях, а о живой воде:

— Нельзя, нельзя человеку без живой воды, — говорила Христофоровна. — Вот и ищут ее люди, кто где может. По всему свету шарят...

8

Сперва широкая тележница, уезженная, ухоженная — полем, светлым березняком; потом Ефремова росстань — темный вековечный ельник, рыжие насыпи муравейников возле толстенных, истекающих смолой стволов; потом туда-сюда — охотничья тропка. Крутила-вертела, прыгала-бежала — по веретейкам, по холмикам, по белым, выстланным оленьим мохом горушкам, — хлюп, и увязла в болотине...

Сразу притихшая тетка, совсем как, бывало, мать, сняла с руки ведро, торопливо перекрестилась и пошла кланяться направо и налево. Желтым, янтарным ягодкам, которые, как свечки, горели на зеленом водянистом мху.

А Алька не торопилась. Достала пузырек с жидкостью от комаров (эти дьяволы стоном стонали вокруг), аккуратно намазала лицо, руки.

Она не собиралась идти за морошкой — сроду не любила этого дела, и хоть мать и ругала ее и даже била не раз, сделать из нее ягодницу не смогла.

Сбила Альку тетка. Тетка за утренним чаем стала напевать: надо бы пройтись по материным местам, покойницу вспомнить...

Морошки в лесу было мало. За два часа броженья по сырой раде[1] Анисья кое-как прикрыла дно своего ведра, а Алька еще ни одной ягоды не кинула в посудину — все в рот. Сладка, медом тает во рту зрелая морошка, а та, которая не совсем дошла (на краснощекую девку похожа), та еще лучше — на зубах хрустит.

---

[1] Рада — лесистое болото.

Анисья конфузилась.

— Не знаю, не знаю, куда подевалась ягода, — говорила она. — Мы, бывало, здесь ходим с твоей матерью да с отцом — ступить негде. Как, скажи, шалей желтых настлано.

По ее настоянию они двинулись вправо, к просеке, — может, на светлых местах повезет больше? Капризная ягода эта морошка — каждый год на разных местах растет. Но возле просеки и на самой просеке не только морошки — морошника не было.

— Вот какая из меня вожея, — еще пуще прежнего приуныла Анисья. — Я ведь все перепутала. Нам не сюда надо было идти, а как раз обратно. Это ведь Екимова ворга[1] кабыть... Але Максимова?

Альке было все равно: Екимова так Екимова, Максимова так Максимова. Она бросила пустое ведро наземь и побежала к мостику — двум березовым кряжикам, переброшенным через ручей, — все во рту пересохло.

Но не так-то просто, оказывается, напиться с мостика: хлипкий. Тогда она решила зачерпнуть воды с берега — пригоршней, стоя на корточках.

— Постой, постой, — закричала Анисья, — тут ведь где-то посудинка должна быть.

Она ткнулась к одной ели, к другой, к третьей и вдруг вышла сияющая. С берестяной коробочкой в руке.

— Чья это? Как тут оказалась? — спросила Алька.

— Отцова. Отец это делал для твоей матери.

— Отец?

— Отец. А кто же больше? И мостик — он. Матерь ведь у тебя, знаешь, как ходила? Широко. Круто. Вся раскалится, зажарится — пить, пить давай. У ей завсегда, и до пекарни, жажда была. Как, скажи, огонь горит внутри. Я такого человека в жизни не видала...

---

[1] Ворга — охотничья тропа.

С коробочкой напиться было нетрудно — только черпай да черпай.

Вода пахла болотом, торфом, но не зря отец в каждом ручье устраивал водопой — усталость как рукой сняло.

Тетка тоже напилась и даже сполоснула лицо, а потом повесила коробочку у мостика на самом видном месте: пускай и другие попользуются. Они поднялись в угорышек, сели на сухую еловую валежину. Мокрая берестяная коробочка зайчиком играла на солнце.

— Папа маму любил? — спросила Алька и задумчиво, как бы заново посмотрела по сторонам.

— Как не любил! Кабы не любил да не жалел, не наделал бы везде мостиков да коробочек. Пойди-ко по лесам-борам вокруг. В каждом ручье коробочка да мостик.

— Что же он, нарочно ходил или как?

— Коробочки-то когда наделал? Да в ту пору, покуда отдыхаем. Долго ли умеючи мужику бересту содрать да углом загнуть!

Вверху, в голубых просветах, тихо покачивались глянцевитые макушки берез. Шелестели, искристо вспыхивали.

Алька долго не могла понять, чей голос напоминает ей этот березовый шелест, и вдруг догадалась: материн.

Не все, не все ругала да строжила ее мать. Бывала и она с ней ласкова, особенно после удачной выпечки хлеба. Тогда она как воск — проси, что хочешь. Первые свои часы — в двенадцать лет — Алька выпросила в такую минуту.

— Тетка, — сказала Алька тихо, — я чего у тебя хочу спросить... Поминала меня мама перед смертью?

— Как не поминала... Родная матерь, да чтобы не поминала... Уж очень ей хотелось, чтобы у вас все ладно да хорошо было. Гордилась, что ейная дочь за офице-

ром. А как река-то весной пошла, велела кровать к окошку подвинуть да все на реку глядела. «Вот, говорит, скоро пароходы будут, гости к нам наедут — это ты-то да Владик — здоровья мне привезут...»

— Так и говорила: «здоровья привезут»?

— Так. — Анисья вдруг всхлипнула, уткнулась лицом в ладони. — А ты, вот видишь... девка не девка и баба не баба... С таких-то лет... Да еще вчерась утром начала выхваляться, при Мане все выкладывать. Разве не знаешь, что у той во рту не язык, а помело? Уж по всему свету растрезвонила. Вчерась та, Длинные зубы, закидывала петли, пока тебя с реки не было. «Что, говорит, Алевтина не могла зауздать офицера? Прогнал?»

— Прогнал! — рассердилась Алька. — Я ведь тебе писала — сама отрубила...

— Плохо рубить, когда сама ворота настежь раскрыла. Уж надо притираться потихоньку друг к дружке...

— Это к нему-то притираться? Да он двойные алименты платит! Мозгов, что ли, у меня нету — его кисели расхлебывать...

— И насчет своей работы тоже бы не надо трубить на каждом углу, — продолжала выговаривать Анисья. — Что за работа такая — задом вертеть? Да меня золотом осыпь, не стала бы себя на срам выставлять...

Так вот зачем позвала ее тетка в лес! — подумала Алька. Для политбеседы. Чтобы уму-разуму поучить. А у самой-то у ней есть ум-разум? Всю жизнь мужики обирали да разоряли — хочет, чтобы и племянница по ейным следочкам пошла?

— Ну, насчет работы давай лучше не будем! — отрезала Алька. — Мы, между прочим, тоже за коммунистическую бригаду боремся. И та бы, длиннозубая, взвыла, кабы день с нами поробила. Задом крутить! Ну-ко, покрути. Повертись с утра до ночи на ногах да поулыбайся ему, паразиту пьяному... А один раз у меня курсанты

удрали, не заплативши, — с кого тридцать пять рублей получить? С тебя? С Пушкина?

— Да я ведь к слову только, Алюшка... — залепетала, оправдываясь, Анисья. — Люди-то судачат...

— Люди! Ты все как мама-покойница: дугой согнись, а лишь бы люди похвалили. А насчет мужиков, тетка... — Алька улыбнулась.— Свистну — сегодня полк будет!

— С полком-то жить не будешь, — опять насупилась Анисья. — Надо к берегу приставать, пристань свою искать...

— Подождем! — К Альке окончательно вернулось хорошее настроение, и ей захотелось немножко поскалить зубы. — «Чего жалели, берегли, на то налог наложили...» Слыхала такую частушку? Ну дак в городе, тетка, за это теперь не держатся. У Томки, моей подружки, один знакомый морячок в Германии Западной был — знаешь, как там делают? До женитьбы живут. Да открыто. Без всякой утайки.

— Господи, какой ужас!..

— Чего ужас-то? А у нас, думаешь, не так? Мой благоверный — это Владик-то — знаешь, как мое девичество оценил? «Я думал, ты современная девушка... Надо было предупредить по крайней мере...» Не вру!

Анисья решительно не понимала, о чем говорит племянница, и Алька, дурачась, закричала на весь лес:

— Подъем, Захаровна!.. Политбеседу мы с тобой провели знатно — пора и за дело.

9

Еще час-полтора помесили мокрую болотину, поныряли в старых выломках, в пахучих папоротниках, еще раз прополоскали горло из такой же точно берестяной коробочки, из какой пили в Екимовом ручье, а потом вдруг заблудились. Кружили, шлепали по темной раде — в ту

сторону, в другую подадутся, а выйдут все к одному и тому же месту — к старой, поваленной ветром ели.

Солнца наверху не было, оно, как назло, село в облако, чахлые елушки да ельники они читать не умели — не каждому дается лесная грамота. Что делать? Кричать? Огонь разводить?

Выручил их... трактор.

Вдруг, как в сказке, зачихало, зафыркало где-то слева в стороне, тетка помертвела: нечистая сила, ну, а Алька с распростертыми руками кинулась навстречу этой нечистой силе.

И вот десять минут не пробежала — старый осек[1], а за осеком — покружила, поерзала меж осин и березок — зеленая полевина.

Она с лицом зарылась в душистую, нагретую солнцем траву, громко расхохоталась. От радости. От изумления. Господи, они измучились, из сил выбились, таскаясь по болотам, по выломкам, думали, забрались невесть куда, а оказалось — у самых навин[2] бродят.

Анисья — она только подошла с двумя ведрами, — со своим и Алькиным — от стыда не знала, куда и глаза девать: это ведь она в трех елях заплуталась, и разговор перевела на траву.

— Смотри-ко, как жизнь повернула. Бывало, здесь травинки не увидишь — все унесут, а тут лёто уж усыхать стало — полно травы.

— Маму бы сюда, — сказала Алька.

— Да, уж мама твоя с травой побилась. Мы с Христофоровной тело обмывать стали — господи! Во все правое плечо мозоль. Затвердела, задубела, как, скажи, кость.

— Неужели?

— Вот те бог. Христофоровна тогдась только голо-

---

[1] Осек — лесная изгородь.

[2] Нáвины, или новины — поля, отвоеванные у лесов. Во многих северных колхозах они составляют большую часть пахоты.

вой покачала. Сколько, говорит, на веку живу, такой страсти не видела.

— А маме все завидовали: хорошо живешь...

— Хорошо. Почто не хорошо-то? Только многие ли так робили, как твоя мама? Бывало, с пекарни придет, близко к осени, уж темно, а она кузов на плечо да за травой, да еще по сторонам оглядывается — как бы кто не поймал. А теперь-то чего не жить. На трудодень сено дают, и так подкосить можно. Не хотят с коровой валандаться. У Егорковых животину нарушили, Петр Иванович молоко в лавке покупает — все каждое утро с ведерышком ходит...

— Что ты говоришь! — воскликнула Алька.

Сено да корова — всегда первый разговор в деревне, и она, конечно, слушала тетку. Не забыла еще, как сама дугой выгибалась под кузовом. Но вскоре у нее скулы стало воротить от тоски, потому что тетка — известно — опять начала наставлять ее на путь истинный: дескать, оставайся дома, не езди никуда. Дом у тебя — поискать таких, и за ум возьмешься — замуж выйдешь...

Синий дымок клубами взлетал в низинке за кустарником, раскаленный мотор распевал свои железные песни... Кто там работает? Как выглядит тот, который выручил ее из беды?

Алька встала.

— Насчет жизни в другой раз поговорим, а теперь пойду на трактор взгляну.

— Пойди, пойди, — живо согласилась Анисья (она всегда и раньше поощряла интерес племянницы к деревенским делам). — Это, вишь, кто-то под рожь пашет.

В крохотном родниковом ручейке под березой Алька старательно умылась, расчесала свою рыжую гриву, пересыпанную хвойными иголками, и на поле выскочила — держись, тракторист! Настроение такое — проглочу и выплюну!

А через минуту она чуть не каталась от смеха. По-

тому что кто же сидел за рулем трактора? Кого она собиралась проглотить и выплюнуть? Пеку Каменного. Его улыбающаяся черномазая мордаха высунулась из пропыленной кабины.

— Ты чего это ходишь? — спросил Пека, подъезжая к ней. — На природу интересуешься, да?

— На природу.

— Ну дак ты вот что... знаешь-ко, куды сходи? К Косухину полю. Там толсто черемухи — я вчерась весь объелся. Сладкая-сладкая...

— Ладно, схожу, — Алька поставила ногу на железную, до блеска надраенную сапогами подножку, ради любопытства заглянула в кабину. Жарко, душно, воняет керосином — чему только всегда радуется этот парнишка? — А это? Это еще что такое? — воскликнула Алька, с удивлением всматриваясь в угол кабины, густо залепленный головками красоток из цветных журналов.

— Это мы так... С Генькой-напарником... От нечего делать... — пробормотал Пека.

— Сказывай-сказывай! От нечего делать... Так я тебе и поверила. Когда в армию-то?

— Через год вроде.

— Не хочешь, поди?

— Куда — в армию-то не хочу? — Тут уж Пека с насмешкой посмотрел на нее. — Ничего-то скажешь! В армию не хочу...

— Ну а из армии куда? Домой, да?

— Не знаю. Чего сейчас загадывать...

— Как не знаешь? А колхоз? А земля и подъем сельского хозяйства? — назидательно сказала Алька. В общем, показала, что она в курсе.

На Пеку, однако, это не произвело решительно никакого впечатления. Он широко, по-ребячьи открыл свой редкозубый розовый рот и даже сострил:

— Земли-то теперь хватает... Чего об земле беспокоиться... С Луны начали возить...

— А тебе серьезности не хватает, Каменный, вот что! — обрезала его Алька. — Все знают, что в деревне сейчас стало хорошо, а ты отрицаешь...

— Ничего не отрицаю...

— Сколько в месяц зарабатываешь?

— Я-то?

— Да.

— Нонека, наверно, сто пятьдесят выйдет...

— Ого! — Алька спрыгнула с подножки на поле. — Дак чего ты ухмыляешься?

— Дак ведь это только когда пашем, — уточнил Пека. — А зимой-то, когда на ремонте, по двенадцать рублей...

— Но ты согласен, что жить стало лучше? — допытывалась Алька.

— Согласен. Только насчет лета согласен...

— Как это насчет лета?

— Как... Зимой-то снегом все занесет, к нам и не попадешь. Разве ты забыла? У нас у отца на рождество сердце прихватило, не могли «скорую помощь» вызвать. Думали, помрет...

Разговор становился неинтересным.

— Ну, желаю, — сказала Алька и пошла на дорогу. Пека ее окликнул:

— Слушай-ко... А ты долго ли у нас будешь?

— Поживу. А что?

— Ну дак ты вот чего... знаешь-ко... Научи меня дрыгаться, ладно? Ты, говорят, мастак по этой части...

— Как это дрыгаться?

Пека, как бисером, осыпанный потом, тут просто закрутил головой:

— Ну, танцевать... Видала, какой у нас клуб отгрохали?

— Лады, — сказала Алька, — научу тебя дрыгаться. А ты мне трактором дашь поправить.

— Тебе? Трактором? — Пека от возмущения замахал

обеими руками. — Ничего-то скажешь! Трактор-от техника. Права надо иметь.

Но Алька не привыкла, чтобы ей в чем-либо отказывали. Живо забралась в кабину — поехали!

Два раза они околесили поле. Пека на удивленье уверенно орудовал рычагами и педалями, а она, конечно, не брыкалась: трактор не игрушка, и ей жить еще не надоело. Сидела, поглядывала в окошечко да на механизатора: ужасно важный стал. И не то чтобы улыбнуться или слово сказать, головы не повернул в ее сторону.

Прежним стал Пека, когда они подъехали к дороге и она выскочила из кабины.

— Ну, имеешь теперь представление, да?

— Имею. Приходи вечером, так и быть, научу дрыгаться. А ежели еще вымоешься, то и целоваться научу.

Алька захохотала, размашистым шагом пошагала домой, и долго, до тех пор пока не вышла из полей, не слышала сзади себя привычного рокота мотора.

10

Аркадий Семенович, ежели начистоту говорить, так самый первый человек в ее нынешней жизни. В ресторан устроил, комнатенку — худо-бедно — для них с Томкой схлопотал, подарок к празднику — обязательно... Ну и что из того, что лысый да женатый? Подумаешь, раз-другой в месяц кудри евонные расчесать!

А она переживала, никак не могла вытравить из себя, как говорит ей Томка, деревенской дури...

Вот и сейчас: едва поднялась к тетке на верхотуру да увидела пустую избу — сроду не терпела одиночества — да вспомнила давешние теткины слова («доколе будешь жить не бабой, не девкой?»), и заскребло, засосало на сердце...

Спасибо солнышку — оно вовремя вылезло из-за об-

лака, заплясало, заиграло во всех окошках. А при солнышке какая печаль?

Быстро вскочила на ноги, платье с себя долой, в таз эмалированный воды, и начала, как рыбина, плескаться на всю избу...

А потом Алька стояла перед зеркалом и с удовольствием разглядывала свои зеленые бесшабашные глаза, свой жаркий ненасытный рот, полный крепких зубов, свои высокие литые груди...

После крынки топленого с румяной корочкой молока, выпитого с белой шаньгой, Альке нестерпимо захотелось нырнуть в теткину кровать под белым кружевным покрывалом, но она тотчас же подавила в себе этот соблазн. На почте еще не была, в магазин не заходила, Лидку с Первобытным не видала — ей ли дрыхать середи дня?

А потом что-то надо было делать с Васей-беленьким. Вечор, по рассказам тетки, больше часу вертелся возле ихнего дома.

«А может, крутануть?» — вдруг подумала Алька. Чего это она решила из себя монашку корчить? Кто поверит? Святош на этом свете и без нее хватает, а ей, когда приедет в город, будет, по крайности, хоть что Томке порассказать.

Она тщательно оделась (еще в городе порешила: каждый день выходить в новом) и не забыла, конечно, про свой малиновый купальник с вшитым белым ремешком и кармашком с молнией. Врете! Не застанете больше врасплох.

11

Старушонку, ползающую в косогоре возле черемухового куста, Алька заметила, еще когда с теткиной верхотуры смотрела на реку.

Думала, гадала: кто бы это? Что делает? Землянку

собирает? Но землянка растет в косогоре пониже, а во-вторых, не так уж у них и густо этой землянки, чтобы на одном месте целый час топтаться.

И вот, когда она вышла из дому, — первым делом за изгородь: серый клетчатый платок все еще нырял там.

Христофоровна. Траву серпом собирает.

— Не могу далеко-то ходить, — заговорила Христофоровна, с превеликим трудом разгибая свою старую спину. — А все еще скотинку держу — овечка есть. Вот и кочкаю по своей вере — кое серпом, кое руками. А ты куда пошла? Не к реке? Обмойся, обмойся. Вода теплая-теплая. Ноне все лето до потовины жарит. У меня девушки из городу жили — больно ндравилась наша водица. Такой, говорят, воды, бабушка, и на свете нету. Все вон по Паладьиной меже бегали.

— По Амосовской, — поправила старуху Алька.

— А нет, по Паладьиной, — сказала Христофоровна. — То раньше Амосовской-то звали, а теперь Паладьиной зовем. Даже мы, старые, так говорим.

Христофоровна тяжело перевела дух — жарковато было на верховище, как сказала бы Алькина мать про вершину горы.

— У меня девушки все выспрашивали: как, говорят, с чего такая перемена? Это насчет межи-то — почему Паладья всех Амосовых покрыла. А я говорю, за труды, видно. Двадцать лет женка кажинный день мяла эту межу, да еще не один, а два да три раза на дню. Никто, говорю, как деревня стоит, не прошел по ней, сколько она прошла. Ну дак уж они меня извели: расскажи да расскажи про Паладью.

— И ты рассказывала?

— Как не рассказывала, раз просят. Все записали да в город увезли.

— А чего им мамина жизнь далась?

— А вот интересуются. Как да за что такая почесть. Очень им это удивительно, что межу к нынешнему чело-

веку привязали. Это, говорят, бабушка, все равно что памятник. Памятники, вишь, в городах большим людям ставят. Каменные. Видала?

— Видала. Есть.

— Ну вот видишь. А я думала, может, маленько и подшутили над бабушкой. Любят посмеяться-то, любят. Хоть и уважительные.

Дальше, по всему видать, разговор у Христофоровны опять пошел бы о полюбившихся ей девушках из города, и Алька с ней рассталась.

Но пошла не на деревню. Пошла под гору — материной тропой.

Шла, опустив голову, смотрела на плотно утоптанную дорожку, искала материны следы и не находила. Давно смыло их дождями и вешними водами — редкий год у них река не выходит из берегов. А все равно дорожку и межу называют Паладьиной. И так будут называть долго, даже тогда, когда уж ее, Альки, не будет на свете...

И еще она думала о том, что рассказывала студенткам о матери старая Христофоровна.

Она не сомневалась: добрая старуха до небес расхваливала мать. Работящая. В любую стужу и дождь за реку шастала. Одна за трех человек на пекарне чертоломила... А была ли счастлива мать? Какие радости она видела в своей жизни? Неужели же испечь хороший хлеб — это и есть самая большая человеческая радость?

А у матери, как запомнила Алька, не было другой радости. И только в те дни добрела и улыбалась (хоть и на ногах стоять не могла), когда хлеб удавался. И не только улыбалась, а и ораторствовала — любила поговорить: «Да у меня самая заглавная должность на земле, ежели на то пошло. Да я хлеб пеку, я саму жизнь делаю...»

Паладьина межа... Межа родной матери...

Не часто, ох, не часто бывает такое, когда дочь шагает тропой, которая называется по имени ее матери...

12

Всю дорогу, от деревенской горы до угора за рекой, где под старыми разлапистыми соснами стоит пекарня, настраивалась Алька на благочестивый лад и не могла настроиться.

Нет, не любила она пекарню. И хоть ей и приятно было снова вдохнуть в себя знакомый хлебный дух (он всегда и раньше тут заглушал запах смолы), встретиться глазами с большими окнами в белых наличниках, из которых она любила когда-то смотреть на теткину верхотуру за рекой, но разве могла она забыть, что эта пекарня в могилу свела ее мать? А потом — хлебнули с этой пекарней немало горюшка и они с отцом. Мать пришла из-за реки еле живая — на ком сорвать злость? На них с отцом. У людей грибы-ягоды наношены, а у них ни обабка, ни ягодины нет — кто виноват? Они с отцом. А дрова, а вода — будь они прокляты! Сколько из-за них всегда ругани, реву?

Алька недолго стояла под соснами в глазах у пекарни — ей все казалось, что вот-вот с треском раскроется окно и оттуда закричит мать: «Чего стоишь — ворон считаешь? Дела тебе нету?!» И она машинально, по старой привычке, одергивая коротенькую юбку (никак не думала, что сюда занесет), торопливо двинулась к крыльцу.

Замок. Большущий, старинный замок, который еще завела когда-то ее мать.

Хотела, хотела она побывать во владениях матери, специально отправилась за реку, растроганная задушевным словом Христофоровны, а раз двери на замке — чем она виновата?

Ноги живо-живо вынесли за пекарню на большую дорогу, а там раз-раз и поселок. Летовский лесопункт.

Было время, побегала она с пекарни в этот поселок — и за сладостями к чаю (мать у них любила покатать во рту дешевенькую конфетку), и просто так, ради веселья.

А потом, когда подросла, начала строчить с деревенскими девками в клуб, на танцы.

Был обеденный час, когда Алька вошла в поселок. Работяги по случаю получки (самый большой праздник!) косяками шатались по пыльной песчаной улице, и временами она чувствовала себя как в ресторане: так и жгли, так и калили ее и словом и взглядом со всех сторон.

Зинка-тунеядка, узнав ее, бросилась ей на грудь, а потом, как всегда, захлебываясь пьяными слезами, начала показывать карточку своей дочери-школьницы, которая, по ее словам, будто бы живет с отцом в Ленинграде.

Попалась ей на глаза и Маня-большая — эта, видать, специально приперлась из-за реки, чтобы поднакачаться дарового винца. Увидела ее, глаз угарный запылал, и с распростертыми объятиями навстречу: дескать, в дым, в доску люблю тебя, Алевтинка.

Но Алька еще из ума не выжила, чтобы с каждым пьяным огарком среди бела дня обниматься. Она зыркнула на старуху рассерженным взглядом — проваливай! С глаз моих убирайся! — и свернула к магазину.

Из-под сосен, от склада, ей кричали какие-то пьяные парни, звали к себе («Курносая, шлепай к нам!»), а она уж ни о чем не могла думать: магазин был перед глазами.

Страсть к магазинам ей передалась от матери. Как для той, бывало, не было большего праздника, чем зайти в магазин, так и для нее. В городе, к примеру, когда у нее выпадало свободное время, она не в кино первым делом бежала — в магазин, в пестрое и пахучее царство шелков, шерстяных тканей, ситцев.

В общем, Алька, как на крыльях, влетела на крыльцо, кинулась к дверям и вдруг нос к носу столкнулась с Сережей.

Сережа выскочил из магазина пьяный — ее так и опахнуло водочным перегаром, а в руках у Сережи было

еще по бутылке, а из кармана робы тоже торчала бутылка.

Ее, конечно, узнал — глаза выдали, так и метнулись за толстенными стеклами очков, но вид сделал: чужая. А потом и вовсе ваньку начал ломать: ныром, чуть ли не на бровях пошел с крыльца.

— Дэвочку, дэвочку прихвати! — загоготали под соснами.

В ответ Сережа выкрикнул какую-то похабщину и лихо потряс бутылками, высоко поднятыми над головой. И Алька смотрела на эти сверкающие на солнце бутылки, на его лохматую светлую голову, на длинную, нескладную фигуру в мешковатой, затертой мазутом и смолой робе, на его большие пропыленные и стоптанные сапоги, и ей просто не верилось, не хотелось верить, что это Сережа. Тот самый Сережа, из-за которого она еще совсем недавно, каких-нибудь три года назад готова была выцарапать всем глаза.

Ах, как нравился ей тогда Сережа! Да и только ли ей одной. Все девки были без ума от него, а Аня Таборская, ихняя первая красавица, даже учиться после десятого класса не поехала. Устроилась счетоводом на лесопункте за рекой, только бы на глазах у Сережи быть — он как раз в то лето кончил институт и начал работать инженером.

И вот как-то раз, придя на танцы, Алька сказала себе: мой будет. Со мной из клуба пойдет.

Три года назад это было, целых три года, а у нее и сейчас, только от одного воспоминания, перехватило дыхание. Потому что кто она была три года назад против девок, против той же, скажем, Ани Таборской? А соплюха нахальная, малолеток, брыкающий ногами от радости, что он живет и дышит. У нее даже туфли были еще на низком каблуке. А главное — сам-то Сережа не замечал ее. Весь вечер танцевал то с одной, то с другой, а на нее и не взглянул. Алька, однако, не растерялась. Дам-

ский вальс! Сама заказала Геньке Хаймусову и чуть ли не бегом к Сереже — чтобы никто не опередил ее.

Сережа усмехнулся: что, мол, за малявка такая? Из какого детсада? Но встал, сделал одолжение. А через минуту-две уже с любопытством сверху вниз смотрел на нее.

Она сказала ему:

— Я с девчонками побилась об заклад, что ты меня пойдешь провожать. Пойдешь ведь, да? Не струсишь?

— А у тебя есть разрешение от мамы?

Сережа и дальше в таком же духе острил и хорохорился, но из клуба они вышли вместе: побоялся спраздновать труса. Она знала, за что его зацепить.

Но, боже, как он стеснялся! За всю дорогу не сказал ни единого слова, а если кто попадался им настречу — сгибался пополам.

И вот, когда они подошли к Аграфенину амбару (на самой дороге торчит, каждый пеший и конный натыкается), она сказала:

— Свернем за угол, у меня в туфлю песку напопадало.

— Можно, — сказал Сережа.

А когда свернули, она живо приподнялась на носки, обвила ему руками шею и крепко поцеловала в губы.

— Это для храбрости, — сказала она со смехом.

...Продавщица, старая знакомая, как только Алька вошла в магазин, выбежала из-за прилавка.

— Алечка, вот чудеса-то! А я смотрю в окошко: кто, думаю, такая? Инженерова жена из города приехала? Который уж день ждет. А то вон кто — ты... — И Настя, так звали продавщицу, всплакнула.

Алька недолго пробыла в магазине. Она разговаривала с продавщицей, смотрела на полки, заваленные мануфактурой, а из головы не выходил Сережа: что он делает сейчас? Неужто до того докатился, что уже возле магазина пьет?

Нет, ни Сережи, ни его приятелей, когда она вышла из магазина, под соснами не было.

Там, на ящиках, лежала только смятая газета.

13

Сосны, сосны красные...

Сколько их, этих сосен, вдоль дороги по обеим сторонам от поселка до перевоза? Может, двести, может, триста, а может, вся тысяча — кто считал? И чуть ли не под каждой сосной они целовались с Сережей. Она закрутила и заворожила Сережу насмерть. Каждый раз, когда она появлялась на пекарне у матери, он поджидал ее в сосновом бору.

Но робел и стеснялся он по-прежнему. Пуще коры сосновой краснел — никак не мог забыть, что она ученица.

Ее веселило, забавляло это, у нее голова кружилась от сознания собственной силы: вот какая она! Главным инженером лесопункта вертит, как хочет, Аню Таборскую до сухотки довела... А потом настало время — до слез, до бешенства стала изводить ее Сережина стеснительность. Ну что это за кавалер, который боится сам тебя поцеловать? Кто из них девка — она или он?

Сосны, сосны красные... Белый мох-ковер... Жаркий смоляной дух, такой знакомый и радостный, бил ей в лицо, в нос, злые слезы вскипали в ее зеленых беспечных глазах.

Ей жаль было прошлого, своей полузабытой лесной любви. И еще она никак не могла забыть своей недавней встречи с Сережей. Господи, до чего опустился, на кого стал похож!

Тетка и мать ей писали, что он запил, что его с инженеров сняли, но нет, она и подумать не могла, что он в такое болото нырнул. Ведь ежели правду сказать, что

он делал, когда она столкнулась с ним на крыльце магазина? Каким делом занимался? А на побегушках у дружков-собутыльников был...

Из-за поворота дороги вышли навстречу три незнакомые женщины с алюминиевыми ведерками — за молоком в деревню ходили, остановились, тараща глаза: кто такая? Что за невиданная птица появилась в ихних краях? А за этими тремя женщинами стали попадаться еще люди — подвыпившие мужики, парни, подростки, а там вскоре и Саха-перевозчик подал свой голос:

Из-под тоненькой беленькой рубашечки
Поднималась высокая грудь...

Не менялся пьяница Саха. Как пять, десять лет назад тосковал по красивой нездешней любви, так и теперь...

14

Какой все-таки длинный день в деревне!

В городе, когда в ресторане крутишься, и не заметишь, как он промелькнет. А тут — в лес сходила, за реку сходила, с дролей своим бывшим встретилась, у Сахи-перевозчика посидела — и все еще четвертый час.

Поднявшись в деревенский угор, Алька направилась к колхозной конторе, а точнее сказать, к Красной доске. Доска большущая, с портретом Ленина... — кого прославляют?

Доярок. Одиннадцать человек занесено на Доску, и шестая среди них — кто бы вы думали? — Лидка. Ермолина Л. В. 376 литров надоила за июнь.

— Надо же! — пожала плечами Алька. — Лидка стахановка!

Дом Василия Игнатьевича, Лидкиного свекра, совсем близко от колхозной конторы, и она решила завалиться

к Лидке — надо же посмотреть, как она со своим Первобытным устроилась.

Митя-первобытный, то есть муж Лидки, которого так расхваливала ей тетка, начал баловаться топором чуть ли не с пеленок (бывало, когда идешь мимо, все что-то в заулке тюкает), а потом и вовсе на топоре помешался. После десятилетки даже в город, на потеху всем, ездил. Специально, чтобы у тамошних мастеров плотничьему делу поучиться. И вот не зря, видно, ездил. Во всяком случае, Алька просто ахнула, когда дом Василия Игнатьевича увидела. Наличники новые, крыльцо новое — с резными балясинами, с кружевами, с завитушками всякими, скворечня в два этажа с петушком на макушке... В общем, не узнать старую развалину Василия Игнатьевича — терем-теремок.

Лидка, когда увидела ее в дверях, слова сперва не могла сказать от радости.

— А я ведь думала, Аля, ты ко мне и не зайдешь. В красных штанах ходишь — до меня ли?

— Выдумывай, — сказала Алька, — к подружке да не зайду! — Но от Лидкиных объятий (та даже слезы распустила) уклонилась.

Комната — ничего не скажешь — обставлена неплохо. Кровать никелированная, двухспальная, под кружевным покрывалом, диван, комод под светлый дуб — это уж само собой, нынче этим добром никого не удивишь. Но тут было и еще кое-что. Был, к примеру, ковер во всю стену над кроватью, и ковер что надо, а не какая-нибудь там клеенка размалеванная, был приемник с проигрывателем, этажерка с книгами, со стопкой «Роман-газеты»...

— Это все Митя читает, — сказала Лида, и в голосе ее Алька уловила что-то вроде гордости. — Страсть как любит читать. Я иной раз проснусь, утро скоро, а он все еще в свою книжку смотрит.

Да, прибарахлилась Лидка знатно, отметила про себя

Алька снова, наметанным взглядом окидывая комнату, — избой не назовешь. Зато уж сама Лидка — караул! Ну кто, к примеру, сейчас в деревне шлепает в валенках летом? Разве что старик какой-нибудь, выживший из ума. А Лидка ходила в валенках. И платьишко-халат тоже допотопной моды, с каким-то немыслимым напуском в талии...

— Постой, постой! — вдруг сообразила Алька. — Да мы уж с накатом. Быстро же ты управилась! — Она подошла к швейной машинке, рядом со столом (Лидка как раз строчила на ней, когда она открыла двери), покрутила на пальце детскую распашонку.

— Я, наверно, в маму, Аля! — пролепетала Лидка, вся, до корней волос, заливаясь краской. — Мама говорит, с первой ночи понесла...

— Сказывай, сказывай! В маму... Мама, что ли, за тебя в голопузики с Митей играла...

Тут Лидка заплела уж совсем невесть что, слезы застлали ей голубенькие бесхитростные глаза, так что Алька не рада была, что и разговор завела. И вообще ей, Альке, надо бы помнить, с кем она имеет дело. Ведь Лидка и раньше не ахти как умна была. Ну кто, доучившись до шестого класса, не знает, отчего рождаются дети? А Лидка не знала. Прибежала как-то к ней, Альке, домой — вся трясется, белее снега.

— Ой, ой, что я наделала...

— Да что?

— С Валькой Тетериным целовалась...

— Ну и что?

— А ежели забеременею?..

Оказывается, мать ей с малых лет крепко-накрепко внушала, что нельзя с ребятами целоваться, можно пузо нагулять, и вот эта дуреха до шестого класса верила этому...

Лида немного пришла в себя, когда они присели к столу и Алька стала выспрашивать ее про Сережу (ни-

как с ума не шел!), но вскоре та опять огорошила ее — ни с того ни с сего заговорила про войну:

— Аля, ты в городе живешь... Как думаешь, будет война?

— Война? А зачем тебе война?

— Да мне-то не надо. Я этой войны больше всего на свете боюсь. Страсть как боюсь...

— А чего тебе бояться-то? — резонно заметила Алька. — У нас покамест пузатых баб на войну не берут.

И вот тут Лидка и брякнула:

— А ежели у меня не девочка, а мальчик будет...

В общем, разговор у них, как поняла Алька, так или иначе будет вращаться вокруг Лидкиного пуза или в лучшем случае вокруг коров и надоев молока — а что еще знает Лидка? Чего видела? — И Алька начала поглядывать по сторонам.

— Да посиди ты, посиди, Аля! Сейчас Митя придет, чай будем пить...

Лида не просила ее — упрашивала. Глядела на нее с восхищением, с обожанием («Ты еще красивше стала, Аля!»), и Алька осталась. А потом, что ни говори, — забавно все-таки взглянуть и на своего бывшего поклонника.

Митя, когда она еще в пятый класс ходила, объявил ей: «Амосова, я решил любовь с тобой заиметь». Объявил, не поднимая глаз от земли, и тут же убежал прочь.

И вот сколько лет с тех пор прошло, а Митя каждый праздник присылал ей поздравления — цветные открытки с воркующими голубками и розами: Первого мая, в Октябрьскую, на Новый год, Восьмого марта... Один-единственный парень в деревне. И только с позапрошлой осени, с того самого времени, как она уехала в город, выбросил ее из головы.

Митины причуды — а без них у него не бывает — начались еще на подходе к дому: петухом прокричал. А ко-

гда влетел в комнату да увидел Лидку, и вовсе ошалел. Сгреб в охапку, поднял на руки, закружил.

В комнате сильно запахло свежим деревом, смолой, и Алька про себя съязвила: плотник женушку свою обнимает. Но на этом, пожалуй, ее злословие и кончилось. Потому что она вдруг поймала себя на том, что с удовольствием вдыхает в себя крепкий смолистый запах, который распространял вокруг Митя. Да и сам он теперь вовсе не казался ей смешным. А чего смешного? Сила лешья, ноги расставил — хоть на телеге езжай, и шея — столб. Красная, гладкая, в белом мягком волосе — как стружка древесная, завивается. Лида звонко молотила Митю по широкой спине, не дури, мол, хватит. Но молотила одной рукой и со смехом, а другой-то грабасталась за эту шею, и видно было, что делает она это не без удовольствия.

Ее Митя заметил в ту самую минуту, когда ставил свою женушку на пол. Голову резко откинул назад, будто грудью на кол напоролся, и ни слова. Только глазами зверовато завзводил.

Да что с ним? Какая блоха его укусила? — подумала Алька. Она даже растерялась малость — так не вязалась с добряком Митей эта внезапная, ничем не прикрытая ненависть.

Догадка озарила ее, когда Лидка, как гусыня, переваливаясь в своих растоптанных валенках, пошла собирать на стол.

Да ведь он это женушки своей застыдился, подумала Алька. Разглядел, какая она краля, когда увидел других.

И тут на Альку нашло. Она нарочно, чтобы еще больше разозлить Митю, подобралась и своей игривой, ресторанной походкой прошлась по комнате: на, гляди! Кусай себе локти!

Разъяснилось все через две-три минуты, когда с другой половины пришел Василий Игнатьевич.

15

Василий Игнатьевич пришел по-домашнему, в подтяжках, — на чай к снохе.

Ее, не в пример своему полоумному сыну, заметил сразу.

— А, опять пути-дороги пересекаются!

Но больше и все. Никаких шуток. Сидел, попивал чаек из гладкого стакана с красным цветочком и все поглядывал на Лидку, а когда та, угощая его, называла папой, просто таял. Просто не узнать было старого похабника.

Митя очень важно, по-хозяйски надувшись, завел разговор насчет Лидкиной работы.

— Я считаю, папаша, — сказал Митя как на собрании, — пора подвести черту...

— Пожалуй, — согласился Василий Игнатьевич. — Доярок сейчас хватает. Зачем рисковать?

— Это может отразиться... — опять как-то по-ученому выразился Митя, на этот раз обращаясь уже к жене.

У Альки не хватило больше терпения — она так и прыснула со смеху. А чего на самом-то деле? Сидят да разоряются насчет Лидкиного пуза, когда и пузо-то еще в микроскоп рассматривать надо.

— Не слушай их, Лидка... Работай, знай, до последнего. Потом легче распечатываться будет...

И вот тут-то все скобки и раскрылись. Василий Игнатьевич с испугом взглянул на сноху, как если бы на ту зверь накинулся, а Митя... Митя, тот с яростью засверкал своими светлыми пронзительными глазищами.

В общем, она поняла: Лидку тут оберегают. С Лидкой носятся тут как с писаной торбой. Чтобы ни одна пылинка на нее не упала, чтобы ни одно худое слово не коснулось ее уха.

Гордость вздыбилась у Альки, так что в глазах потемнело.

Ах вы, паразиты несчастные! Лидка паинька, вокруг

Лидки забор вознесем, а с ней, с Алькой, все можно, она, Алька, огни и медные трубы прошла... Нет, постойте! Она еще своего слова не сказала. А может, может сполна всем выдать. И тому, Первобытному, — ишь корчит из себя строителя-новатора с книжечкой, и самому Василию Игнатьевичу — давно ли к ней свои старые лапы протягивал да на службу к себе заманивал? Ну, а Лидке, своей подруженьке, она тоже лекцию прочитает. Довольно из себя детсадовку разыгрывать...

Ничего из Алькиной затеи не вышло. Под окошком зафурчала, загудела машина с доярками, и все — и Митя, и Василий Игнатьевич — кинулись собирать Лидку...

16

Дома, у тетки на верхотуре, все то же: старухи, пересуды...

Внове для нее была разве Маня-маленькая — темная гора посреди избы.

— Пришла на горожаху поглядеть, — сказала Маня, как всегда, напрямик. — Говорят, в штанах красных ходишь.

— А чего ей не ходить-то? — угодливо ответила за Альку Маня-большая.

Тетка стала ее потчевать морошкой, — целая тарелка была выставлена на стол, сочной, желтой, как мед. Нашла-таки! И по этому случаю лицо Анисьи сияло.

Алька сбросила с ног туфли у порога, подсела к столу, но не успела рукой дотянуться до тарелки — Маня-большая подлетела, ткнулась на стул рядышком, нога на ногу, да еще и лапу ей на плечо — чем не кавалер!

— Не греби! Все равно больше других не получишь.

— Чего ты, Алевтинка?

— А то! Не притворяйся! Думаешь, не знаю, из-за чего из кожи вон лезешь?

— По части веселья хочу...

— Веселье от тебя! Не знаю я, что у тебя на уме.

Все сразу примолкли — не одной Мане в глаз попало. На той платок материн, на другой кофта, на третьей сарафан — кто в прошлом году на помин дал?

Анисья, добрая душа, чтобы как-то загладить выходку племянницы, перевела разговор на ее ухажеров.

— Не видела молодцов-то на улице? — сказала она. — Посмотри-ко, сколько их. Всяких — и наших, и городских.

Да, за окошком, куда указывала тетка, маячил Вася-беленький с товарищами, а дальше, у полевых ворот, мотался еще один кавалер — Пека Каменный. Вымылся, в белой рубашке пришел — давай «дрыгаться».

— Каждый день вот так у нас, — сказала тетка. — Как на дежурство являются.

Сказала с гордостью. На похвал: вот, мол, какая у меня племянница! А на кой дьявол племяннице эти кавалеры? И вообще, ей кричать, выть хотелось, крушить все на свете...

Всю дорогу от дома Василия Игнатьевича до дома тетки ломала она голову над тем, что произошло у Лидки, и до сей поры не могла понять. Да и произошло ли что? Ну, сидели, ну, пили чай, ну, Василий Игнатьевич глаз со сношеньки не сводил, каждое слово ей сахарил. Ну и что? Сахари! Ей-то какое дело? И в конце концов плевать ей и на тот переполох, который в доме поднялся, когда машина с доярками подъехала. Ах, какое событие! Скотница на свидание с рогатками собирается. Один кинулся в сени за сапогами, другой — Василий Игнатьевич — полез на печь за онучами... Пущай! Дьявол с вами! Бегайте как угорелые, ползайте по горячим кирпичам, раз вам нравится...

Но вот чего никогда нельзя забыть — это того, что было после. После Лидкиного отъезда.

Василий Игнатьевич — это уж на улице, когда машина с доярками за поворотом дороги скрылась, — вынул

из кармана трояк, подал Мите: «Бежи-ко к Дуньке за причастием, засушили гостью...» И куда девалось недавнее благообразие!

Глаза заиграли, засверкали — прежний гуляка! Можно! Теперь все можно, раз Лидки рядом нету. Это ведь при Лидке надо тень на плетень наводить, а при Альке — чего же? Она — Алька, не в счет... Крепко, до боли закусив нижнюю губу, — она всегда в ресторане так делает, когда капризный клиент попадается, — Алька решительно мотнула своей рыжей непокорной гривой: хватит про Лидку да про ейного плотника думать, больно много чести для них! И потребовала от тетки бутылку — пущай старухи горло смочат.

Маня-большая — золотой все-таки характер у человека! — скокнула, топнула и бесом-бесом по избе, а потом как почала мести-скрести длинным язычищем — со всех закоулков сплетни собрала.

К примеру, Петр Иванович. Алька все хотела спросить тетку: где теперь эта старая лиса? Почему не видать? А он, оказывается, на дальний лесопункт со своей Тонечкой подался. Вроде как в гости к своему шурину, а на самом-то деле — нельзя ли как-нибудь ученые косточки пристроить — Маня так и назвала Тонечку, потому как в своей деревне охотников до них нету.

— А ухажера-то своего видала? — вдруг спросила Маня.

— Какого? — спросила Алька и рассмеялась. Поди попробуй не рассмеяться, когда она на тебя свой угарный глаз навела.

— Какого-какого... Первобытного!

Аграфена — длинные зубы: ха-ха-ха! На другом конце деревни слышно — заржала. А Маня-маленькая, как всегда, — переспрашивать: про кого? Как в лесу живет — никогда ничего не знает.

— Про Митю Ермолина, — громко прокричала ей на ухо Маня-большая. — В школе, вишь, все руками, как

немко, учителям отвечал, а не словами. Вот и прозвали Первобытным. В первобытности, говорят, так люди меж собой разговаривали. Верно, Алевтинка?

Тут тетка, как всегда, горячо вступилась за Митю, ее поддержала Маня-маленькая, Афанасьевна, и началась перебранка.

— Нет, нет, — говорила Анисья, — не хули Митю, Архиповна. На-ко, весь колхоз человек обстроил, все дворы скотные, постройки все — все он... И не пьет, не курит...

— А все равно малохольный! — стояла на своем Маня.

— Да пошто ты самого-то нужного человека топчешь?

— А пото. В девятом классе на радиво колхозное летом поставили, отцу уваженье дали, а он что сделал? Бабусю на колхозные провода посадил!

Алька захохотала. Был такой случай, был. Митя крутил-крутил приемник — все надо знать, да и заснул, а по избам колхозников и запричитала лондонская бабуся. Самому Мите, конечно, за возрастом ничего не было, а Василию Игнатьевичу всыпали.

— Да ведь это когда было-то? Что старое вспоминать? — сказала тетка.

— А можно и новенькое, — не унималась Маня. — Весной Лидка на сестрины похороны в район ездила — не вру? Два дня каких дома не была, а он ведь, Митя-то, ошалел. Бегом, прямо от коровника прилетел к почте да еще с топором. Всех людей перепугал. А Лидку-то встретил — не то, чтобы обнять да поцеловать, а за голову схватил да давай вертеть. Едва без головы девку не оставил...

Алька улыбнулась. Похоже, очень похоже все это на Митю! Но чего тут смешного? Чего глупого?

А Маня-большая, приняв ее улыбку за одобрение, разошлась еще пуще: Митю в грязь, матерь Митину в грязь (только не Василия Игнатьевича, того не посме-

ла), а потом и Лидку в ту же кучу: дескать, не бисер лопатой загребает — навоз.

Алька не перебивала старуху, не спешила накинуть на нее узду. Пущай! Пущай порезвится. Какую оплеуху закатил ей недавно Василий Игнатьевич, а Лидку — не тронь? Лидка принцесса?

Только уж потом, когда Маня добралась до Лидкиного брюха (кажется, все остальноеископытила), она сделала слабую попытку остановить старуху.

— Хватит, может. Ребенок-то еще не родился.

— И не родится! — запальчиво воскликнула Маня.

— Да не плети чего не надо-то! — Тетка тоже вспылила. — Понимаешь, чего мелешь?

— Огруха, — воззвала к свидетелям Маня, — при тебе Лидку в район отправляли? В больницу?

— Ну дак что?

— Как что? Кабы здорова была, не возили каждый месяц на ростяжку.

— Хватит! Хватит, говорю! — Алька сама почувствовала, как вся кровь отхлынула от ее лица — до того ей вдруг стало стыдно за себя. Потом она увидела растерянное, угодливое старушечье лицо («Чего ты, Алевтинка? Разве не для тебя старалась?»), и уже не стыд, а чувство гадливости и отвращения к себе потрясли все ее существо. И она исступленно, обеими руками заколотила по столу:

— Уходите! Уходите! Все уходите от меня...

17

Алька плакала, плакала навзрыд, во весь голос, но Анисья и не подумала утешать ее. Закаменело сердце. Не бывало еще такого, чтобы из ее дома выгоняли гостей! Только уж потом, когда Алька начала биться головой о стол, подала голос:

— Чего опять натворила? Я не знаю, ты со своими капризами когда и образумишься...

— Ох, тетка, тетка, — простонала Алька, — не спрашивай...

— Да пошто не спрашивай-то? Кто будет тебя спрашивать, ежели не тетка? Кто у тебя еще есть, кроме тетки-то?

В ответ на это Алька подняла от стола свое лицо, мокрое, распухшее, некрасивое (никогда в жизни Анисья не видала такого лица у племянницы) и опять уронила голову на стол. Со стуком, как мертвую.

И тогда разом пали все запоры в Анисьином сердце. Потому что кто корчится, терзается на ее глазах? Кого треплет, рвет в клочья буря? Разве не живую ветку с амосовского дерева?

Она подсела к Альке, крепко, всхлипывая сама, обняла племянницу.

— Ну, ну, не сходи с ума-то... Выскажись, облегчи душу...

— Тетка, тетка, — еще пуще прежнего зарыдала Алька, — пошто меня никто не любит?

— Тебя? Да господь с тобой, как и язык-то повернется. Тебя, кажись, когда еще в зыбке лежала, ребята караулили...

— Нет, нет, тетка, я не про то. Я про другое...

И Анисья вдруг замолкла, перестала возражать. И это ее молчание стопудовым камнем придавило Альку.

Всю жизнь она думала: раз за тобой ребята гоняются, глазами тебя едят, обнимают, тискают, — значит, это и есть любовь. А оказывается, нет. Оказывается, это еще не любовь. А любовь у Лидки и Мити, у этих двух дурачков блаженных...

И самое ужасное было то, что она, Алька, верила, завидовала этой любви. Да, да, да! Она даже знала теперь, какой запах у настоящей любви. Запах свежей сосновой щепы и стружки...

— Может, чаю попьешь — лучше будет? — спросила Анисья.

Алька махнула рукой: помолчи, коли нечего сказать. Потом встала, хотела было умыться и не дошла до рукомойника — пала на кровать.

Анисья быстрехонько разобрала постель, раздела ее, уложила в кровать, как ребенка, и, купаясь с нею в мокрой, зареванной подушке, стала утешать ее похвальным словом — Алька с малых лет была падка на лесть:

— Ты посмотри-ко на себя-то. Тебе ль реветь-печалиться с такой красой. Девок скольких бог обидел, чтобы тебя такую сделать...

Алька мотала раскосмаченной головой: нет, нет, нет! Так и она раньше думала — раз красивая, значит, и счастливая. А Лидку взять — какая красавица? Но, господи, чего бы она не дала сейчас, чтобы хоть один день у нее было то же самое, что она видела сегодня у Лидки.

Да, да, да! Лидка растрепа. Лидка дура, у Лидки с детства куриные мозги — все так.

И однако ж не от кого-нибудь, а от Лидки узнала она про другую жизнь. И не просто узнала, а еще и увидела, как эту другую жизнь оберегает Василий Игнатьевич. Стеной, как самый драгоценный клад. И от кого оберегает? А от нее, от Альки. И Алька билась, выворачивалась из рук тетки, грызла зубами подушку и, кажется, первый раз в своей жизни задавала себе вопрос: да кто же, кто же она такая? Она, Алька Амосова! И какой-такой свет излучает эта дурочка Лидка, что все ее в пример ставят?

18

— Алька, Алька, вставай...

Голос был не теткин, а какой-то тихий и невнятный, похожий на шелест березовой листвы на ветру, да тетка и не могла ее будить: она лежала на полу, на старом ватном одеяле, раскинутом возле кровати (чтобы в лю-

бую минуту наготове быть, ежели она, Алька, позовет), и тихо посапывала.

«Да ведь это мама, мама зовет! — вдруг озарило Альку. — Как же я сразу-то не догадалась?»

Она тихонько, чтобы не разбудить тетку, встала, накинула на себя платье-халат, по старой скрипучей лестнице спустилась на крыльцо.

Утро еще только-только начиналось. Их дом на задворках, с белой шиферной крышей, сиял как розовый шатер, и много-много юрких ласточек резвилось вокуг него.

Ласточки для нее были внове — раньше они держались только вокруг теткиной верхотуры. Да и вообще Алька недолюбливала свой дом на задворках: невесело, в стороне от дороги, и хотя они с теткой сразу же, в первый день ее приезда, содрали с окошек доски, но жить-то она стала у тетки.

По узенькой, затравеневшей тропинке — никто теперь не ходит по ней, кроме тетки, — Алька выбежала на задворье, уткнулась в ворота — большие, широкие, с железным певучим кольцом, которое как собака заливается, когда брякнешь.

Ворота эти были гордостью матери — ни у кого во всей округе таких ворот не было, а не только в ихней деревне. А поставила она их, по ее же собственным словам, в видах Алькиной свадьбы — чтобы к самому крыльцу могли подъехать на машинах гости.

Лужок перед домом на усадьбе, который так любила мать, тетка недавно выкосила (всегда по два укоса за лето снимали), но красные и белые головки клевера уже снова рассыпались по нему, и Алька едва сделала шаг от калитки, как жгучей росой опалило ее босые ноги.

К крыльцу она подошла на цыпочках, крадучись, точь-в-точь как бывало, когда о восходе возвращалась домой с гулянки. Постояла, прислушиваясь (ах, если бы и на самом деле сейчас загремела в сенях рассерженная

мать!), потом перевела дух и, взойдя на крыльцо, уперлась глазами в увесистый замок.

Без всякой надежды она сунула руку в выемку бревна за косяком и страшно обрадовалась: ключ был тут. В том самом месте, где хранили при матери и отце.

Полутемные сени она проскочила чуть ли не с закрытыми глазами: с детства боялась темноты. Зато уж, перешагнув за порог избы, она вздохнула свободно, всей грудью.

Все тут было как раньше, как год и два назад: крашеный пол намыт до блеска, окна наглухо завешены кружевным тюлем, к которому так неравнодушна была мать, в углу фикус-богатырь — его тетка перенесла от себя на другой же день ее приезда... Только пусто как-то, жилого духа нет. И еще, конечно, страшно было от вида голой железной кровати, на которой умерла мать.

— Мама, я пришла...

Алька подняла глаза к белому потолку, под которым жалобно плеснулся ее голос.

Нет, не так, дрожа от утрешнего озноба, не полураздетой и не в мертвый дом хотела она прийти. Она хотела нагрянуть к живой матери, нагрянуть внезапно, шумно, с гордо поднятой головой. Смотри, смотри, родимая! Вот твоя дочь. Приехала в чужой город одна, без паспорта, тот подлец самым распоследним негодяем оказался — ну-ко, кто бы на ее месте не согнулся? А она не согнулась. Она паспорт себе выхлопотала и на работу устроилась, да вдобавок еще того подлеца проучила — из армии выперла...

— Мама, чуешь ли, я пришла... — опять сказала Алька и обмерла: из сеней, за дверью, донеслось царапанье.

Она никогда особенно не верила в старушечьи россказни про нечистую силу, но все-таки самообладание вернулось к ней только тогда, когда за дверью мяукнуло.

— Бусик, Бусик!

Она распахнула дверь, и точно — он, Бусик, их пушистый кот-великан.

Занавески на окнах цвели алыми кустами иван-чая, уже на белой простыне, которой был укутан самовар на комоде, заиграли солнечные зайчики, а Алька все сидела с Бусиком на коленях у стола, гладила, прижимала его к себе и жадно вслушивалась в жалобное мурлыканье.

О чем он поет-плачет? На что жалуется? На одиночество? На тоску свою? А может, он пытается на своем кошачьем языке рассказать ей про то, как умирала мать, какие она наказы передавала дочери перед смертью?

Слезы текли по пылающим Алькиным щекам. Да как же это так? Кошка, зверь дикий, верен хозяйке, даже после смерти ее из дому не уходит, а она, дочь родная, бросила родительский дом, на город променяла...

— Мама, мама, я останусь. Слышишь? Никуда больше не поеду...

Утреннее солнце заливало комнату. Бусик распевал какую-то новую песню. И, странное дело, в ней самой начала расти и подниматься песенная радость.

Больше она не могла сидеть. Выбежала на улицу, широко раскинула навстречу солнцу свои руки и уже не по тропинке, не с покаянно опущенной головой, как входила еще недавно в свой дом, а напрямик по росистому лужку построчила к тетке.

— Тетка, тетка, я остаюсь!

Она налетела на сонную Анисью, как вихрь, как буря, и та сперва никак не могла взять в толк, о чем говорит племянница.

— Да где ты хочешь остаться-то? Где? Чего еще выдумала?

— Дома, дома, тетка! — твердила Алька и чуть ли не приплясывала от радости. — Я все, все, тетка, обдумала. Вдвоем жить будем. И мамина и папина могилы рядом — всегда можно сходить. Верно, тетка?

19

Решительности Альке было не занимать — у нее был материн характер, и она, конечно, в тот же день отправилась бы в город за расчетом и вещами, да ее удерживали деньги.

Деньги — пятьсот рублей — остатки от распроданного родительского добра — она в день своего отъезда отдала Томке, с тем, чтобы та послала их ей дней через пять в деревню: то-то у людей будет разговоров, когда она получит такие деньжищи!

И вот из-за этой-то своей затеи она и должна была сидеть на якоре.

Впрочем, времени зря Алька не теряла.

Первым делом она перебралась в свой родной дом на задворках. И, боже, сколько радости она испытала, когда по утрам сама топила печь, сама мыла пол, сама грела самовар. А какое это было наслаждение ходить босиком по чистому, намытому дому!

Дом был просторный, светлый, и она сама удивлялась своей глупости, своей слепоте. В городе они с Томкой снимали какую-то темную конуру, на окраине, а тут в это время пустовал целый дворец.

Да и вообще, все чаще и чаще задавалась вопросом Алька, что она нашла в городе? Ради чего бросила отца с матерью, дом родной? Ради того, чтобы пьяных мужиков ублажать в ресторане, пятаки из них выколачивать? Или, может, ради Аркадия Семеновича?

Да, да, говорила себе Алька, буду жить в деревне, у себя дома. По-новому. Совсем, совсем иначе, чем раньше. И она уже по существу жила этой новой жизнью: днем вместе с колхозниками работала на лугу, а по вечерам, как и положено хорошей, самостоятельной девушке, сидела дома за шитьем (в жизни никогда не шила!) или что-нибудь делала по хозяйству на улице.

Мане-большой эти Алькины выкрутасы (иначе она их

не называла) были нож по сердцу — не выпьешь, да, пожалуй, и Анисья не очень-то радовалась. Во всяком случае, она с тревогой и даже с каким-то страхом присматривалась к столь круто переменившейся племяннице.

Альку это забавляло, трогало до слез, и у нее еще пуще разжигались честолюбивые помыслы.

Работать только в колхозе — это она решила твердо. И обязательно дояркой. Как Лидка! Да, да! Только дояркой. Про официанток кто когда в газетах писал? А про доярок пишут постоянно, с портретами. Доярка по нынешним временам первый человек в деревне. И неужели же она кому-нибудь уступит? Неужели ей не обставить хоть ту же Лидку-растяпу или Верку Девятую? Врете! Заранее заказывайте орденок, а то и звездочку золотую. Ее мать — Пелагею Амосову — все железной называли, а разве она не дочь своей матери?

В буйно разыгравшемся воображении сама собой сложилась и будущая семейная жизнь. И опять же как у Лидки. С таким же любящим свекром и с таким же преданным и покорным мужем. Правда, второго Мити Ермолина на свете не было — тут хоть лопни, ничего не поделаешь, да Алька недолго из-за этого горевала.

Ей вдруг пришла на ум сногсшибательная идея — сделать человека из Сережи. А что? Разве не из-за нее, не из-за Альки пропадает Сережа? Разве не писала ей еще мать, что Сережа готов в любое время ее, Альку, за себя взять? Да в этом она и сама на днях убедилась, когда нос к носу столкнулась с ним у магазина за рекой. Ну-ко, стал бы парень смываться с ее глаз, уводить своих дружков-приятелей, ежели бы не любил?

Дни шли за днями. Алька упивалась своей новой ролью — ролью благообразной и непорочной невесты. И она даже взгрустнула малость, когда от Томки пришел перевод.

20

Жуть все-таки, что это такое город! Народу на одной пристани раз в сто больше, чем во всей ихней деревне. И, помнится, когда два года назад, в это же самое время, она впервые с парохода увидела это пестрое, гудящее многолюдье, у нее ноги к палубе приросли — до того ей вдруг стало страшно затеряться в этом муравейнике.

Зато сегодня — фигушки!

Первой сбежала по сходням, первой, как ящерица, заныряла в расщелинах толпы. «Извиняюсь», «Не нарочно», «Спешу» — и всем улыбка. А кое-где и локотком подсобляла.

На белых мачтах по случаю какого-то праздника полоскались яркие, разноцветные флаги, подвыпившие мужики и волосатые мальчики откровенно пялили на нее глаза и, вообще, город был прекрасен. И — чего крутить — вздохнула Алька. Жалковато ей стало всего этого великолепия, с которым не сегодня-завтра надо расстаться.

На веселом, гремучем трамвайчике, разукрашенном красными и синими флажками, она быстро добралась до своей Зеленой улицы, а там пять-семь минут скачек по деревянным разбитым мосткам возле старых, давно уже приговоренных к сносу развалюх, и ихняя с Томкой дыра. Комнатенка в одно окно, да и то в сарай с дровами упирается, зимой холод собачий, и весь год крысы. Иной раз ночью такой стукоток в коридоре поднимут — не то что выйти, в кровати пошевелиться страшно. Аркадий Семенович самое расчестное слово дал им с Томкой — этой осенью обязательно переселить в новый дом, а теперь, когда его сняли, на что рассчитывать?

Ох, да чего о жилье беспокоиться, усмехнулась про себя Алька, открывая калитку. На все теперь ей плевать с высокой колокольни — и на новую квартиру, и на

самого Аркадия Семеновича. Со всем развязалась. Напрочь!

Томка была дома — окошко настежь и проигрыватель на всю катушку. Неужели с хахалем? (Томка любила крутить любовь под музыку.)

Но раздумывать было некогда. Во-первых, она, Алька, страсть как соскучилась по Томке, а во-вторых, велика важность, ежели и хахаль. Слава богу, за два года они повидали кавалеров — и она у Томки, и Томка у нее.

С бьющимся, прямо-таки скачущим сердцем Алька взлетела на шатучее деревянное крылечко рядом с уборной, вихрем пронеслась по темному коридорчику, с силой дернула на себя дверь — иначе не откроешь, и вот Томка, ее золотая Томка. Сидит на диванчике, нога на ногу (это уж завсегда — длинные ноги напоказ) и в руке сигаретка.

— Я, между прочим, так и знала, что ты не выдержишь больше двух недель в своей распрекрасной деревне.

В общем, заговорила, как всегда, с подковыром, свысока: на пять лет старше. А потом, стюардесса международных линий, по-английски лопочет — как же перед официанткой нос не задрать? Но в душе-то Томка была добрющая, как тетка: последнюю рубашку отдаст, если попросить. А потому Алька, не обращая внимания на воркотню, с пылом, с жаром начала обнимать ее.

— Ну, ну, не люблю телячьих нежностей. Давай лучше про подъем сельского хозяйства... Как там двинула свой колхоз?..

Алька села рядом на диванчике.

— Не смейся, Томка... Я все... Я в деревню решила...

— Вот как! Какой-нибудь механизатор-передовик предложил тебе свое сердце и буренку в придачу? Так?

— Да нет, Томка, я всерьез. Я насовсем...

— А позволь тебя спросить, если не секрет, что ты там собираешься делать? В этом самом сельском раю?

— Работы в колхозе найдется... — Алька почему-то постеснялась сказать, что она хочет идти в доярки.

— Ну, ладно, — Томка встала, — о твоих сельскохозяйственных планах мы еще поговорим, а сейчас поедем на вечеринку. Я уж и так опаздываю.

— На какую вечеринку?

— Во вечеринка! — Томка от восторга щелкнула пальцами. — У Гошки день рождения сегодня — представляешь, какой сабантуйчик будет? Достали катер, так что на ночь вниз по матушке по Волге, куда-то на луг сено нюхать... Представляешь?

Алька представила. Бывала она в компании Томкиных дружков-летчиков. Весельчаки! Анекдоты начнут рассказывать — обхохочешься. А танцевать какие мастера! Особенно этот Гошка-цыган... Но нет, покончено со всем этим. Завязано!

— Не дури, Алевтина! — повысила голос Томка. — Между прочим, я говорила с начальством насчет твоей работы. Примут. Ну, а если ты еще сегодня кое-кому там задом крутанешь — железно выйдет.

— Нет, Томка, — вздохнула Алька, — чего ерунду говорить. Какая из меня стюардесса — языка не знаю...

— Балда! Она языка не знает... Мужики, если хочешь знать, во всем мире только один язык и понимают — тот, на котором глазом работают да задом вертят. Да, да, да! А ты этим международным языком владеешь — будь спок! И потом, на самолете не одна стюардесса. Моя напарница, например, Ларка, как тебе известно, ни в зуб ногой по-английски, на русском-то языке не всегда поймешь, что говорит, а тарелки этим мистерам и сэрам куда как ловко подает...

Тут Томка, словно для того, чтобы еще больше растравить Альку, которая еще недавно взасос мечтала о работе в аэропорту, начала надевать на себя новенькую летную форму: синюю мини-юбочку, синий кителек с зо-

лотыми крылышками на рукаве и синюю пилотку. Летная форма очень шла Томке. Она как-то смягчала ее сухую, долговязую фигуру, делала женственней.

— Ну так как? — сказала Томка, подрисовывая красным карандашом губы перед зеркалом. — Поехали? Имей в виду, что жрать у меня нечего, так что тебе все равно придется в магазин топать...

— Ладно, Томка, иди...

— Чего ладно? На вечер нельзя? Да ты, может, там в своей деревне в секту какую записалась? Нет? Понятно, понятно. У тебя сегодня вечером свидание со своим кучерявым папочкой... — Томка так называла Аркадия Семеновича. — Ну что ж, желаю!

Она дошла до дверей, обернулась:

— Если надумаешь все же приехать, адрес — Лесная, тридцать два. Помнишь, в прошлом году май встречали? У Васильченки, Гошкиного друга? В общем, координаты известны.

Сердито процокали каблуки в коридорчике, брякнуло железное кольцо в воротах (совсем как в деревне), потом два-три приглушенных тычка на деревянных мостках, и Томка вылетела в сияющий, праздничный мир.

Алька встала. Она хотела завести проигрыватель и вдруг со стоном, с ревом бросилась на кровать. Ну что же это такое? Куда девалась ее решительность? Разве она не дочь Пелагеи Амосовой? Она плакала, ругательски ругала себя, а сама неудержимо тянулась к Томкиным друзьям, к ихнему бездумному веселью...

21

Два года цветным дождем сыпались на Анисью открытки — голубые, красные, желтые, зеленые, с диковинными, нездешними картинками, с короткими Алькиными приписками: «Ау, тетка!», «Привет, тетка!», «Хорошо на свете жить, тетка! ..»

— Да чего ей на одном-то месте не сидится? — сокрушалась Анисья. — В кого она только и уродилась?

— Пущай! — говорила Маня-большая. — Мать нигде дальше района не бывала, бабка всю жизнь у печи высидела, ты весь век на привязи... Да она, может, за всех вас, за весь род свой отлетать да отъездить хочет...

— А жить-то она думает, нет? Когда и вить свое гнездо, как не в ее годы? Але ждет, когда дом совсем развалится?

Дом на задворках ветшал и дряхлел на глазах. Он вдруг как-то весь скособочился, осел, а в непогодь, сырость просто сил не было смотреть на его заплаканные окна: так и кажется, что он рыдает.

И однако все эти Анисьины тревоги и переживания были сущими пустяками по сравнению с той грозой, которая разразилась над ней однажды осенью.

От Альки пришло письмо. Короткое, без объяснений. Как приказ: дом на задворках продать и деньги немедля выслать ей. За всю жизнь Анисья ни разу не перечила ни Алькиной матери, ни ей самой. Все делала по их первому слову, сама угадывала их желания. А тут уперлась, встала на дыбы: покуда жива, не бывать дому в чужих руках. Не для того отец твой да матерь жизнь свою положили, муки приняли...

В общем — не дрогнула. Высказала все, что думала. А слегла уже потом, когда отнесла письмо на почту.

Осенний дождик тихо, как мышь, скребся в окошко за кроватью, железное кольцо чуть слышно позвякивало на крыльце...

Знала, понимала — не Алька там, ветер. А вот поди ты, в каждый шорох со страхом вслушивалась, ждала: вот-вот откроется дверь и на пороге появится беззаботная, улыбающаяся Алька.

— Тетка, а я ведь нашла покупателя. Ну-ко, собирай скорее на стол, обмоем это дело...

1971

МАМОНИХА

1

Приезд гостей застал тетку Груню явно врасплох — она выбежала на крыльцо босиком, без платка, в старом-престаром сарафанишке аглицкого ситца, какой, бывало, надевала по великим праздникам.

— О, о, кто приехал-то! — запричитала она по-родному, окая, врастяг. — А я ведь думала, уж и ты передумал.

Мокрый от старушечьих поцелуев и слез, Клавдий Иванович шагнул в желанную прохладу нетопленой избы (тридцать градусов в одиннадцать утра было!), и тут все разом разъяснилось: брат и сестра не приедут — тетка две телеграммы подала ему. На Никодима, как было сказано в телеграмме, неожиданно свалилась важная командировка, а у Татьяны — тоже неожиданно — заболел сын.

Клавдию Ивановичу обидно было до слез. Ведь договаривались же, списывались: нынешним летом собраться под родной отцовской крышей — больше десяти лет не виделись друг с другом. А потом, надо было что-то решать и с самим домом — тетка Груня в каждом письме плакалась: разорили охотники да пастухи ваше строенье, одни стены остались, да и тех скоро не будет.

У Клавдия Ивановича было отходчивое сердце, и сам он быстро справился с собой. Ну не приедут и не приедут — что поделаешь? Чего не бывает в жизни? Но жена... Как все это объяснить, втолковать жене?

Полина последние три месяца, можно сказать, толь-

ко тем и занималась, что шила платья да всякие там женские штуковины — не хотелось ударить лицом в грязь перед столичными. И сколько она денег на это добро извела, так это страшно и выговорить. И вот на́ тебе — все зря.

Первые минуты за столом сидели, как на похоронах. Всех — и тетку, и грузную соседку Федотовну, которая приплелась посмотреть на дальних гостей, и, конечно, самого Клавдия Ивановича — всех замораживал мрачный вид Полины.

Оттаяла она немного лишь после того, как пропустили по второму колокольчику.

Тут сразу с облегчением вздохнувший Клавдий Иванович скинул теснившие ногу туфли, снял запотелые носки и начал босиком расхаживать по некрашеному льняному полу — сколько уж лет не чувствовал под ногой певучей деревянной половицы!

— Походи, походи, Клавдий Иванович, — одобрительно закивала тетка. — Вишь вот, ты в отца ногой-то. У того, бывало, нога не терпела неволи. В чей дом ни зайдет — в свой, в чужой, а первым делом долой сапог да валенок, иначе ему и жизнь не в жизнь...

— Дак ведь не зря босым и звали, — подковырнула Федотовна.

Тетка стеной встала за покойного брата. Дескать, верно, босым звали — у кого раньше прозвища не было, да не босым жил. Ну-ко, кто такое житье имел? Кто в колхоз столько добра сдал? Корову, быка-двухлетка, да кобылу в самой поре, да жеребца выездного, да трои сани, да две телеги...

— Нет, нет, — отрезала тетка, — не по прозвищу величали Ивана Артемьевича, а по фамилии. А фамилья у нас, Устинья Федотовна, сама за себя говорит: Сытины. — И вдруг горько расплакалась. — Все, боле, Клавдя, нету нашей Мамонихи. Одни медведи теперека живут да еще Соха-горбунья мается.

— Соха-горбунья? Она жива?

— Жива, жива. Всю зиму, бедная, из халупы не вылазит, как в берлоге сидит.

— Давай дак не рыдай, — строго заметила Федотовна. — Нашла о ком плакать. Мало у ей помощников-то...

— Это у Сохи-то помощники?

— А чё? Всю жизнь лешаки да бесы служат, вся погань, вся нечисть у ей на побегушках.

— Не говори чего не надо-то. Всего можно на человека наговорить.

— Да ты где, в каких краях-то выросла?

Разговор становился шумным, крикливым: обе старухи — и тетка, и Федотовна — всю жизнь вот так, ни за что не уступят друг дружке, и Клавдий Иванович с тревогой начал поглядывать на неплотно прикрытую дверь на другую половину, куда незадолго до этого ушла передохнуть Полина с сыном.

Тетка на это чуть заметно покачала головой: не нравилось ей, что племянник под пятой у жены, да, похоже, и Федотовна кое-какую зарубку в своей большой мужикоподобной голове сделала — больно уж сочувственно поглядела на него. Но Клавдий Иванович и ухом не повел. Пускай себе думают, что хотят. Разве они знают, сколько мук приняли Полина и Виктор за дорогу! Целые сутки парились-душились в поезде, да сутки без мала сидели на областном аэродроме, да этот районный автобус, будь он неладен: жара, духота, давка, пылища — рот затыкает...

Спасение пришло от какой-то сопленосой девчушки. Девчушка вдруг закричала под раскрытым окошком:

— Федотовна, чего расселася, как баржа! Коза у тебя в огороде благим матом орет, вокруг кола запуталась.

— Манька? — Старуха живо вскочила на ноги. — Да пошто запуталась-то? Я токо-токо была у ей. — И вскоре уже, шумно дыша, затопала под окошками.

Когда она наконец выгреблась из заулка, тетка со вздохом сказала:

— Тепере по всему Резанову расславит. Наплетет с три короба.

— А чего ей плести-то?

Тетка обиженно поджала губы: мол, чего в прятки-то играть. Не знаешь разве Федотовну? И разговор перевела на дом:

— Продавать вам надо свою вотчину, покудова пастухи да охотники не спалили. Я весной была — огневище в передней-то избе. Сколько-то камешков, кирпичиков на пол брошено, а на них уголье.

— Да разве печи в избе нету? — вознегодовал Клавдий Иванович.

— А в печи-то неинтересно. А тут бутылка в хайло и огоничком припекает. Как на курорте. Злыдень, злыдень пошел народ. Совсем образ потерял. — И тетка опять принялась толковать про продажу дома.

— А покупатели-то найдутся? — спросил Клавдий Иванович. — Я от райцентра сюда ехал — этого добра, домов нежилых-то, в каждой деревне навалом.

— То старье, дрова. А которые получше да покрепче, те подбирают. У нас Геннадий Матвеевич большие деньги загребает. Сколько уж домов на станцию да в район свез. Был тут как-то. Напиши, говорит, своим умникам, это вам-то: сколько, говорит, еще дом будут мурыжить? Але ждут, когда по ветру пустят? Да он сам и пустит — рука не дрогнет. Знаешь ведь, какого роду-племени.

— Чего-то я, тета, не пойму, о ком ты... — пожал плечами Клавдий Иванович.

— Давай дак чего понимать-то! — загорячилась старуха. — Геха-маз. Матюги-быка сын.

— Да ну! Геха-бык здесь? — Клавдия Ивановича прошибло слезой, и он не стыдился ее: вместе на одной улице росли, вместе в одну школу бегали, вместе в ар-

мию в один день призывались... Да разве все перечислишь?

— Здесь, здесь, — сказала тетка. — Только быком-то ноне не зовут — сам прозвище себе заробил. На грузовике ездит, «маз» называется — страсть какой зверь. Мимо-то идет-едет — у меня дом дрожмя дрожит от страху. Вот «маз»-от этот и переборол отцовскую кличку. Нынче про «быка»-то никто и не вспомнит.

Тетка, слегка прищурив глаза, вытянула старую белую шею в сторону раскрытого окна.

— В деревню-то въезжали — видел дворец-то каменный, там, где ране дом лесничего был? Ну дак то Геннадия Матвеевича владенья. Да, ни у кого отродясь в Резанове каменных хором не бывало, да и в других деревнях не помню, а он вот, на-ко, построил. Самого лесничего, барина, переплюнул, а про кулаченых, я про тех уж и не говорю — голяки против его. Всех, всех под себя подмял. И людей, и леса. Машинный человек, вся жизнь у его в руках.

— Надо будет как-нибудь заглянуть, — сказал Клавдий Иванович.

— Да не как-нибудь, — возразила тетка, — а сегодня же, сию минуту, ежели хочешь поскорей домой попасть. А то уедет на сенокос але еще куда — ищи его тогда.

2

Резаново для Клавдия Ивановича было второй родиной. К тетке Груне его начали возить чуть ли не с пеленок, и мог ли он сейчас, выйдя на улицу, удержаться от того, чтобы не обежать деревню, хотя бы ее верхний конец?

Не далеко, не далеко ушагало Резаново от тех деревень, которыми они сегодня проезжали. Нового дома — ни одного на весь конец, а старые разваливались на глазах. Один клюнул на перед, другой скосило набок, у третьего крыша провалилась — верблюд да и только, а четвертый без окон, без дверей — как сарай... И где быва-

лошные огороды при домах? Где овцы, которые всегда в жару серыми да черными валунами лежали под окошками, в тени у старых бань, пропахших дымом да банным листом?

Но особенно не по себе стало Клавдию Ивановичу, когда он свернул на задворки да увидел развороченные, распиленные на дрова дворы, в которых раньше держали скот... В сорок седьмом он пастушил в Резанове — сорок три коровы было в верхнем конце у колхозников, а теперь сколько? Неужели ни одной?

Тучи, собравшиеся на сердце, немного разогнала тетка Груня. Старинной выделки человек! Долго ли он огибал верхний конец деревни? Минут десять — пятнадцать, ну от силы двадцать, а старуха уж тюкала косой в своем огродишке на задах.

— Коса-то налажена? — весело окликнул ее Клавдий Иванович.

Аграфена Артемьевна не отозвалась. Она вся была в работе. И как для истинно набожного человека во время молитвы ничего не существует вокруг, так не существовало сейчас ничего и для нее.

Знакомой-презнакомой тропинкой Клавдий Иванович обогнул остатки старой конюшни, прорысил мимо зернотока, и вот он, белокаменный домина на отшибе, который давеча из автобуса он принял было за новую больницу.

Место Клавдию Ивановичу было хорошо знакомо. Тут раньше был баринов сад, дремучие заросли черемухи и рябины, и осенью они, школьники, бегали сюда каждую перемену — невпроворот было сладкой да кислой ягоды.

Сейчас от старого сада остались разве старые развесистые березы, да и те были на задах, а спереди дома ни единого деревца, и голые окна ярко, как прожектора, полыхали на солнце.

Клавдий Иванович прикрыл ладонью глаза, бегло

скользнул взглядом по машинам (на виду, под самыми окошками, и трактор, и грузовик) и просто ахнул, когда увидел въездные ворота слева — высокие, окованные, выкрашенные зеленой краской, с козырьком.

Да неужели это он все сам сделал? Когда же у него прорезались такие таланты?

Отец Гехи, Матюга-бык, был лодырь, каких свет не видал. Слыхано ли, к примеру, чтобы в деревне, где лес тебе на каждом шагу на пятки наступает, без дров жить? А Быки жили. И Клавдий Иванович, хоть и совсем сопленосым ребятенком до войны был, а запомнил, как Маша-ягодка, мать Гехи, однажды утром приперлась к ним со слезной мольбой: дайте охапку дров — печь затопить нечем, ребята замерзают.

Геха по части лени, может, и уступал сколько-то отцу, но по части упрямства наверняка обскакал родителя. После войны, бывало, бригадир чем-либо не угодит — и день, и два, и три дома лежит. Ничем не своротишь. Ни уговорами, ни силой. Да по силе ему из молодняка и равных в Мамонихе не было. Как только встал на ноги, так и начал гвоздить сверстников направо и налево: неси пирога, неси яиц, ежели жить хочешь. А с годами он и вовсе обнаглел — даже со старух подать взыскивал. Закатится это середь бела дня в избу, сядет к столу: «Екимовна, у тебя морковка ничего растет?» — «Ничего, чур быть». — «Ну дак нынешней ночью ребята вытопчут». — «Да пошто вытопчут-то? Што я им худого иседелала?» — «А уж не знаю чего. Только разговор такой был. А ежели не хочешь, чтобы вытоптали, неси крынку молока. Я покараулю». И Екимовна — что делать — несла.

Хозяин выскочил из дома, когда Клавдий Иванович еще и близко к дому не подошел: пес залаял. Выскочил, крикнул черно-белому, чуть ли не с теленка кобелю: брысь, сатана! — и пошел навстречу, широко, на целую сажень раскинув руки.

— Клавдюха, да неужто ты? А я гляжу из своего овина, — вялый, с напускной пренебрежительностью кивок на дом, — кто бы это, думаю? Идет и во все глаза глядит на мой сарай. А потом: да ведь это же из Мамонихи, нашенский — вишь, ухи красные и оба с дыркой.

Тут Геха хохотнул — целая пасть желтых, прокуренных зубов, один крепче другого, взыграла на солнце:

— Ну, ну, здорово! Поминала тут как-то Грунька: гостей жду...

На мгновение у Клавдия Ивановича перехватило дух — по-медвежьи, обеими руками, облапил, приподнял над землей.

— Так, так, приехал, значит? Это ж сколько же лет ты не заглядывал в родные края? Ну и сердце у тебя... А я слабак, слабак! Я три года отмолотил в Германии и шабаш. Никакие города-разгорода не надо. Домой! Ко своим куликам на болото. А ты поди там, в южных краях, как на курорте живешь? Груши, виноград, всякая разлюли-малина... Так? Самим немцам перо в мягкое место вставил? А?

— Виноград у нас не растет. Да и вообще... — Клавдий Иванович махнул рукой. — Какой там курорт, когда цементный завод под боком! Огородишко и тот еле-еле дышит...

— Да ну! — страшно удивился Геха и тотчас же самодовольно заулыбался. — Тады, — он явно косноязычил, — пойдем, ежели не возражаешь, на мою бедность глянем.

Взбрякала железная щеколда — Геха пропустил вперед гостя. И тут новая собака, точно такой же масти, как первая, гремя цепью, кинулась на Клавдия Ивановича.

Геха пинком отбросил ее в сторону.

— Сволочь! Нашла время усердие показывать! Не видишь — с хозяином?

— Сколько же их у тебя? — спросил Клавдий Иванович, когда немного пришел в себя.

— Собак-то? Три. Есть еще одна, для охоты. Балуюсь иной раз. А это так, для бреха.

Клавдий Иванович кивнул на дырявую алюминиевую миску, в которой валялись остатки собачьей еды, — две старых картофелины, нечищенных, без всякой приправы.

— Она от голоду у тебя на людей кидается. Неужели ты ее одной картошкой старой кормишь?

— Голова! Накорми ее не старой-то, она лежать будет. А мне надо, чтобы она волком голодным рыскала. Чтобы ни один ворюга сюда не сунулся. Усек? — И тут Геха горделивым, хозяйским движением руки описал перед собой широкое полукружье.

Клавдий Иванович ахнул. Сад! Да еще и сад-то какой! Яблони, груши, сливы, кустарники со всякой ягодой...

— Тянемся помаленьку! — сказал Геха. — Так сказать, наглядный пример по сравнению с довоенным. У барина тут что было? Одна ерундистика. Так? А климат, между прочим, позволяет. Я в Прибалтике и Германии служил — не так, чтобы сто очков нам. Может, зима только помягче. Хорошо. Мы зимой шубы носим, а почему для яблони нельзя какую-нибудь лопотину обмозговать? Мало соломы да тряпья всякого?

Геха не спеша водил его от одного плодового дерева к другому, показывал кусты крыжовника, черноплодки, малины, смородины, таскал по грядкам с клубникой, огурцами и помидорами, и Клавдий Иванович не мог скрыть своего восхищения. Везде, во всем образцовый порядок! Ни единого сорняка, ни одного клочка пустующей земли. Все разделано, разрисовано — руками, граблями, солнцем, известью, — не сад, а картина.

Но самой большой гордостью хозяина была пасека — штук пятнадцать ульев в виде крохотных разноцветных домиков, расставленных на задах сада вдоль высокого забора.

С довольной ухмылкой вслушиваясь в пчелиный гул, Геха заметил:

— Ничего поют, а? Ну, возни много. Особенно зимой. Но оправдывает. В цене у нас медок.

Клавдия Ивановича — он, задрав голову, вглядывался в буйно цветущие липы вдоль забора — вдруг озарила догадка.

— Так это ты специально и липы для пчел посадил?

— А то! Барин тут, бывало, натыкал черемух да рябин, а какой в них толк? Ну, пахнут, ну, мусорят. А мне надо, раз я скотинку с крылышками задумал, чтобы корм под рукой был. Но корм кормом, — сказал Геха и подмигнул, — а я еще одну нагрузку для липы дал. В общем, как говорится, сразу два хомута надел.

— Два хомута? — переспросил Клавдий Иванович.

— А как же! В этом-то вся и штука. Так сказать, рационализация по первому классу. — Геха подвел его к ближайшей липе. — Пчелок она кормит, это ты усек — так? А кто же забор держит?

Да, да, да! Высоченный забор из островерхих досок, обвитых колючей проволокой, держался на стволах лип и тополей. В общем, такого живого забора Клавдий Иванович еще в жизни своей не видал, и от удивления он только головой покачивал.

Геха торжествовал:

— Одобряешь, значит, мое рацпредложение? Подходяще? Ха-ха! Помнишь, у нас, бывало, Оська-копыто все хотел медведя с коровой случить. Чтобы зимой, значит, без корма скотина жила. Ну дак я по его стопам пошел.

Хорошо было в саду! Пятнистая тень, солнце и воздух — не надышишься. Но пора было подумать и о деле. Куда там! Геха и слышать не хотел ни о каких делах. Столько-то лет не виделись, да что он, турок какой, чтобы своего земляка да еще кореша так отпустить из дома!

Одним словом, пошли в дом. И тут новый начался смотр. Просторная веранда с крашеным полом, вмести-

тельные сени с кладовкой, прихожая, кухня, передние комнаты...

Хоромы барина, стоявшие на этом месте, сожгли местные сопливые революционеры еще в гражданскую войну, задолго до появления на свет Клавдия Ивановича, но были ли они лучше и богаче Гехиного дома — это еще вопрос. По крайней мере, Клавдий Иванович в этом не был уверен.

— Я, — высказался сам Геха по этому поводу, — решил крест на дереве поставить. А что? У немцев вон все дома каменные, а мы, победители, в каких-то деревянных хлевушках живем. Нет, пора кончать с деревянной Русью — правильно я говорю?

— Правильно-то правильно, — сказал Клавдий Иванович, — да ведь кирпич-то каких денег стоит. Да и где он у нас?

— А это уж поворачиваться надо. Будешь поворачиваться, и кирпич будет. И копейка не из кармана, а в карман покатится.

Хозяйка, не в пример мужу худющая, неразговорчивая, с каким-то постным лицом, тем временем схлопотала закусить, и Клавдий Иванович, как только пропустили по стопке, опять заговорил о своем деле, то есть о машине. На этот раз Геха выслушал его до конца.

— Нет, — коротко качнул головой, — сегодня не могу. Сегодня ко мне из района начальство обещалось приехать, а может, еще и из области кое-кто будет. На рыбалку везти надо. А вот завтра-послезавтра в любое время. Да чего ты в эту дыру рвешься? Погости у нас. Ежели у тетки не нравится, давай ко мне. По-моему, у меня жилплощадь позволяет, а?

— Первую ночь хочу в отцовском доме ночевать.

Геха снисходительно улыбнулся.

— Эх ты, голова два уха! Ничему, вижу, жизнь не научила. Ну, ну, валяй! Комары там давно скучают по тебе.

3

Клавдий Иванович надумал добираться своим ходом. Для вещишек у тетки в сарае нашлась старая двухколесная тележка, на каких еще в его времена колхозники возили для себя дрова, сено и всякую всячину. А сами они разве без ног? Да это же одно удовольствие пробежаться по лесу в такую сушь, как нынешняя!

Правда, Полина, когда он заговорил об этом, взвилась было на дыбы. Как! Мало они натерпелись за эти дни, так еще по лесам, по болотам пробежки делать! Да пропади пропадом и вся ваша Мамониха, коли на то пошло!

Но тетка быстро вразумила ее.

— Я не знаю, Полина Фоминишна, — сказала строго и чинно тетка, — может, в ваших местах и принято на мужиках ездить, а у нас уж ты, матушка, потерпи. У нас, у Сытиных, мужик всему голова. И ты ежели не ради самого мужа, дак ради людей не срами его. Приехал из-за тридевяти земель и на-ко — семь верст до родительского дому не дошел. Да что люди-то скажут?

И вот выступили в поход. Полина и Виктор, понятно, налегке, а он с тележкой. Легко впрягся, даже с каким-то интересом. Ну-ко вспомним старые времена. Бывало, лошади в колхозе не допросишься, по месяцам ходишь в оглоблях.

Но Полину именно тележка-то пуще всего и выводила из себя. Потому что какой же порядочный человек впряжется сегодня в колымагу! Да будь с ними Никодим, они бы не просто на машине ехали, а еще бы и с почетом — в сопровождении самого директора совхоза, а то и покрупнее шишки.

Клавдий Иванович из кожи лез, чтобы хоть немного развеселить жену. Он то и дело кивал на залитый солнцем сосняк, которым шла дорога («Смотрите, смотрите! Как в кино красота!»), рассказывал о том, как бегал по

этой дороге, когда учился в резановской семилетке, соблазнял жену и сына земляникой («Ну-ко, подайтесь немножко в сторону! Разве не чуете, как пахнет?») — все бесполезно. Полина шагала впереди, ни разу не обернувшись к нему, — красивая, полнотелая, рыжие волосы вразброс по широкой, с желобом спине, а Виктор, тот, похоже, совсем раскис. Десять лет парню, собачонкой бы надо бегать да виться вокруг, а он — пых-пых. Употел, ужарел — хуже старика. А все мамочкины пончики. Сколько раз он говорил: нельзя закармливать ребенка. В школе ест, дома ест, к матери в садик придет — ест, вот его и развезло...

По сторонам стали попадаться первые ели и березы, первые комарики заныли над головой — приближались сырые места.

— Тут маленько дорога помягче будет, — предупредил Клавдий Иванович, — но это ничего, сухо сейгод.

Молча, как неживые, перевалили за Тошкин холм, где когда-то зимой, по рассказам, замерз пьяный мужик из Мамонихи, и уперлись в густой темный ельник.

Полина и Виктор остановились как вкопанные.

— Ну чего там еще? — бодрым голосом крикнул шагавший сзади Клавдий Иванович. — Медведя увидели?

Он с удовольствием выпустил из горевших ладоней рукоятки тележки и, на ходу заправляя рукой потные, растрепавшиеся волосы, подошел к жене и сыну.

Грязь. Черная, крутая, как вар, — во всю дорогу.

— Теперь ты понял, почему у твоей сестрицы срочно заболел ребенок, а брата твоего в срочную командировку угнали?

Клавдий Иванович, избегая сердитого взгляда жены, виновато сказал:

— Раньше тут в это время никакой грязи не было. Это, вишь, трактор дорогу размял.

— Спасибо, утешил! — фыркнула Полина и начала снимать туфли.

Виктор захныкал:

— Мам, неужели туда пойдем?

— Эх ты, герой! Да тут и грязи-то с гулькин нос, а ежели обочиной, то как по асфальту. Смотри ведь, какая сушина.

Все это, понятно, Клавдий Иванович говорил не столько для сына, сколько для жены, но разве Полина когда слушала его?

Туфли в руку и прямо в грязь.

— Ма-ма-а! — заорал на весь лес Виктор.

А мама — знать никого не хочу! — хлоп-хлоп по середке дороги. Как перегруженная лошадь. В теле баба.

И в конце концов Клавдий Иванович подхватил на руки орущего, насмерть перепуганного сына, перенес его по боковой тропке за грязь (сухо было, как он и думал, даже туфель не замочил), а потом перетащил вещишки, переволок тележку.

Дорога, слава богу, опять мало-помалу наладилась, начались пахучие воронихинские папоротники, а затем и сам Воронихин ручей голос подал. Как журавлик весенний прокурлыкал — радостно, взахлеб: узнал, наверно.

На зеленом, ласковом бережку они сели передохнуть — тут исстари все, кто идет из Резанова, отдыхают. Напились, умылись, обмыли ноги. Полина и Виктор даже с едой разобрались. А ему не шла на ум никакая еда. Он как услыхал этот с детства знакомый говор ручья, так больше и думать ни о чем не мог.

«Домой, домой!» — выговаривал ручей, и в конце концов Клавдий Иванович не выдержал, вскочил на ноги.

— Вы не торопитесь. Идите потихоньку — тут рядом Мамониха, а я покамест разведку боем сделаю.

И вот — неслыханное дело — бросил посреди незнакомого леса жену с сыном, а сам вперед, вперед. Как мальчишка, как самый распоследний дурак.

Опомнился, когда вкатился в первые поля Мамонихи, а вернее, в осинник.

Да, лежат на земле остатки въездных ворот, ходят, как прежде, высоко в небе во все крыло распластанные ястребы, а где поля, где пашни, которые он когда-то пахал и боронил?

Полей нет. На полях шумит и лопочет густо разросшийся осинник.

4

У Сытиных был заведен обычай: родился в семье ребенок — сажай дерево под окошками.

Так в разное время были посажены кедр Никодим, березка Татьяна, рябина Марья, черемуха Анна (последние обе умерли в детстве) и только оскребышок, то есть Клавдий Иванович, остался без зеленой отметины на земле. Потому что он появился на свет в тридцать третьем году, когда люди умирали с голоду, и до игры ли, до забавы ли было отцу?

Упущение хозяина исправила мать, когда Клавдий Иванович был уже в армии. Незадолго до своей смерти мать написала ему, что у него теперь тоже есть свое дерево возле родительского дома — тополек.

И вот первое, что увидел сейчас Клавдий Иванович, подходя к родному дому, был тот самый тополек. Вымахал, разросся, всех задавил: и кедр, и березу, и рябину, и черемуху. Просто зеленый богатырь над домом — рокотом, тополиной песней встретил их.

Зато уж сам дом не сразу и признаешь. Боковой избы, в которой зимой жили, когда морозили тараканов, нет, хлев и сарай порушены, крыша с крыльца сорвана. А что делалось внутри дома! Он думал, ради красного словца давеча шерстила тетка пастухов. Нет, правда: черное огневище посреди избы. Не поленились — кирпичи притащили с улицы, на полу очаг выложили. Потому что в печи-то дрова запалить и дурак сумеет, а ты вот догадайся без печи избу вытопить!

Мать, бывало, в самые трудные времена, когда с голоду пухли, выгребала на каждую пасху грязь из избы. Надраит, наскоблит сосновый потолок и сосновые стены — в самую непогодь в избе солнце. А сейчас изба как черная баня: все просмолено, все в черной саже.

Несколько привлекательнее выглядела другая половина. Тут уцелела старинная никелированная кровать, на которой спал еще дед Артемий, стол, и еще сразу бросилось Клавдию Ивановичу в глаза железное кольцо в потолке. Кольцо, в котором висел березовый очеп с его зыбкой.

— Вот как отец-то у тебя, Виктор, рос... В зыбке качался...—начал было объяснять Клавдий Иванович сыну и вдруг всхлипнул.

Полина рассудительно заметила:

— Может, сперва делом займемся, а потом про зыбки-то рассказывать.

Да, да, да, спохватился Клавдий Иванович. Дел у них невпроворот. Четыре часа пополудни, а сколько им надо перелопатить всякой всячины!

Перво-наперво выгребли самую большую грязь из избы да затопили печи — веселее, даже в жару веселее, когда жилым в доме пахнет. Потом Клавдий Иванович принес от зарода (рядом, за домом стоял) охапку сена. Для постелей. Сено свеженькое, душистое, нынешнего укоса — эх, хорошо будет спать!

— Не носи покуда в дом-то, — встретила его у крыльца жена. С ведром в руке (где только и раздобыла), с подоткнутым подолом.

— Да ты никак полы мыть надумала?

— А то. Неуж в грязи будем жить? — И пошагала к колодцу.

Колодец у них был с журавлем, про какие в Полининых степных краях и слыхом не слыхали, и Клавдий Иванович крикнул:

— Подожди, я помогу!

Но Полина и не подумала ждать его. С ходу обеими руками ухватилась за шест и давай, и давай загружать деревянное ведро.

— А мне что делать? — весело, с задором крикнул Клавдий Иванович. Крикнул только для того, чтобы поскорее в семье водворилось окончательное согласие.

— А ты траву выкоси! — миролюбиво сказала Полина.

— Есть траву выкосить!

Клавдий Иванович схватил стоявшую возле крыльца еще давеча отысканную на повети и наточенную старую косу и пошёл гвоздить направо и налево.

На траву не смотрел (сроду в ладах с крестьянской работой) и на Виктора, захныкавшего где-то сзади, не обращал внимания. Равнение только на жену!

5

У Клавдия Ивановича на работе — а он пятнадцать лет без мала бригадирил в теплично-овощном хозяйстве завода — частенько заходили разговоры: надоела старая заигранная пластинка, хорошо бы вспомнить молодость, приударить за свеженькой. И ударяли. После выходного то один, то другой, то третий выхвалялся своими встречами на стороне.

Клавдий Иванович этого не понимал. Для него в жизни не было большей радости, чем видеть свою жену, смотреть, как она управляется с домашними делами: варит, стряпает, моет полы, шьет, а когда он, вернувшись домой позже обычного, заставал ее в постели — румяную, разогретую, с рыжими, распущенными по белоснежной подушке волосами, — он просто возносился на небеса.

В дом Полины он попал вместе со своим сослуживцем Борисом Огаровым, и, помнится, когда они первый раз оказались у нее в комнате — чистой, светлой, с цветами, с белой, как рождественский сугроб, кроватью, над которой висел вышитый коврик — олениха с олененком, —

у него захватило дух: ничего в жизни краше не видел. И уж, само собой, насчет молодой хозяйки он никаких планов не строил. Куда там — такая красавица! Да и у Бориса губа не дура — сразу стал чертом увиваться. А что он перед Борисом? Мешок с картошкой, цыпленок против орла!

Нет, нет, он уж и тем доволен был, что в те нечастые дни, когда получал увольнительную, мог заходить в этот дом, посидеть в этом раю.

Правда, сидел-то он немного. Борис каждый раз еще дорогой предупреждал его: «Создай мне обстановочку». То есть поменьше торчи возле них с Полиной. А потом, ему и самому как-то неловко было сидеть без дела. Мать у Полины больна, брат да сестра малые, сама Полина на части разрывается, чтобы заработать лишнюю копейку, — всегда с шитьем, всегда с вязаньем, а ведь было еще хозяйство: огородишко, поросенок, куры, дрова. И вот у них с Борисом быстро распределились обязанности: Борис с Полиной в комнате — развлекает ее, зубы заговаривает, а он, Клавдий Иванович, то с дровами возится, то в огородишке копается, то хлев для поросенка ладит, то еще чего. И Полину он обычно только и видел, когда заглядывал в дом перед уходом да еще когда она выходила к нему, чтобы взглянуть на его работу.

Однажды, примерно за месяц до демобилизации, Борис сказал Клавдию Ивановичу:

— Поработай сегодня над своим видиком. Я Полину на абордаж брать буду.

Ну что ж, подумал Клавдий Иванович, так оно и должно было все кончиться — ихней свадьбой. Ведь это же круглым идиотом быть надо, чтобы упустить такую девку!

Пошли. Взяли две бутылки вина (одну даже шампанского), торт, цветы.

Борис, едва зашли в дом, с ходу: так и так, мол, дорогая Полина, один хомут скоро сымаю, хочу надеть другой, то есть выходи за меня замуж.

Полина на это усмехнулась, потом вдруг вся посерьезнела и покачала головой:

— Нет, Борис, за тебя замуж не пойду, а вот за Клавдия пошла бы.

Свадьба была скромная, тихая. Брат Никодим и сестра Татьяна не приехали, а родственникам Полины Клавдий Иванович не понравился. И он понимал почему: больно уж жалок, больно уж невзрачен был он в своей новой, не по росту длинной солдатской гимнастерке по сравнению с пышной, как яблоня в цвету, красавицей невестой.

Полина под конец, видно, тоже одумалась и, когда они остались вдвоем, разревелась навзрыд. И это была самая ужасная минута в его жизни. За все без мала сорок лет.

6

Быстро, за каких-нибудь три часа привели дом в божеский вид. Во всяком случае, на первое время было где прислонить голову, укрыться от дождя и от комаров. А это — главное. Все остальное образуется постепенно.

Довольные, счастливые (даже Виктор перестал скулить), Сытины сели за свой первый ужин в Мамонихе.

— Ну как, Виктор, — пошутил Клавдий Иванович, — хорошо ест тот, кто хорошо поработает?

— Ага, — ответил Виктор, с аппетитом, за обе щеки уминая свежий огурец — из тех, что дала тетка Груня.

Сам Клавдий Иванович тоже ел с удовольствием, но в мыслях давно уже был на деревне (это ведь бог знает что — сколько уже часов на мамониховской земле, а в самой Мамонихе еще и не был), и в конце концов вскочил, даже не допив стакана чая.

— Вы как хотите, а я больше не могу. Должен пробежаться по деревне.

Виктор, к немалому удивлению его, тоже увязался за отцом.

Усадьба Сытиных стояла на отшибе, и на деревню раньше вела торная, хорошо наезженная дорога. А сейчас? Клавдий Иванович сунулся туда-сюда — нет дороги. Повсюду какая-то реденькая, худосочная ржица вперемежку с жирным, уже остаревшим пыреем. «Наверно, тут поле раньше было, а это самосев», — подумал Клавдий Иванович и побрел напрямик к первому дому.

Первый дом принадлежал Павлу Васильевичу, Лидиному отцу, и Клавдий Иванович, как только увидел старинные двухэтажные хоромы с белыми кружевными наличниками, слегка подрумяненными вечерним солнцем, — так сразу и забарахтался в заводях прошлого. Все вспомнил. Вспомнил, как в детстве они с Лидой наперегонки — зимой, босиком — бегали друг к другу в гости, вспомнил, как позднее он был влюблен в Лиду и как Лида зло высмеивала его в частушках...

После войны всех парней из Мамонихи взяли в армию — кривых, косоглазых, беспалых, кого не в строевые войска, так в железнодорожные, в стройбаты, а его забраковали. Недомерок. Ростом не вышел.

И Лида первая запела:

Ой, ребята-кавалеры,
Отодвиньтеся от нас:
Мой миленок всех пониже,
Мне не видно из-за вас.

А как потешалась, как издевалась та же Лида над ним, когда его отправили на откормочный пункт! Были такие после войны для призывников. Специально ставили на откорм тех, кого особенно ушибла война, кто не вышел телом. Подобно тому как в колхозах ставили на откорм телят, которых нужно было сдать в госзакуп.

Но дело, конечно, не в унижениях, не в позоре, который он пережил тогда, — все это теперь в прошлом. А что

стало с Лидой? Где она сейчас? Как сложилась ее жизнь? Ведь та же самая Лида, когда он уже кончал службу в армии и был женихом Полины, какое письмо прислала ему?

«Клавдя, я до краю больше дожила в этой Мамонихе, скоро весь свет белый прокляну. А у тебя паспорт теперь будет, вывези меня, бога ради, отсюда — хоть женой, хоть так — я на все согласна».

Дом Павла Васильевича был еще сносный, вполне годявый для житья, но что поразило Клавдия Ивановича? Незаколоченные окошки с выбитыми стеклами. И он живо представил себе, как уезжала Лида из родного дома. До того, видно, все опостылело, все обрыдло, что даже окон не заколотила.

— Пап, — тихо и оробело заговорил Виктор (должно быть, и ему не по себе стало при виде пустых, черных глазниц), — а чего это растет? — Он указал на крапиву, которая высокой стеной, как ельник, окружала крыльцо.

— Крапива.

— А у нас дома не такая.

— Поменьше, хочешь сказать? Так ведь эта крапива знаешь что тут делает? Вход в дом злым людям преграждает.

— Да? — Виктор внимательно посмотрел на отца и взял его за руку.

С этой минуты они так — рука в руке — и шли по мертвой Мамонихе. Шли вдоль домов высокой, слегка выброженной и присохшей травой.

И молчали. Негоже болтать на кладбище (это, видно, понимал даже Виктор), а нынешняя Мамониха похожа была на кладбище.

И даже тополя вверху над крышами, многие почему-то с посохшими верхушками, пели как-то скорбно и заунывно, совсем-совсем не в духе этого жизнерадостного, жизнелюбивого дерева.

7

Хуже подворья, чем у Сохи-горбуньи, в Мамонихе не было. Избушечка на задах, со всех сторон подперта подпорами, околенки допотопные, в аршин, да и те вкось, а по нынешним временам, когда все кругом порушено да задичало, и Сохина развалюха — жилье.

К ней приятно было подходить. Тропка с обеих сторон обкошена, заулок тоже начисто выкошен, и столько на лужайке возле ветхого, но чистенького крылечка кипело всякой пернатой мелочи, что ветер заходил вокруг, когда она тучей взмыла вверх.

Клавдий Иванович не очень верил во всякие россказни насчет Сохи-горбуньи, но, берясь за скобу, все-таки подбодрил себя шуткой:

— Ну, Виктор, не робей! Сейчас саму бабу Ягу увидишь.

Натужно прошаркала по старым половицам одна осевшая дверь, прошаркала другая, а дальше все было как в сказке: старуха горбатая, кот, курочка-ряба с выводком желтых попискивающих цыпляток...

— Ну, спасибо, спасибо, Клавдий Иванович, что зашел... А я гляжу, дымок у Ивана Артемьевича над крышей закурился — кого бог дал...

Клавдий Иванович обнял старуху, прослезился, а Виктор, тот вдруг выпалил:

— Здравствуй, бабушка Яга!

Клавдия Ивановича в пот бросило от такой бойкости сына, но баба Соха — так по-новому окрестил для себя старуху Клавдий Иванович — и не думала обижаться.

— Яга, Яга, милый. Как не Яга. Хромая, горбатая, бывалошная, вся мохом обросла. Так, так, родимушко.

— А колдовать вы тоже умеете, бабушка? — еще больше осмелев, спросил Виктор.

— А вот насчет колдованья-то, дитятко, я неважная баба Яга. Кабы колдованье да знахарство ведала, я бы

что первым делом сделала? А ногу да горб себе вылечила, а то вишь вот, всю жизнь на одной ноге скачу да людей пугаю. . .

Баба Соха жила по старинке и начала с угощенья. Все выставила на стол, чем богата была: свежепросольные рыжики, маленькие, копеечные, какими всегда славилась Мамониха, спелую, красную землянику (полнехонькая крынка!), северный мед — янтарную морошку. . .

У Виктора при виде этой свежей, благоухающей лесовины просто ноздри заходили, да и Клавдий Иванович не стал отказываться: сколько уж лет ничего этого не было во рту.

— Ну вот, — сказала довольная баба Соха, когда они все зачистили до последней ягодки, до последнего грибка, — теперь можно и гостей пытать-спрашивать.

— Можно, можно, баба Соха. Приехали вот навестить родные палестины.

— Ну, узнал вотчину, узнал Мамониху?

— Да как тебе и сказать. . . От старого-то разве что один ястреб в небе остался. . . Все заросло, все задичало.

— Все, — кивнула старуха. — Береза да осина разбойничают — на крыши уж лезут. Поминать, видно, деда Прокопья. Тот, бывало, когда деревню после пожара заново отстраивали, все говорил: «Зря, мужики, надрываетесь. Не жить Мамонихе. Не от огня, дак от куста погибнет».

— Так и говорил?

— Так.

— А я вот что заметил: возле иных домов тополя сохнут.

— Сохнут, — опять кивнула старуха.

— А чего им надо?

— Тополям-то? А кто их знает чего. Может, по хозяевам своим тоскуют, которые их сажали.

— Это деревья-то тоскуют?

С улицы донесся крик — не иначе как там Виктор

гонял птичек, но Клавдий Иванович даже в окошко не посмотрел. Пускай забавляется. Чего ему томиться в духоте. И он, осторожно пошевелив ногами, которые щекотно поклевывали попискивающие цыплятки, опять подался глазами к бабе Сохе.

— А ты-то как тут? Все одна да одна...

— А что поделаешь, Клавдий Иванович? Так уж мне на роду написано. Тяжело, тяжело зимой-то. Снегом занесет, засыплет с окошками — не знаешь, что и на свете деется, — не то ночь, не то день. По неделям из избы не выходишь. Тут который год снежно было, пензию из сельсовета принесли, двадцать рублей дадено, и попасть ко мне не могли. Так и ушли обратно. Ну, а ты-то как, Клавдий Иванович? В теплых краях, говорят, живешь, — поди и насчет дровец стараться не надо?

— Не надо. Углем топим. Каменным.

— А-а, вишь как ты устроился. На городах, значит. Все ноне перемешалось. Не поймешь, куда утка, куда селезень. Бывало, у меня брат-покойничек в Ярославле жил — уж на что при деле при хорошем был. Старший приказчик у купцов Красулиных. Нет, прощай, злато-серебро, прощай, хоромы каменные, — в Мамониху, в леса родные поеду. А нонека все на сторону, все в города думают попасть. Где посытнее да повольготнее. Не видал там, на городах-то, Лидию Павловну?

— Это ты про Лиду Павла Васильевича? — живо переспросил Клавдий Иванович.

— Про Лиду. Про соседку твою. Тоже в ту сторону подалась за счастьем. Не знаю, чего у ей получилось, нет.

— А чего не получилось-то? У людей получается, а у ее нет...

— Да ведь она с кем в город-то уехала? С Котей Курой.

— С Котей? Это с печником-то, который в районе печи клал?

— С ним. Пьяница забубенный, чуть не в два раза старше ей...

— Да что она, с ума спятила?

— А от ейной жизни, пожалуй, спятишь. Сперва матерь разбило параличом, а потом тетку. Тетку за матерью-то ухаживать привезла из района, а тетка — подумай-ко — полугода не выстояла на ногах, тоже бок отнялся, тоже колодой слегла. И вот девка-то у меня взвыла. Все бегут, уезжают из Мамонихи, а она как привязанная. У ей колхозны телята на руках — целый двор, до́ма — одна колода лежачая, другая... И вот, смотрю, у меня Лидия Павловна уж в бутылку заглядывать стала, да курить почала, худым словом кидаться... Нет, нет, — вздохнула старуха, — я нисколешенько не сужу. Ну-ко, девять лет мучиться — не жить. Это в ее-то годы! Ну-ко, девять лет кажинный день из-под двух старух навоз выгребать. Да она до того, бедная, домаялась, что самой жизни не рада стала. Ко мне напоследок прибежала: «Баинька, — все меня баинькой звала, — баинька, говорит, я ведь с Котей Курой в город собралась». Что ж, говорю, матерь да тетку успокоила. Теперь сама знаешь, как жить. А чего буду отговаривать? Двадцать девять лет девке — чего тут высидишь? Какой королевич к тебе залетит? Вот так и уехала у нас Лидия Павловна. «Мне, говорит, пачпорт бы только схлопотать, а там-то я знаю, что делать»... Не знаю, не знаю, как там ей теперь. Подфартило, нет на новых-то местах...

8

Клавдий Иванович вышел от бабы Сохи, когда уж догорал день. Красное, раскаленное солнце село в темный ельник за ихним домом, и, казалось, там, в еловой чаще, затаилась сама сказочная жар-птица. Да тот ельник, бывало, так и звали у них: жаровец.

Клавдия Ивановича пошатывало. Он сам попросил у

бабы Сохи какой-нибудь выпивки, потому что такая тоска вдруг навалилась на него, так жалко вдруг стало Лиду, что хоть криком кричи.

Лида Мамонова была у них первая красавица, первая ученица в школе. Евстолия Васильевна, старая учительница по математике, когда ставила им очередные двойки, вздыхала: «Что поделаешь, картошка глупее хлеба». То есть я не ругаю вас, ребята. Понимаю, из-за чего на ровном месте буксуют у вас мозги. Из-за того, что картошкой да травой питаетесь. И как радовалась, как молодела та же самая Евстолия Васильевна, когда дело доходило до Лиды! «Нет, нет, ребята, — говорила она, — у меня в классе такого умного и хлеба никогда не бывало, как эта картошка. Вот помяните мое слово: картошка эта прославит и себя и всех нас». И вот прославила... За Котю Куру вышла...

Клавдий Иванович не был виноват в Лидиной беде — ну что он мог поделать, когда уж был женихом Полины? Ведь именно тогда пришло то страшное письмо от Лиды. И все-таки, все-таки... может, и он виноват?..

Выйдя с задворок на деревню, он запел:

Бывало, вспашешь пашенку,
Лошадок уберешь,
А сам тропой знакомою
В заветный дом идешь...

Хотелось песней, любимой песней отца встряхнуть себя, взбодрить свой дух перед встречей с женой, которую он оставил одну в чужом доме.

— Полинушка, Виктор! Вы не ругайте меня, ну? Я маленько нос прищемил... Понимаете, ха-ха?

Клавдий Иванович перевалил за порог избы, прошел на другую половину и в сумерках увидел жену и сына — как голубки в обнимку сидят на кровати.

От умиления его прошибло слезой:

— А я, ребятки, вам огонька принес от бабы Сохи.

С огоньком-то повеселее будет, верно? — И он полез в карман за свечкой, которой разжился у старухи.

— Па-па-а...

В голосе Виктора Клавдию Ивановичу послышалась капризная плаксивость, и он тотчас же напустил на себя строгость:

— Сын! Будь настоящим человеком...

— Да помолчи ты, бога ради, со своим настоящим человеком! — вдруг расплакалась Полина. — Разве не чуешь, что с сыном-то делается?

И тут, словно в подтверждение слов матери, Виктор удушливо закашлял, натужно задышал.

Клавдий Иванович вмиг отрезвел. Неужели, неужели опять то же самое, что было три года назад? Три года назад летом они отдыхали в деревне, недалеко от ихнего поселка. Все было хорошо: купались, загорали, валялись на песке, на свеженькой травке, и вдруг раз вечером, дня за два до возвращения домой, с Виктором стало худо — просто на глазах стал задыхаться ребенок. Они с Полиной перепугались насмерть, думали, им и до поликлиники его не довезти. Но довезли, отходили парня. А вот что это за болезнь была, отчего она — они так толком и не узнали...

— Чего стоишь-то как пень? Ждать будешь, когда ребенок задохнется? Ходишь, ходишь по всяким колдуньям — может, она отравила его?

— Да не говори ты ничего-то, Поля. С чего баба-то Соха будет нас отравлять? Баба Соха огонька ему послала.

Клавдий Иванович зажег свечу, укрепил ее в стеклянной банке из-под компота.

— Ну вот так, так, сын. Со светом-то повеселее, а? Со светом-то, скажи, можно жить...

— Па-а-паа...

Клавдий Иванович сунул банку со свечой на стол, выбежал на улицу. Он еще надеялся попервости: какая-

нибудь ерунда у Виктора, сама собой пройдет, но крик был такой хриплый, такой умоляющий, что сомнений больше не оставалось: прежнее удушье, то самое, что было тогда в деревне.

На улице меж тем густела темнота. Он кинулся бежать по дороге в Резаново, но вскоре одумался. Семь верст до Резанова — когда же он обернется? Да и что он найдет в Резанове? Одна бригада совхозная — в лучшем случае медсестра есть...

Он решил бежать на станцию. До станции дальше, десять километров, но там наверняка найдется врач.

Солнце уже окончательно закатилось, туман легким парком расползался по полям. Клавдий Иванович, путаясь в повлажневшей траве, пробежал ложбину, выбежал к дому Павла Васильевича и начал одолевать травяную реку, то есть деревенскую улицу.

Трава на улице была в пояс — жирное тут место, но темные массы домов еще можно было различить, а за деревней темнота накрыла его как мешком. И куда податься? Как тут идти на станцию?

9

Сперва он стучал в наружные двери — руками, ногами, поленом, потом начал стучать в окошко, которое с трудом, на ощупь отыскал в темноте, а потом уж стал просто умолять:

— Баба Соха, открой... Баба Соха, открой...

И вот только на слово отозвалась старуха.

— Баба Соха, баба Соха, помоги! С ребенком, с сыном худо...

— Да что с ним, с сыном-то?

— Не знаем. Второй раз уж так. Дышать не может... Задыхается... Пойдем скорее... — И Клавдий Иванович нетерпеливо схватил в темноте старуху за руку.

— Нет, нет, — сказала старуха. — Не помощница я. К врачам надоть.

Клавдий Иванович чуть не разрыдался.

— Да где они, врачи-то? На станцию бежать надо. А болезнь-то не ждет.

— Ну и от меня пользы не будет.

— Да почему? Раньше-то помогала. Я сам помню.

— То раньше. Раньше-то у меня сила была.

— Да ты понимаешь, нет, баба Соха? — уже криком закричал Клавдий Иванович. — Ребенок у нас задыхается. Понимаешь это?

И, не слушая больше старуху, он силой поволок ее за собой.

До деревни добрались легко: по дорожке. А дальше, когда кончилась дорожка, начали тыкаться в темноте, как слепые котята. Уверенность появилась лишь после того, как впереди из темноты вдруг подал голос его, Клавдия Ивановича, тополь — птичьей стаей взыграла взъерошенная ветром листва.

Полина пришла в ужас, когда на пороге увидела горбатую старуху.

— Не дам, не дам ребенка! — закричала дурным голосом. — Я куда посылала-то тебя? За врачом. А ты кого привел?

Но тут уж баба Соха сказала свое слово:

— Загунь! Не пугай ребенка-то.

А когда подошла к Виктору (тот тоже попервости насмерть перепугался), заговорила ласково-ласково. Как летней водой начала окачивать.

— Не бойся, не бойся, золотко. Бабушка тебе здоровья принесла. Где у тебя болит-то? Горлышко... Дыханья нету... Будет, будет дыханье, родимый...

Слабо, как далекий вздох, как утренний ветерок в листве, прошелестели давно знакомые слова: «Стану я, раба божья...», и Клавдий Иванович подумал — может, и права была старуха, когда наотрез отказывалась идти

к ним? Может, и в самом деле из нее ушла сила? Но он в тот же миг подавил в себе эти сомнения, потому что кто еще, как не она, может сейчас помочь Виктору?

И удивительно: голос старухи тотчас же стал наливаться силой, и слова пошли такие, что в дрожь, в озноб стали кидать его:

— Исполохи, переполохи, порчи, уроки, всякие прикосы... Идите в пенье, в коренье, в грязи топучи, в ключи кипучи... Там вам вариться, там вам кипятиться, под осиновый кол уйти, камнем накрыться, землей завалиться, мохом-травой зарасти...

Клавдий Иванович посмотрел на жену. Может, все это только ему кажется? Может, все это только далекие детские страхи, которые вдруг ожили в нем?

Нет, и Полина была во власти этих слов, во власти трубного голоса старухи. И она, как околдованная, не дыша, широко раскрытыми глазами глядела на нее.

Три раза читала баба Соха, три раза заклинала хворобы и боли, тихонько водя темной рукой по горлу и груди Виктора, и тот, похоже, уже не хрипел, не задыхался, как прежде.

— Пи-ить, — вдруг подал он слабый голос.

Клавдий Иванович бросился на другую половину за водой, но Полина еще раньше запаслась питьем.

Виктора напоили.

— А тепере, — сказала баба Соха, — ты, отец, выйди за дом, сруби осиновый кол с топорище длиной да тот кол забей в землю вместе с хворобами. Да чтобы тот кол никто никогда не вытащил.

Клавдий Иванович понимал, что тут уже начинается какая-то чертовщина, но что не сделаешь ради своего ребенка! Да и баба Соха — как с ней спорить? Все была ветошная, беспомощная старушонка и вдруг разрослась, расползлась по всей стене, как туча в бурю...

Он думал, в темноте ему во веки веков не выбраться за дом. Но выбрался. И даже в кустарнике, густо раз-

росшемся за домом, отыскал осинку — по горьковатому запаху коры, по лакированным, вздрагивающим в темноте листьям. В общем, сделал все так, как приказала старуха.

И вот награда, вот счастье: Виктор, когда он, весь перемокший, вошел в дом, был уже в безопасности. Он понял это, еще не видя его. Понял по лицу жены, такому счастливому и доброму, какое он, может быть, видел у нее только один раз в жизни — когда пришел в родильный дом поздравлять ее с долгожданным сыном.

10

Старуха еле-еле, опираясь на батог и на Клавдия Ивановича, добрела до своего подворья, а на крыльцо и подняться не смогла — села.

— Ну, выручила, выручила ты нас, баба Соха. Спасибо! — Клавдий Иванович уже с короб наговорил этих спасиб старухе, а они так и набегали, так и набегали на язык. — А то ведь я давеча — хоть караул кричи. Виктор задыхается, врача нету, и ты уперлась — с места не сдвинешь.

— Не занимаюсь я ноне этими делами.

— И зря. У нас — три года назад вот так же случилось — врачи целую ночь возились с Виктором, а ты вон как: руками поводила, сказала слово, и здоров.

Клавдий Иванович по старинке, на всякий случай сплюнул за левое плечо и, уже совсем расчувствовавшись, сказал с легкой усмешкой:

— Давай, баба Соха, выкладывай свои диагнозы. Ну что за болезнь такая? Как ее вышибать? А то ведь эти ученые только руками разводят. Аллергия не аллергия, обмен веществ. . . Не поймешь.

Старуха вздохнула в темноте, но ничего не ответила.

— Чего молчишь? Я ведь тебя спрашиваю ради ребенка, а не ради того, чтобы у тебя секреты выуживать.

— А что я скажу тебе, Клавдий Иванович? Много ли я знаю? Молитва, да травка, да наговорное слово — вот и все мое леченье.

Старуха уклонялась от прямого разговора, это ему было ясно, и он начал подбираться издалека, с напуском эдакого туманца:

— А интересно, баба Соха, где это ты все вызнала? Ну это самое... руду-кровь заговаривать, переполохи снимать, присухи... У нас, к примеру, сейчас курсы разные, техникумы. На шоферов, на тех же самых фельдшеров. Так? А вот ты, к примеру? Где ты всю эту премудрость выучила?

— Меня, парень, нужда заставила. В жизнь-то меня выпихнули горбатой да хромой, отец пьяный еще ребенком на пол с рук уронил, а чем кормиться, чем от людей борониться? Люди не любят уродов да калек. Одни ребятишки по глупости заклюют, каменьем закидают. И вот сжалился надо мной, убогой, один добрый старик, Васей-килой звали.

— Это колдун-то который? — Клавдий Иванович с внезапной робостью посмотрел в темноту перед собой. Он не застал уже в живых Васю-килу, но в детстве для него ничего страшнее не было этого имени.

Баба Соха слегка оживилась:

— Я сама больше всех на свете его боялась. Раз хожу в лесу, ягоды собираю — только мне и жизни было, только мне и отрады, что в лесу, дерево да куст не изгиляются, — и вдруг из-за ели старик. Вася-кила. Весь белый, весь косматый, клюка в руке. Я так и села от страха. А он подошел ко мне да рукой по голове, как малого ребенка: «Что ты, говорит, глупенькая? Чего испугалась? Хочешь, говорит, чтобы тебя люди не обижали, надо, говорит, чтобы не ты людей боялась, а люди тебя. Страх людской, говорит, твой корм и оборона».

— Это как понять?

Старуха словно не расслышала его.

— Поучил меня маленько дед Василий. И слову наговорному поучил, и травкам. Знающий был человек. А теперь все боле. Нету силы. Из Мамонихи ушла сила и из меня ушла.

— Как, как? Что ты сказала? Из Мамонихи ушла сила и из тебя ушла?

— Так. Покуда Мамониха в силе была, и я в силе была. А как начали из Мамонихи кровь выпускать, так и я ни на что гожа не стала.

— Вот как! А я думал, это ты про старость говоришь. От старости силы не стало.

— Старость не радость, кто не знает, а не приведи бог видеть, как на твоих глазах родная деревня умирает. Сперва один дом пустеет, потом другой, потом третий... Да сами-то дома, еще бог с ними. А то ведь дом умирает, и хозяин иной раз умирает. Василия-то Егоровича помнишь?

— Это в верхнем-то конце который жил?

— В верхнем. Нету больше. В прошлом году приехал с женой, как ты, об эту пору. «Уж так хорошо, так хорошо живем! Свой дом, свой сад. Дети все ученые, большие деньги зарабатывают! Я, говорит, и жизни в Мамонихе не видал, только сейчас на старости лет и увидел». Ну ладно, две недели пожили, стали в дальнюю дорогу собираться, где-то далеко живут. Вот к воротам-то полевым вышли, за деревню, Василий-то Егорович и говорит жене: «Марья, говорит, я ведь, говорит, вьюшку в трубе не закрыл». — «Ну и бог с ней, с вьюшкой-то, — говорит Марья. — Дом погибает, а ты о вьюшке думаешь». — «Нет, говорит, надо закрыть вьюшку». Убежал — полчаса нету, час нету. Марья не знает, что и подумать. Пошла домой: где у меня мужик-то? А мужик-от у ей в избе висит.

— Повесился?

— Повесился.

— Да, — сказал Клавдий Иванович, — веселую ты сказку рассказала.

— За веселыми-то сказками нынче едут на сторону, а в нашей деревне какие теперь сказки? Деревни, парень, без сказок помирают. Это сказки-то сказывают да песни поют, когда строятся, когда жизнь заводят заново.

11

Это было самое счастливое утро в его жизни. Проснулся, открыл глаза, а в потолке железное витое кольцо, в котором когда-то висел березовый очеп с его зыбкой. А когда встал да вышел на крыльцо — и того краше картина: жена. Развалилась, растеляшилась на красном одеяле посреди заулка — рыба белая играет на солнышке. А в небе прямо над Полиной коршун. Чертит и чертит круг за кругом, — должно быть, тоже залюбовался.

— Виктор где? — весело крикнул Клавдий Иванович, сбегая с крыльца.

— Тут где-то был. — Полина нехотя оторвала от подушки рыжую голову с черными очками во все лицо, повела туда-сюда: — Виктор, Виктор...

— Я здесь, мам! Малину ем.

Виктор кричал на задах, в кустарнике, и Клавдий Иванович сиганул туда — напрямик, через дикие заросли собачьей дудки, буйно разросшейся на бывшем капустнике, — земля тут жирная, каждый год унаваживалась.

— Ну как, сынок? Здоров? Ничего не болит?

Виктор не ответил, а промычал: ему было не до разговоров. Он, как медвежонок, дорвавшийся до лакомой ягоды, с треском, с жадностью раздвигал одну ветку за другой.

Клавдий Иванович рад был за сына, рад, что Виктор снова полон жизни, снова выказывает свой отменный аппетит. Только вот как привыкнуть ко всему этому — к этой малине, к этому ольшанику и осиннику за своим до-

мом? Ведь ничего этого двадцать лет назад и в помине не было. И Клавдий Иванович, переводя взгляд с кустарника на родные хоромы, невесело подумал: пропал, пропал дом. Ежели даже люди пощадят, лес задавит. Лес, который стеной со всех сторон наступает на Мамониху...

— Пап, пап! — Виктор подавал голос уже где-то у Вертушихи.

— Ну что еще?

— Иди, иди скорей! Я домик нашел.

— Какой домик?

Раздвигая руками не просохший еще от росы малинник, Клавдий Иванович вышел к речке и увидел сына возле их старой бани, черной, насквозь продымленной, с малюсеньким окошечком без рамки, с деревянным держаком в дверях вместо скобы.

— Да ты что, Виктор? Какой это домик? Это же баня!

— Баня? ..

— Ну, сын! Ты как иностранец в отцовской деревне...

А в общем-то, что же удивляться? Откуда Виктору знать, что такое старая деревенская баня, когда он видит ее впервые?

Клавдий Иванович открыл перекосившиеся, на деревянной пяте дверцы (ах, знакомая музыка! Коростели запели вокруг), заглянул в сенцы, заглянул в баню — все еще попахивало прежней горечью — и вдруг загорелся:

— А знаешь что, Виктор! Давай-ко мы с тобой раскочегарим эту старушку, а?

Быстро, как по щучьему веленью, появились дрова в каменке, взбурлила вода в котле — рядом речка.

— Сынок, ты тут хозяйничай, посматривай за всем, а я сбегаю в лес за свежим веником.

— А я тоже с тобой, папа.

— Нет, нет, я один. С тобой в другой раз. Обязательно пойдем.

Клавдий Иванович скатился по недавно натоптанной

тропинке к Вертушихе, перешел ее вброд — невелика у них и река, в засушье ворона перебредет, не замочив крыла, — и в еру дремучие заросли ольшаника и осинника, первые леса своего детства, где в те далекие времена видимо-невидимо было всякой нечисти и чертовщины и где он ставил свои первые петли на зайцев.

Раньше у них березняк был далеконько, за добрую версту ходили за вениками, а сейчас он из еры вышел — и жуть сколько этого ласкового куста — все Поречье, все покосы завалило. И вот Клавдий Иванович завязал с ходу два веника и куда побежал? Домой, восвояси? Вперед.

Рядом Пахомкова гарь — веселые, поросшие пружинистым вереском горушки и веретейки, где когда-то еще ребенком собирал грибы да ягоды, — так неужели не посмотреть, что там сейчас деется, неужели не побывать?

А раз на Пахомковы горы поднялся (и так называли в Мамонихе это урочище), в Мамину зыбку — хочешь не хочешь свалишься. Эдакая лесная перина из зеленого моха в котловине — да тут держать не удержать! А за Маминой зыбкой вынырнула Антохина раскопка — тоже есть чем вспомнить, хороший хлеб родился! А за Антохиной раскопкой Вырвей, лесной ручей песни распевает, а Вырвей перешел — сразу три дороги, три росстани. Как в сказке. Не знаешь, по какой и идти.

И вот так скок-поскок — где дорожкой, как в старину, кипящей трудолюбивыми мурашами, где травой, где моховиной Клавдий Иванович и утянулся в глуби мамонихинские.

Все заросло кустом, все задичало, от прежнего, иной раз казалось, только и остались разве что имена да названия. Зато какие имена, какие названия! Для каждого бугорка, для каждого перелеска и тропки у стариков нашлось свое имя, свое название. Любили люди свою землю, свои родные места. Пахомкова гарь, Мамина зыбка, Поречье, Антохины раскопки — вкусно выговорить!

А нынче? Ихний поселок, к примеру, взять. Не послед-

ний населенный пункт в стране, в города скоро, говорят, выйдет, а что за народ живет? Три озера в окрестностях, три озера, в которых худо-бедно рыбу удят, а как зовут эти озера? Карьер № 1, карьер № 2, карьер № 3. По тем временам еще, когда тут песок да щебенку для цемента добывали. И так же с дорогами. Асфальтом залиты, яблонями обсажены, весной как невесты в белом цвету, а имен для них у людей не нашлось. Тоже по номерам зовут.

Пора, однако, было образумиться, повернуть назад — Виктор и так заждался его. Клавдий Иванович свернул направо, к Михееву усу, — то же расстояние, да зато новые места. И вот эта-то жадность его и подвела.

Посекло Михеев ус. Где видно тропинку, нащупаешь ногами, а где начисто затянуло мхом, кустарником. А потом еще одна напасть вскоре объявилась — пошли Гехины дороги, широкие просеки, проложенные трактором посреди леса.

Клавдий Иванович запрыгал, как козел, от одной колеи к другой, начал тыкаться туда-сюда, и кончилось тем, что заблудился. . .

12

Мамониха была рядом. Он это знал, чувствовал — не мог же за какие-то двадцать — тридцать минут укатить бог знает куда, да и места́ вокруг вроде знакомы были. А на тропу не попасть — моховина, болото, травники. И ели такие густые да высоченные, будто тут уже сумерки.

Его разбирал смех: надо же, в трех елях запутался, а с другой стороны, и беспокойство мало-помалу стало закрадываться в душу. Что там с Виктором? Догадается ли Полина проведать его?

Наконец какая-то твердь появилась под ногами, а потом и еще один компас — просветы меж деревьев,

Клавдий Иванович рванул на эти просветы, и вот тебе на — Поречье. Мыкался, путался в траве, обливался потом, и все это, как он и думал, рядом с Поречьем, рядом с Мамонихой. В прежние времена непременно сказали бы: нечистая сила закружила, а то еще бы и бабу Соху приплели. А теперь кого винить?

С деревни в это время докатился какой-то непонятный треск и вой, похожий на шум работающего мотора.

«Кто-то из Резанова, верно, приехал», — подумал Клавдий Иванович и прямо травяной целиной порысил к знакомой сухой березе, которая стояла неподалеку от Вертушихи, напротив ихнего дома.

Однако не успел он и десяти шагов сделать, как страшный грохот сотряс землю.

Перепуганный насмерть («Где Полина? Где Виктор?»), Клавдий Иванович с ходу взял речушку, одним духом взлетел на крутой берег и просто ахнул: тополь, его тополь лежит на земле.

— Стой! Стой! — закричал он мужику, орудовавшему бензопилой в палисаднике.

Опоздал: кедр грохнулся на землю.

Вытирая со лба пот (с головы до ног взмок), он подошел к дому, и кого же увидел? Геху-маза. Все деревья в палисаднике — тополь, черемуха, рябина, кедр — все лежат повержены, все распяты, а он стоит. Стоит как заново выросшее дерево — огромный, в резиновых сапогах с длинными голенищами, натянутыми до пахов, и улыбается.

— Ты что это делаешь? Кто тебе разрешил?

— А чего я делаю? Свет людям дал. Я зашел в избу, как в могиле у вас.

— Это не твое дело! Дома хозяйничай. Виктор, — Клавдий Иванович только сейчас заметил в сторонке приунывшего сына, — а ты-то куда смотрел? Ведь я же

тебе рассказывал, что это за деревья. Дядя Никодим, тетя Таня...

Виктор заплакал.

— Давай, давай, поплачьте оба вместе. Ах, бедненькие... Ах, кустиков жалко!.. — Геха захохотал.

— Да чего ты ржешь-то? Эти кустики-то знаешь кто садил? Отец еще. До войны...

— А теперь какая команда у нас насчет этих кустиков? Не знаешь?

— Будет, будет вам, петухи! — К ним подошла Полина. — Чего за кусты держаться, раз дом продаем? С собой не возьмем, хоть золотые бы они, эти кусты были.

— Понял, как умные-то люди на это смотрят? — Ухмыляясь, Геха поднял с земли бензопилу, сказал, глядя веселыми глазами на Полину: — Может, еще чего сделать? Хочешь, Невский проспект проложу к Вертушихе? Чтобы по утрам, когда на водные процедуры пойдешь, не колоть свои белые. Давай, покуда сердце горит. Для тебя всю Мамониху распушу.

— Нет, нет, не надо, — сказала Полина, но слова Гехины понравились: блеском взыграли глаза.

— Ну как хошь. А то я своего конягу взнуздаю, — Геха кивнул на могучий гусеничный трактор, густо, до половины кабины заляпанный грязью, — моменталом сделаю.

13

Геха выставил две бутылки «столичной» — остатки, как он сказал, от ночного заседания с начальством, то есть от рыбалки, с которой он прямо, не заезжая домой, заявился к ним, но и Полина не ударила лицом в грязь — тоже бутылкой хлопнула.

Где, когда она раздобыла это добро — на аэродроме, в райцентре, покуда он бегал к знакомым, Клавдий Иванович не знал, да разве и в этом дело? Главное, что спесь

сбили. А то ведь на стол свои бутылки начал метать, будто тут нищие живут.

И еще Полина сразила Геху своими нарядами. Все по самому высшему классу: красные штаны в струночку, белые туфельки на высоком каблуке, белая кофточка с золотым поясом змейкой. Ну, прямо артистка вышла к столу.

По правде сказать, у Клавдия Ивановича не было большой охоты бражничать с Гехой, но как же было уклониться, ежели тот сам первый предложил? Что ни говори — гость. Да и Полина сразу загорелась: ведь надо же кому-то хоть раз показать свои наряды!

Расположились на вольном воздухе, на свежевыкошенной поляне за колодцем, под молоденькой рябинкой.

— Ну, как говорится, будем здоровы, — сказал Геха и легко, как воду, опрокинул в себя стакан водки. Затем сплюнул, ничем не закусывая, и начал торг без всякого подхода.

— Косых три, пожалуй, за эти дрова дам, — сказал он и пренебрежительно, не глядя, кивнул в сторону дома.

Полина (она, конечно, взялась за дело — бухгалтер, всю жизнь имеет дело с материальными ценностями) спокойно улыбнулась:

— Ну, а насерьез, без трепа?

— Чего насерьез? Мало сейчас дров валяется по деревням!

— Дров-то много. Да таких домов, как наш, один. На станцию отвезешь — сколько возьмешь?

— Сколько? — ухмыльнулся Геха.

— А тысячи две с половиной — самое малое.

— Тю-тю! Сдурела баба...

— Ладно, ладно, зубы-то не заговаривай. Не таких видали.

— А мы вот таких не видали, — сказал Геха и хлоп-

нул Клавдия Ивановича по плечу. — Эх, и везет же чувакам! Да откуда ты только такую и выкопал?

Клавдий Иванович, горделиво улыбаясь, только головой покрутил. Не уважал он Геху, ни теперь, ни раньше не уважал, но слова его елеем пролились на сердце.

— Ладно, — сказал решительно Геха и трахнул своей пятипалой кувалдой по ихнему хлипкому столику — фанерному ящику из-под конфет, — пей мою кровь! Еще сотнягу накину. Только ради тебя, ради твоих симпатичных глазок.

— Девятьсот, — сказала Полина.

Пошли страсти-мордасти, пошел торг. Геха, все время игравший в парня-рубаху, начал горячиться, он даже выматюкался, и Полина, хотя и по-прежнему улыбалась, тоже мало-помалу стала накаляться — красные пятна пошли по лицу.

Наконец она и вовсе сорвалась:

— А ты чего сидишь как именинник?

Клавдий Иванович напустил на себя деловой вид:

— Думаю, действительно надо. . .

— Да чего надо-то? — еще пуще распалилась Полина.

Геха захохотал во всю свою широкую, жарко горевшую на солнце пасть, а Виктор вдруг завопил от радости:

— Бабушка Яга, бабушка Яга!

Клавдий Иванович глянул на деревню — баба Соха. Вывернулась из-за дома Павла Васильевича и к ним. Как старая лошадь, мотает головой. И белый платок так и играет над рыжищем. Видать, по всем правилам в гости собралась, во все праздничное вынарядилась.

Но что это? Старуха вдруг повернула назад.

Клавдий Иванович закричал:

— Баба Соха, баба Соха, да куда же ты?

— Не надрывайся, не придет, — сплюнул Геха.

— Да почему?

— А потому, что там, где я с «мазом», — ей дороги

нету. Нечисть всякая терпеть не может железа да бензина.

— Не говори ерунду-то.

— Ерунду? Да ты что — в Америке родился? Не знаешь, сколько она, стерва старая, народу перепортила? Тому килу посадила, того к бабе присушила, у того корову испортила... А нынче людей нету, дак она что сделала? На птице да на звере вздумала фокусы свои показывать. Пойди-ко послушай охотников. Стоном стонут, которые этим живут. Пера не найдешь за Мамонихой. Всю птицу разогнала. Чтобы ни тебе, ни мне.

— А по-моему, дак это твоя работа. Я недавно Михеевым усом прошелся — весь бор перерыт-перепахан, весь лес провонял бензином. Дак с чего же тут будет птица жить? Кусты-то и те скорчились. Листы, как тряпки, висят...

— Ай-ай, опять слезы по кустикам. Дались тебе эти кустики. Мне тут одна книжечка попалась — ну, в каждом стишке плач по этим кустикам. Особенно насчет березы белой разора много. Береза — ах, березонька, стой, березонька, свет очей... А мы от этого света слепнем, мы из-за этой березоньки караул кричим. Все поля, все пожни, сука, завалила! А ты — кустики...

— Да я не о кустиках, а о Мамонихе. Вон ведь ее до чего довели. Посмотри!

— А кто довел-то, кто? — резко, в упор спросил Геха.

— Кто, кто... Думаю, разъяснений не требуется...

— А ты разъясни, разъясни. Молчишь? Ну дак я разъясню. Ты!

— Я? Я Мамониху-то до ручки довел? Да я двадцать лет в Мамонихе не был!

— Во-во! Ты двадцать лет не был, да другой двадцать, да третий... Дак какая тут жизнь будет? Критиковать-то вы мастера... Ездит вашего брата — каждое лето. Ах-ох, то худо, это худо... Геха-маз загубил... Да ежели хочешь знать, так только благодаря Гехе-то-мазу

тут и жизнь-то еще пышет! Та же твоя тетка да Федотовна... Да не привези я дров, зимой как тараканы замерзнут...

— Ну, ну, будет, — воззвала к миру Полина. — Худо вам — под рябинкой сидим?

— Нет уж, выкладывать дак выкладывать все, — с прежним запалом заговорил Геха. — Не от первого слышу: Геха как в раю живет. А я каждый день на трактор-то сажусь как на танк. Как на бой выхожу. Баба провожает — крестит: вернусь аль нет. Толька Опарин из Житова в прошлом году заехал в эти березки белые, а там яма, чаруса — теперь там лежит. Понятно, нет, о чем говорю?

— Понятно, понятно! — сердито сказала Полина. И у неё кончилось терпенье. — В одной деревне выросли, а кроме лая ничего от вас не услышишь.

— А и верно, мы не в ту сторону потащили, — моментально сдался Геха и протянул свою темную ручищу: — Ну дак что — ударили? А то ведь я могу и передумать.

— Чего передумать? — переспросил Клавдий Иванович.

— Да насчет твоих дров.

— Папа, папа, не продавай!

Выкрик сына словно вздыбил Клавдия Ивановича, и он с неожиданной для себя решимостью сказал:

— И не продам. Об этих дровах, может, у отца последняя дума была, когда умирал на фронте, а я Иуда, что ли?

В наступившей тишине вдали, у дома, шумно взыграли тополиные листья, по которым пробежал ветерок, и стихли.

— Дак что же — отбой? — спросил Геха, обращаясь к Полине.

Полина вопросительно посмотрела на мужа, но Клавдий Иванович, почувствовав новую поддержку сына (тот крепко, изо всех сил сжимал его руку), не пошатнулся.

И тогда Геха сказал:

— Ну что ж, не захотели взять рубли, возьмете копейки.

14

Полина объявила бойкот. Это всегда так, когда чуть что не по ней: глаза в землю, язык на замок и никого не слышу, никого не вижу.

Клавдий Иванович землю носом рыл, чтобы угодить жене. Он истопил баню, сбегал на станцию за свежими огурцами и помидорами, даже две курочки раздобыл в соседней деревушке, а уж о свежей лесовине и говорить нечего: грибы да ягоды у них не переводились. Нет, все не в счет, все не в зачет.

И вот какой характер у человека — даже своего любимчика не жаловала. И на бедного, растерянного Виктора жалко было смотреть: и мать от него стеной отгородилась, и к отцовскому берегу пристать решимости не хватало.

Самому Клавдию Ивановичу душу отогревать удавалось у бабы Сохи.

Утром он выйдет из дома, вроде как в лес, за подножным провиантом, а сам перейдет Вертушиху и к старухе. Задами. Заново натоптанной тропкой.

С бабой Сохой можно было разматываться на полную катушку — все поймет, не осудит. И он разматывался. Обо всем без утайки говорил: о своем житье-бытье с Полиной; о Лиде, о Гехе.

Но вот что было удивительно! Как только он заводил речь об отцовском доме — а ведь именно из-за дома весь нынешний сыр-бор разгорелся, из-за дома у него война в семье, — так баба Соха отводила в сторону глаза.

Клавдий Иванович горячился:

— Я что-то не пойму тебя, баба Соха. Неужто ты хочешь, чтобы я своими руками раскатал отцовский дом? Да я, может, еще в Мамонихе-то жить буду! Сама же

рассказывала, как брат у тебя на старости лет домой вернулся.

— Дак ведь то когда было-то.

— Неважно. Сейчас команда на подъем всей русской жизни. Чтобы все земли, какие заброшены да заросли кустарником, снова пахать да засевать. Это тут у вас умники объявили: Мамониха кончилась, Мамониха неперспективна. А сейчас — стоп! Сдай назад. А то ведь эдак всю Россию можно неперспективной сделать. Правильно говорю?

— Не знаю, не знаю, Клавдий Иванович, — вздыхала старуха. — А только не советую тебе срываться с насиженного места.

— Почему?

— А тяжело нынче жить в деревне.

— Тяжело... А дедам нашим легче было? Одной лопатой, да топором, да сохой раскапывали здешние поля. А нынче сколько техники всякой, машин!

— Много, много нынче машин, — соглашалась старуха, — да люди нынче другие. Балованные. Легкой жизни хотят.

— Ничего, — стоял на своем Клавдий Иванович, — и нынче всякие люди. Мы с тобой, к примеру, всего хлебнули: и войны, и голода, и холода. Забыла, как после войны тошнотики ели — колобушки из картошки, которую собирали на полях весной? А в чем ходили — помнишь?

Однажды Клавдий Иванович, который уже раз в душе оплакивая судьбу Лиды, признался старухе:

— А я все не могу понять, баба Соха, как это она с Курой-то связалась. Как подумаю, так и голова кругом.

— А что ей было делать-то? Ты из армии не вернулся.

— Я? Да я-то при чем?

— Ждала она тебя.

— Лида? Лида меня ждала? — Клавдий Иванович перестал дышать.

— Парато ждала. Все говорила, бывало: «Вот, Клавдя вернется, и мы заживем». Она так и Гехе сказала, когда тот замуж ее звал.

— Геха звал... Лиду?

— Звал. Приступом приступал. Думает: я Лиду от его отвела, потому и жизни мне от его нету, а я уж словечушка поперек не сказала. Сама. Сама. Ни в какую: «У меня, говорит, Клавдя есть. Я, говорит, Клавдю жду».

Клавдий Иванович, как во сне, вышел от старухи.

Лида, Лида его ждала... Ихняя принцесса, первая ученица школы, девочка, с которой они еще детьми бегали зимой от дома к дому наперегонки — кто быстрее да проворнее. И он представил себе, чего стоило гордой, своенравной Лиде написать ему отчаянное, унизительное письмо, в котором она предлагала ему себя...

В тот день он долго, предаваясь воспоминаниям, бродил по невыкошенным пожням Поречья, по заросшим полям, по ягодным ручьям и горушкам — по всем местам, где бывал с Лидой. Затем вспомнил, как они подростками вместе с мамониховскими ребятами и девчонками бегали на вечеринки в окрестные деревушки — ни голодуха, ни работа, ничто не могло убить в них молодость, нараставшую жизнь, — и уже под вечер отправился в окрестные починки, хутора, деревни.

Густо стояли селенья в их лесном краю, по душе пришлась дедам и отцам поднятая из-под корня землица, и — был, не был достаток в дому, а названия селеньям давали сытные, хлебные: Ржаново, Овсяники, Ржище, Калачи...

Калачи и раньше не бог весть какой населенный пункт был — на пальцах двух рук пересчитаешь дома, и Клавдий Иванович не очень удивился, когда на месте деревни нашел один заколоченный дом. Давно заколоченный, может быть, еще в пятидесятые годы, потому что не только крыша сгнила — доски, которыми были забиты окна, выгорели, истлели да выкрошились. Но Ржаново его пора-

зило. Большая по ихним местам деревня, в двадцать пять — тридцать домов, и богатая без дураков. После войны в самое голодное время тут можно было на тряпку хлеб выменять. И меняли. Мать Клавдия Ивановича всю оставшуюся от отца одежонку сносила в Ржаново.

Но сейчас не было жизни и в Ржанове. Да и самого Ржанова, считай, не было. Два домишка в верхнем конце, дом посредине, три в нижнем — да разве это Ржаново? Да и дома-то уцелевшие были не из лучших, так что сразу было ясно: хорошие перевезли. Либо на центральную усадьбу совхоза, либо на станцию, в райцентр. И тут, надо полагать, дело не обошлось без Гехи.

Но нет, в Ржанове жизнь все же была. Сперва Клавдий Иванович услышал звук топора — самой желанной музыкой рассыпался в нежилой тишине — вот как пустой-то деревней шагать, а затем увидел и человека. На обочине, у самого выезда из деревни, там, где бежал знакомый проселок, над которым теперь густым розовым облаком клубилась пыль — должно быть, только что проехала машина.

Человек брусил топором толстое бревно, наверняка сухостойное, накрепко просмолевшее, потому что топор не ухал, а звенел, да и щепа, отлетавшая в сторону, была мелкая.

— Чего-то не пойму, ради чего пот проливаем? — сказал Клавдий Иванович вместо приветствия.

Человек разогнулся. Немолодой уже, пожалуй, даже пенсионного возраста, но еще в силе — дышал ровно и такие добрые, такие хорошие глаза были у него.

— А я, думаешь, понимаю? — легонько воткнул топор в бревно, посмотрел на деревню, вернее, на то, что осталось от деревни. — Думка-то у меня — память оставить о Ржанове.

— Так это вы что же — памятник в честь Ржанова хотите сделать?

— Памятник не памятник, а что-то вроде поминальника. На этот вот столб хочу щит, обтянутый алюминием, набить, а на щите коротко все данные о Ржанове: когда, кем основано, сколько жителей было, кто на войне голову сложил. . .

Роман Васильевич — так звали мужика — постучал слегка носком окованного башмака по бревну и спросил:

— Как думаете, пару десятков лет постоит?

Бревно было лиственничное, из прочнейшей древесины, и Клавдий Иванович, тоже для порядка постукав его ботинком, живо воскликнул:

— Как не постоит! Лиственница. Все пятьдесят выстоит.

— Пятьдесят не надо. Это я на то время, пока эта канитель с укрупнением да разукрупнением сел идет. А то ведь будущие люди, которые сюда придут, не будут знать, кто тут и жил. История исчезнет.

— А вы думаете — Ржаново возродится? — волнуясь, спросил Клавдий Иванович.

— Возродится. Обязательно возродится. А как же? К двухтысячному году, ученые подсчитали, население планеты удвоится, в два раза вырастет, а тут, что же, кустарник выращивать будут?

Роман Васильевич оказался рассудительным, знающим человеком (шутка сказать: тридцать два года инженером на больших или великих стройках, как их раньше называли, проработал), и Клавдий Иванович, всю жизнь тянувшийся к образованным людям, всласть наговорился — простой был человек, не задирал нос.

Домой он пришел уже в потемках. Виктор уже посапывал в своем углу, а Полина — бог ее знает — может, тоже спала или по-прежнему дулась на него. Во всяком случае, никак не прореагировала на его возвращение.

Ему хотелось есть, весь день ничего, кроме ягод, во рту не было, но он не решился разбираться с едой. Быстренько разделся, быстренько растер тело руками (что-

бы не застудить жену) и лег к ней с краешка. На него сразу же дохнуло как из духовки — ужасно раскалялась в постели Полина, и у него по привычке возникло желание с ходу, бесшабашно броситься в этот жар. Но он сдержался — жена не любила мальчишества. А вскоре он и вовсе забыл про нее и начал перекатывать в мыслях сегодняшний день.

Семь дней прошло со времени его приезда в Мамониху, а что он сделал? Побродил по деревне, прошелся по окрестностям... Нет, нет, не то. Тот же Роман Васильевич что надумал? Ржаново увековечить. Эх, надо и ему об этом самом поминальнике подумать. Мамониха — разве не деревня? Разве у нее нет своей истории, своего прошлого?

Как, как он сказал? — пытался припомнить Клавдий Иванович мудреные слова Романа Васильевича. Как бы за нашими перестройками русская история не исчезла... И русский ландшафт... Да, да, говорил Роман Васильевич, будет, будет новое поле. Будут рожать и Мамониха, и Ржаново, и Калачи... Но я хочу, чтобы у этого нового поля было русское лицо...

Под конец, когда уж у Клавдия Ивановича начали путаться мысли в отуманенной сном голове, он вспомнил о Лиде. И это было впервые, впервые за все семнадцать лет их совместной жизни он подумал о другой женщине.

15

Виктор первый проснулся от дождя.

— Мама, мама, что это на меня капает?

Клавдий Иванович торопливо зажег лампу: с потолка струей лилась вода. Он выбежал на крыльцо: жуткий ливень. Шагу нельзя ступить в сторону.

С этой минуты они уже больше не спали, а утром, едва начало светать, он полез на крышу.

Лазал, латал дыры под проливным дождем — тут, там, а что толку? Вернулся в избу — потоп.

— Ну, видишь теперь, почему дом продавать надо?

Три дня лютовал, не переставая, дождь, три дня нельзя было высунуть носа из дома. Виктор заскулил, да и Полина все чаще начала раздувать ноздри.

Но это были еще цветки. А ягодки-то начались, когда у них вышел хлеб. Надо было идти на станцию или в Резаново, но куда же в туфельках по нынешним хлябям? А они по легкомыслию (и тут уж виноват был исключительно сам Клавдий Иванович) не захватили с собой даже резиновых сапог.

Их выручила баба Соха. Сама под проливным дождем приковыляла с целым коробом всякого печева, теплого, только что вынутого из печи и завернутого в мешковину.

Но долго ли будет нынешний человек жить на одном хлебе? А тем более такой избалованный человек, как Виктор? День прожил нормально, а назавтра новый скулеж: «Мяса хочу. Масла. . .»

Тетка заранее писала Клавдию Ивановичу, что, ежели привык, хочешь уедно исть, все вези с собой, а нет, посылай наперед себя посылки — так ноне в деревню-то ездят. Но он как-то не придал значения теткиным словам, можно сказать, мимо ушей пропустил, и вот попробуй теперь — растолкуй ребенку, почему у них в поселке можно разжиться мясом и маслом, а тут нет.

Клавдий Иванович стал подумывать об эвакуации. А что было делать? Дожди не проходили, в избе было сыро, и это несмотря на то, что он с утра до ночи калил обе печки, а потом и вовсе дело дрянь — Виктор закашлял, да и Полина начала носом ширкать.

Тут Клавдий Иванович сразу решился — идти в Резаново на поклон к Гехе. Другого выхода не было.

Геха явился сам.

Утром, сразу же после чая, Клавдий Иванович начал было снимать штаны — после таких дождей полдороги придется грязью выше колена брести, и вдруг под окном железный гром и грохот.

Виктор и Полина пулей вылетели на улицу — про дождь, про непогодь, про все забыли.

А вскоре в избу ввалился и Геха.

— Ну что, господа туристы? Как оно на второй-то целине? — спросил он и захохотал.

Гехе легко было хохотать. Сапоги резиновые, дождевик непромокаемый, парусиновый, чуть ли не до пят, толстый ватник — это снаружи, а изнутри спиртной подогрев.

Но Полина и Виктор издевку в расчет не принимали. Они смотрели на него как на бога-избавителя и готовы были обнимать и целовать.

— Дяденька, дяденька, вы это за нами, да? — не один раз спросил Виктор, все еще не веря в подкатившее счастье.

— За вами, за вами, — добродушно похохатывал Геха. — Это ведь только он думает: Геха — зверь, — добавил он, кивая на Клавдия Ивановича.

Отъезд походил на бегство.

Быстро скидали в кузов вещишки, Полина с Виктором сели к Гехе в кабину, а Клавдий Иванович полез в открытый кузов.

— Дождевик дать, или закаляться будешь?

— Закаляться! — со злостью бросил Клавдий Иванович. Все-таки не мог совладать с собой, хотя и крепился изо всех сил.

— Давай, давай! — опять с каким-то добродушием, похожим на издевку, сказал Геха и пошел к кабине.

Клавдий Иванович вспомнил про бабу Соху.

Он сбросил с себя холодный, задеревеневший дождевик (Геха в последний момент бросил), забарабанил в мокрое, выпуклое железо кабины:

— Подождите с полчасика, я с бабой Сохой попрощаюсь!

— А это уж ты у хозяйки спрашивай, — сказал, высовываясь из окна кабины, Геха. — А я что — извозчик.

— Не выдумывай! Я вся замерзла, зуб на зуб не попадает. А о сыне-то ты подумал?

Клавдий Иванович не стал настаивать. В конце концов баба Соха все поймет, не осудит его.

«Маз», загремев мотором, качнулся вправо, качнулся влево и пополз на дорогу. Из мутной завесы дождя последний раз вынырнул большой отцовский дом и тотчас же растаял, а потом справа, над рощей мокрого осинника, по которому уныло барабанил дождь и который, показалось Клавдию Ивановичу, еще более буйно разросся за эти дни на здешних полях, темной, бесформенной тучей всплыла Мамониха.

Мокрым глазам его стало горячо.

Не много, не много радостей отвалила ему Мамониха, чаще злой мачехой оборачивалась, но это была его родина. И он знал: что бы с ним ни случилось дальше, где бы он ни оказался, куда бы ни забросила его жизнь, а самое дорогое, самое святое для него место на Земле, во всей вселенной — тут, в Мамонихе, в этом задичавшем лесном краю.

В кабине смеялись — не иначе как Геха забавлял Полину.

Клавдию Ивановичу было зябко, его колотила дрожь. Неужели он заболел? В отяжелевшей голове его снова и снова заколобродили мысли вокруг Мамонихи, вокруг Лиды и бабы Сохи, вокруг Романа Васильевича. . .

Он не знал, когда он снова приедет в родные края, и надолго ли, с Полиной и Виктором или один, но он чувствовал, что многое, очень многое изменится после нынешней поездки. . . А пока, уговаривал он себя, ему надо собрать силы, ибо скоро они приедут в Резаново и там сызнова начнется битва за отцовский дом. Все навалятся на него — Полина, тетка, Геха, Виктора пристегнут. И он должен устоять, любой ценой отстоять отцовский дом.

1972—1980

СОДЕРЖАНИЕ

Федор Александрович Абрамов

БАБИЛЕЙ

Л. О. изд-ва «Советский писатель», 1981. 360 стр. План выпуска **1982 г.**
Редактор К. М. Успенская. Худож. редактор А. С. Орлов.
Техн. редактор Г. В. Белькова. Корректор И. Г. Клейнер.
ИБ № 2969. Сдано в набор 15.07.81. Подписано к печати 5.11.81. М 44751.
Формат $70\times108^1/_{32}$. Бумага тип. № 1. Литературная гарнитура. Высокая печать. Усл. печ. л. 15,75. Уч.-изд. л. 15,4. Тираж 30 000 экз. Заказ № 595.
Цена 1 р. 30 к. Издательство «Советский писатель», Ленинградское отделение. 191186, Ленинград, Невский пр., 28. Ордена Трудового Красного Знамени Ленинградская типография № 5 Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 190000. Ленинград, центр, Красная ул., 1/3.

1р.30к.